



Bodleian Libraries

UNIVERSITY OF OXFORD

This book is part of the collection held by the Bodleian Libraries
and scanned by Google, Inc. for the Google Books Library Project.

For more information see:

<http://www.bodleian.ox.ac.uk/dbooks>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 UK: England & Wales (CC BY-NC-SA 2.0) licence.





PQ 3337.G6.A1.1886(2)
= Rep. Slav. 112
~~300 c 2~~
270 D 20



И. А. ГОНЧАРОВЪ.

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ

СОЧИНЕНІЙ

И. А. ГОНЧАРОВА.

Съ портретомъ автора, гравированнымъ академикомъ
И. П. Пожалостинымъ и факсимиле.

ТОМЪ ВТОРОЙ.

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ.



САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

—
1887.



Собственность Глазунова.

~~~~~  
ВЪ ТИПОГРАФИИ ГЛАЗУНОВА, КАЗАНСКАЯ № 8.



# ОБЛОМОВЪ.

РОМАНЪ

въ четырехъ частяхъ.



## ОГЛАВЛЕНІЕ.

---

### Часть первая:

|                   | СТР. |
|-------------------|------|
| ГЛАВА I . . . . . | 1    |
| » II . . . . .    | 16   |
| » III. . . . .    | 43   |
| » IV. . . . .     | 49   |
| » V . . . . .     | 66   |
| » VI. . . . .     | 74   |
| » VII. . . . .    | 83   |
| » VIII. . . . .   | 93   |
| » IX. . . . .     | 125  |
| » X . . . . .     | 184  |
| » XI. . . . .     | 193  |

### Часть вторая:

|                   | СТР. |
|-------------------|------|
| ГЛАВА I . . . . . | 3    |
| » II . . . . .    | 14   |
| » III. . . . .    | 21   |
| » IV. . . . .     | 29   |
| » V . . . . .     | 47   |
| » VI. . . . .     | 70   |
| » VII. . . . .    | 82   |
| » VIII . . . . .  | 92   |
| » IX. . . . .     | 114  |
| » X . . . . .     | 129  |
| » XI. . . . .     | 153  |
| » XII. . . . .    | 169  |

---



## I.

Въ Гороховой Улицѣ, въ одномъ изъ большихъ домовъ, народонаселенія котораго стало бы на цѣлый уѣздный городъ, лежалъ утромъ въ постели, на своей квартирѣ, Илья Ильичъ Обломовъ.

Это былъ человѣкъ лѣтъ тридцати-двухъ-трехъ отъ-роду, средняго роста, пріятной наружности, съ темносѣрыми глазами, но съ отсутствіемъ всякой опредѣленной идеи, всякой сосредоточенности въ чертахъ лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала въ глазахъ, садилась на полуотворенныя губы, пряталась въ складкахъ лба, потомъ совсѣмъ пропадала, и тогда во всемъ лицѣ теплился ровный свѣтъ безпечности. Съ лица безпечность переходила въ позы всего тѣла, даже въ складки шлафрока.

Иногда взглядъ его помрачался выраженіемъ будто усталости или скуки; но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать съ лица мягкость, которая была господствующимъ и основнымъ выраженіемъ, не лица только, а всей души; а душа такъ открыто и ясно свѣтилась въ глазахъ, въ улыбкѣ, въ каждомъ движеніи головы, руки. И поверхностно-наблюдательный, холодный человѣкъ, взглянувъ мимоходомъ на Обломова, сказалъ бы: „Добрякъ долженъ быть, простота!“ Человѣкъ поглубже и посимпатичнѣе, долго вглядываясь въ лицо его, отошелъ бы въ пріятномъ раздумьѣ, съ улыбкой.

Цвѣтъ лица у Ильи Ильича не былъ ни румяный, ни смуглый, ни положительно-блѣдный, а безразличный, или казался такимъ, можетъ-быть, потому, что Обломовъ какъ-то обрюзгъ не по лѣтамъ: отъ недостатка ли движенія, или воздуха, а можетъ-быть, того и другаго. Вообще же тѣло его, судя по матовому, черезчуръ-бѣлому цвѣту шеи, маленькихъ пухлыхъ рукъ, мягкихъ плечъ, казалось слишкомъ изнѣженнымъ для мужчины.

Движенія его, когда онъ былъ даже встревоженъ, сдерживались также мягкостью и нелишенною своего рода граціи лѣнью. Если на лицо набѣгала изъ души туча заботы, взгляды туманился, на лбу являлись складки, начиналась игра сомнѣній, печали, испуга; но рѣдко тревога эта застывала въ формѣ опредѣленной идеи, еще рѣже превращалась въ намѣреніе. Вся тревога разрѣшалась вздохомъ и замирала въ апатіи или въ дремотѣ.

Какъ шелъ домашній костюмъ Обломова къ покойнымъ чертамъ лица его и къ изнѣженному тѣлу! На немъ былъ халатъ изъ персидской матеріи, настоящій восточный халатъ, безъ малѣйшаго намека на Европу, безъ кистей, безъ бархата, безъ таліи, весьма помѣстительный, такъ-что и Обломовъ могъ дважды завернуться въ него. Рукава, по неизмѣнной азіатской модѣ, шли отъ пальцевъ къ плечу все шире-и-шире. Хотя халатъ этотъ и утратилъ свою первоначальную свѣжесть и мѣстами замѣнилъ свой первобытный, естественный лоскъ другимъ, благопріобрѣтеннымъ, но все еще сохранялъ яркость восточной краски и прочность ткани.

Халатъ имѣлъ въ глазахъ Обломова тѣмъ неоцѣненныхъ достоинствъ: онъ мягокъ, гибокъ; тѣло не чувствуетъ его на себѣ; онъ, какъ послушный рабъ, покоряется самонамалѣйшему движенію тѣла.

Обломовъ всегда ходилъ дома безъ галстука и безъ жи-

лета, потому-что любилъ просторъ и приволье. Туфли на немъ были длинныя, мягкія и широкія; когда онъ, не глядя, опускалъ ноги съ постели на полъ, то непременно попадалъ въ нихъ съ-разу.

Лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, какъ у больного, или какъ у человѣка, который хочетъ спать, ни случайностью, какъ у того, кто усталъ, ни наслажденіемъ, какъ у лѣнтяя: это было нормальнымъ состояніемъ. Когда онъ былъ дома—а онъ былъ почти всегда дома—онъ все лежалъ, и все постоянно въ одной комнатѣ, гдѣ мы его нашли, служившей ему спальней, кабинетомъ и приѣмной. У него было еще три комнаты, но онъ рѣдко туда заглядывалъ, утромъ развѣ, и то не всякій день когда человѣкъ мель кабинетъ его, чего всякій день не дѣлалось. Въ тѣхъ комнатахъ мебель закрыта была чехлами, шторы спущены.

Комната, гдѣ лежалъ Илья Ильичъ, съ перваго взгляда казалась прекрасно убранною. Тамъ стояло бюро красного дерева, два дивана, обитые шелковою матеріею, красивыя ширмы, съ вышитыми, небывалыми въ природѣ птицами и плодами. Были тамъ шелковые занавѣсы, ковры, нѣсколько картинъ, бронза, фарфоръ и множество красивыхъ мелочей.

Но опытный глазъ человѣка съ чистымъ вкусомъ, однимъ бѣглымъ взглядомъ на все, что тутъ было, прочелъ бы только желаніе кое-какъ соблюсти *decorum* неизбежныхъ приличій, лишь бы отдѣлаться отъ нихъ. Обломовъ хлопоталъ, конечно, только объ этомъ, когда убиралъ свой кабинетъ. Утонченный вкусъ не удовольствовался бы этими тяжелыми, неграціозными стульями красного дерева, шаткими этажерками. Задокъ у одного дивана осѣлся внизъ, наклеенное дерево мѣстами отстало.

Точно тотъ же характеръ носили на себѣ и картины, и вазы, и мелочи.

Самъ хозяинъ, однако, смотрѣлъ на убранство своего кабинета такъ холодно и разсѣяннo, какъ-будто спрашивалъ глазами: „кто сюда натащилъ и наставилъ все это?“ Отъ такого холоднаго воззрѣнія Обломова на свою собственность, а, можетъ-быть, и еще отъ болѣе холоднаго воззрѣнія на тотъ же предметъ слуги его, Захара, видъ кабинета, если осмотрѣть тамъ все повнимательнѣе, поражалъ господствующею въ немъ запущенностью и небрежностью.

По стѣнамъ, около картинъ, лѣпилась, въ видѣ фестоновъ, паутина, налитанная пылью; зеркала, вмѣсто того, чтобъ отражать предметы, могли бы служить скорѣе скрижалями, для записыванія на нихъ, по пыли, какихъ-нибудь замѣтокъ на память. Ковры были въ пятнахъ. На диванѣ лежало забытое полотенце; на столѣ рѣдкое утро не стояла неубранная отъ вчерашняго ужина тарелка съ солонкой и съ обглоданной косточкой, да не валялись хлѣбныя крошки.

Еслибъ не эта тарелка, да не прислоненная къ постели только-что выкуренная трубка, или не самъ хозяинъ, лежащій на ней, то можно было бы подумать, что тутъ никто не живетъ—такъ все запылилось, полиняло и вообще лишено было живыхъ слѣдовъ человѣческаго присутствія. На этажеркахъ, правда, лежали двѣ-три развернутыя книги, валялась газета, на бюро стояла и чернильница съ перьями; но страницы, на которыхъ развернуты были книги, покрылись пылью и пожелтѣли; видно, что ихъ бросили давно; нумеръ газеты былъ прошлогодній, а изъ чернильницы, если обмакнуть въ нее перо, вырвалась бы развѣ только, съ жужжаньемъ, испуганная муха.

Илья Ильичъ проснулся, противъ обыкновенія, очень рано, часовъ въ восемь. Онъ чѣмъ-то сильно озабоченъ.



На лицѣ у него попеременно выступалъ, не то страхъ, не то тоска и досада. Видно было, что его одолѣвала внутренняя борьба, а умъ еще не являлся на помощь.

Дѣло въ томъ, что Обломовъ наканунѣ получилъ изъ деревни, отъ своего старосты, письмо непріятнаго содержанія. Извѣстно, о какихъ непріятностяхъ можетъ писать староста: неурожай, недоимки, уменьшеніе дохода и т. п. Хотя староста и въ прошломъ, и въ третьемъ году писалъ къ своему барину точно такія же письма, но и это послѣднее письмо подѣйствовало такъ же сильно, какъ всякій непріятный сюрпризъ.

Легко ли? предстояло думать о средствахъ къ принятію какихъ-нибудь мѣръ. Впрочемъ, надо отдать справедливость заботливости Ильи Ильича о своихъ дѣлахъ. Онъ по первому непріятному письму старосты, полученному нѣсколько лѣтъ назадъ, уже сталъ создавать въ умѣ планъ разныхъ переменъ и улучшеній въ порядкѣ управленія своимъ имѣніемъ.

По этому плану предполагалось ввести разныя новыя экономическія, полицейскія и другія мѣры. Но планъ былъ еще далеко не весь обдуманъ, а непріятныя письма старосты ежегодно повторялись, побуждали его къ дѣятельности и, слѣдовательно, нарушали покой. Обломовъ признавалъ необходимость, до окончанія плана, предпринять что-нибудь рѣшительное.

Онъ, какъ только проснулся, тотчасъ же вознамѣрился встать, умыться и, напившись чаю, подумать хорошенько, кое-что сообразить, записать и вообще заняться этимъ дѣломъ какъ слѣдуетъ.

Съ полчаса онъ все лежалъ, мучась этимъ намѣреніемъ, но потомъ разсудилъ, что успѣетъ еще сдѣлать это и послѣ чаю, а чай можно пить, по обыкновенію, въ постели, тѣмъ болѣе, что ни что не мѣшаетъ думать и лежа.

Такъ и сдѣлалъ. Послѣ чаю онъ уже приподнялся съ своего ложа и чуть было не всталъ; поглядывая на туфли, онъ даже началъ спускать къ нимъ одну ногу съ постели, но тотчасъ же опять подобралъ ее.

Пробило половина десятого, Илья Ильичъ встрепенулся.

— Что жь это я въ самомъ дѣлѣ? сказалъ онъ вслухъ съ досадой:—надо совѣсть знать: пора за дѣло! Дай только волю себѣ, такъ и...

— Захаръ! закричалъ онъ.

Въ комнатѣ, которая отдѣлялась только небольшимъ коридоромъ отъ кабинета Ильи Ильича, слышалось сначала точно ворчанье цѣпной собаки, потомъ стукъ спрыгнувшихъ откуда-то ногъ. Это Захаръ спрыгнулъ съ лежанки, на которой обыкновенно проводилъ время, сидя погруженный въ дремоту.

Въ комнату вошелъ пожилой человѣкъ, въ сѣромъ сюртукѣ, съ прорѣхою подъ мышкой, откуда торчалъ клочокъ рубашки, въ сѣромъ же жилетѣ, съ мѣдными пуговицами, съ голымъ, какъ колѣно, черепомъ и съ необъятно широкими и густыми, русыми съ просѣдью бакенбардами, изъ которыхъ каждой стало бы на три бороды.

Захаръ не старался измѣнить, не только даннаго ему Богомъ образа, но и своего костюма, въ которомъ ходилъ въ деревнѣ. Платье ему шилось по вывезенному имъ изъ деревни образцу. Сѣрый сюртукъ и жилетъ нравились ему и потому, что въ этой полуформенной одеждѣ онъ видѣлъ слабое воспоминаніе ливреи, которую онъ носилъ нѣкогда, провожая покойныхъ господъ въ церковь или въ гости; а ливрея въ воспоминаніяхъ его была единственною представительницею достоинства дома Обломовыхъ.

Болѣе ничто не напоминало старику барскаго широкаго и покойнаго быта въ глуши деревни. Старые господа умерли, фамильные портреты остались дома и, чай, валяются

гдѣ-нибудь на чердакѣ; преданія о старинномъ бытѣ и важности фамиліи все гложутъ, или живутъ только въ памяти немногихъ, оставшихся въ деревнѣ же стариковъ. Поэтому для Захара дорогъ былъ сѣрый сюртукъ: въ немъ, да еще въ кое-какихъ признакахъ, сохранившихся въ лицѣ и манерахъ барина, напоминавшихъ его родителей, и въ его капризахъ, на которые, хотя онъ и ворчалъ, и про-себя, и вслухъ, но которые, между-тѣмъ, уважалъ внутренно, какъ проявленіе барской воли, господскаго права, видѣлъ онъ слабые намеки на отжившее величіе.

Безъ этихъ капризовъ онъ какъ-то не чувствовалъ надъ собою барина; безъ нихъ ничто не воскрешало молодости его, деревни, которую они покинули давно, и преданій объ этомъ старинномъ домѣ, единственной хроники, веденной старыми слугами, няньками, мамками и передаваемой изъ рода въ родъ.

Домъ Обломовыхъ былъ когда-то богатъ и знаменитъ въ своей сторонѣ, но потомъ, Богъ-знаетъ отчего, все бѣднѣло, мельчалъ и, наконецъ, незамѣтно потерялся между не старыми дворянскими домами. Только посѣдѣвшіе слуги дома хранили и передавали другъ другу вѣрную память о минувшемъ, дорожа ею, какъ святынею.

Вотъ отчего Захаръ такъ любилъ свой сѣрый сюртукъ. Можетъ-быть, и бакенбардами своими онъ дорожилъ потому, что видѣлъ въ дѣтствѣ своемъ много старыхъ слугъ съ этимъ стариннымъ, аристократическимъ украшеніемъ.

Илья Ильичъ, погруженный въ задумчивость, долго не замѣчалъ Захара. Захаръ стоялъ передъ нимъ молча. Наконецъ онъ кашлянулъ.

— Что ты? спросилъ Илья Ильичъ.

— Вѣдь вы звали?

— Звалъ? Зачѣмъ же это я звалъ—не помню! отвѣчалъ онъ, потягиваясь.—Поди пока къ себѣ, а я вспомню.

Захаръ ушелъ, а Илья Ильичъ продолжалъ лежать и думать о проклятомъ письмѣ.

Прошло съ четверть часа.

— Ну, полно лежать! сказалъ онъ:—надо же встать....

А впрочемъ, дай-ка я прочту еще разъ со вниманіемъ письмо старосты, а потомъ ужъ и встану.—Захаръ!

Опять тотъ же прыжокъ и ворчанье сильнѣе. Захаръ вошелъ, а Обломовъ опять погрузился въ задумчивость. Захаръ стоялъ минуты двѣ, неблагосклонно, немного стороной посматривая на барина, и наконецъ, пошелъ къ дверямъ.

— Куда же ты? вдругъ спросилъ Обломовъ.

— Вы ничего не говорите, такъ что жъ тутъ стоять-то даромъ? захрипѣлъ Захаръ, за неимѣніемъ другаго голоса, который, по словамъ его, онъ потерялъ на охотѣ съ собаками, когда ѣздилъ съ старымъ бариномъ и когда ему дунуло будто сильнымъ вѣтромъ въ горло.

Онъ стоялъ въ полуоборотъ среди комнаты и глядѣлъ все стороной на Обломова.

— А у тебя развѣ ноги отсохли, что ты не можешь постоять? Ты видишь, я озабоченъ—такъ и подожди! Не належаюсь еще тамъ? Сыщи письмо, что я вчера отъ старосты получилъ. Куда ты его дѣлъ?

— Какое письмо? Я никакого письма не видалъ, сказалъ Захаръ.

— Ты же отъ почтальйона принялъ его: грязное такое!

— Куда жъ его положили—почему мнѣ знать? говорилъ Захаръ, похлопывая рукой по бумагамъ и по разнымъ вещамъ, лежавшимъ на столѣ.

— Ты никогда ничего не знаешь. Тамъ въ корзинѣ посмотри! Или не завалилось ли за диванъ? Вотъ спинка-то у дивана до-сихъ-поръ не починена; чтобъ тебѣ призвать



столяра да починить? Вѣдь ты же изломалъ. Ни о чемъ не подумаешь!

— Я не ломалъ, отвѣчалъ Захаръ:— она сама изломалась; не вѣкъ же ей быть: надо когда-нибудь изломаться.

Илья Ильичъ не счелъ за нужное доказывать противное.

— Нашелъ, что ли? спросилъ онъ только.

— Вотъ какія-то письма.

— Не тѣ.

— Ну, такъ нѣтъ больше, говорилъ Захаръ.

— Ну, хорошо, поди! съ нетерпѣніемъ сказалъ Илья Ильичъ:—я встану, самъ найду.

Захаръ пошелъ къ себѣ, но только онъ уперся-было руками о лежанку, чтобъ прыгнуть на нее, какъ опять слышался торопливый крикъ:—Захаръ, Захаръ!

— Ахъ, ты Господи! ворчалъ Захаръ, отправляясь опять въ кабинетъ: — Что это за мученье? Хоть бы смерть скорѣе пришла!

— Чего вамъ? сказалъ онъ, придерживаясь одной рукой за дверь кабинета и глядя на Обломова, въ знакъ неблаговоленія, до того стороной, что ему приходилось видѣть барина вполглаза, а барину видна была только одна необъятная бакенбарда, изъ которой, такъ и ждешь, что вылетятъ двѣ-три птицы.

— Носовой платокъ, скорѣй! Самъ бы ты могъ догадаться: не видишь! строго замѣтилъ Илья Ильичъ.

Захаръ не обнаружилъ никакого особеннаго неудовольствія, или удивленія, при этомъ приказаніи и упрекѣ барина, находя, вѣроятно, съ своей стороны, и то, и другое весьма-естественнымъ.

— А кто его знаетъ, гдѣ платокъ? ворчалъ онъ, обходя вокругъ комнату и ощупывая каждый стулъ, хотя и такъ можно было видѣть, что на стульяхъ ничего не лежитъ.

— Все теряете! замѣтилъ онъ, отворяя дверь въ гостиную, чтобъ посмотрѣть, нѣтъ ли тамъ.

— Куда? Здѣсь ищи! Я съ третьягодня тамъ не былъ. Да скорѣе же! говорилъ Илья Ильичъ.

— Гдѣ платокъ? Нѣту платка! говорилъ Захаръ, разводя руками и озираясь во все углы. — Да вонъ онъ, вдругъ сердито захрипѣлъ онъ:—подъ вами! Вонъ конецъ торчитъ. Сами лежите на немъ, а спрашиваете платка!

И, не дожидаясь отвѣта, Захаръ пошелъ-было вонъ. Обломову стало немного неловко отъ собственнаго промаха. Онъ быстро нашелъ другой поводъ сдѣлать Захара виноватымъ.

— Какая у тебя чистота вездѣ: пыли-то, грязи-то, Боже мой! Вонъ, вонъ, погляди-ка въ углахъ-то—ничего не дѣлаешь!

— Ужъ коли я ничего не дѣлаю... заговорилъ Захаръ обиженнымъ голосомъ: — стараюсь, жизни не жалѣю! И пыль-то стираю, и мету-то почти каждый день...

Онъ указалъ на середину пола и на столъ, на которомъ Обломовъ обѣдалъ.

— Вонъ, вонъ, говорилъ онъ:—все подметено, прибрано, словно къ свадьбѣ... Чего еще?

— А это что? прервалъ Илья Ильичъ, указывая на стѣны и на потолокъ:—А это? А это? Онъ указалъ и на брошенное со вчерашняго дня полотенце, и на забытую на столѣ тарелку съ ломтемъ хлѣба.

— Ну, это, пожалуй, уберу, сказалъ Захаръ снисходительно, взявъ тарелку.

— Только это! А пыль по стѣнамъ, а паутина?... говорилъ Обломовъ, указывая на стѣны.

— Это я къ святой-недѣлѣ убираю: тогда образа чищу и паутину снимаю...

— А книги, картины обмести?..

— Книги и картины передъ Рождествомъ: тогда съ Анисьей всѣ шкапы переберемъ! А теперь когда станешь убирать? Вы все дома сидите.

— Я иногда въ театръ хожу, да въ гости: вотъ бы...

— Что за уборка ночью!

Обломовъ съ упрекомъ поглядѣлъ на него, покачалъ головой и вздохнулъ, а Захаръ равнодушно поглядѣлъ въ окно и тоже вздохнулъ. Баринъ, кажется, думалъ: „Ну, братъ, ты еще больше Обломовъ, нежели я самъ“, а Захаръ чуть-ли не подумалъ: „Врешь! ты только мастеръ говорить мудренныя, да жалкія слова, а до пыли и до паутины тебѣ и дѣла нѣтъ“.

— Понимаешь ли ты, сказалъ Илья Ильичъ:—что отъ пыли заводится моль? Я иногда даже вижу клопа на стѣнѣ!

— У меня и блохи есть! равнодушно отозвался Захаръ.

— Развѣ это хорошо? Вѣдь это гадость! замѣтилъ Обломовъ.

Захаръ усмѣхнулся во все лицо, такъ-что усмѣшка охватила даже брови и бакенбарды, которыя отъ этого раздвинулись въ стороны, и по всему лицу до самого лба расплылось красное пятно.

— Чѣмъ же я виноватъ, что клопы на свѣтѣ есть? сказалъ онъ съ наивнымъ удивленіемъ: — Развѣ я ихъ выдумалъ?

— Это отъ нечистоты, перебилъ Обломовъ. — Что ты все врешь!

— И нечистоту не я выдумалъ.

— У тебя, вотъ, тамъ, мыши бѣгаютъ по ночамъ — я слышу.

— И мышей не я выдумалъ. Этой твари, что мышей, что кошекъ, что клоповъ, вездѣ много.

— Какъ же у другихъ не бываетъ ни моли, ни клоповъ?

На лицѣ Захара выразилась недовѣрчивость или, лучше сказать, покойная увѣренность, что этого не бываетъ.

— У меня всего много, сказалъ онъ упрямо:— за всякимъ клопомъ не усмотришь, въ щелку къ нему не влѣзешь.

А самъ, кажется, думалъ: „Да и что за спанье безъ клопа?“

— Ты мети, выбирай соръ изъ угловъ — и не будетъ ничего, училъ Обломовъ.

— Уберешь, а завтра опять наберется говорилъ Захаръ.

— Не наберется, перебилъ баринъ:— не должно.

— Наберется—я знаю, твердилъ слуга.

— А наберется, такъ опять вымети.

— Какъ это? Всякій день перебирай всѣ углы? спросилъ Захаръ:— Да что жъ это за жизнь? Лучше Богъ по душу пошли!

— Отчего жъ у другихъ чисто? возразилъ Обломовъ.— Посмотри напротивъ, у настрѣйщика: любо взглянуть, а всего одна дѣвка...

— А гдѣ нѣмцы сору возьмутъ, вдругъ возразилъ Захаръ.— Вы поглядите-ко, какъ они живутъ! Вся семья цѣлую недѣлю кость гложетъ. Сюртукъ съ плечъ отца переходитъ на сына, а съ сына опять на отца. На женѣ и дочеряхъ платишки коротенькія: все поджимаютъ подъ себя ноги, какъ гусыни... Гдѣ имъ сору взять? У нихъ нѣтъ этого, вотъ, какъ у насъ, чтобъ въ шкапахъ лежала по годамъ куча стараго изношеннаго платья, или набрался цѣлый уголъ корокъ хлѣба за зиму... У нихъ и корка зря не валяется: надѣлаютъ сухариковъ, да съ пивомъ и выпьютъ!

Захаръ даже сквозь зубы плюнулъ, рассуждая о такомъ скарредномъ житьѣ.

— Нечего разговаривать! возразилъ Илья Ильичъ: — ты лучше убирай.



— Иной разъ и убралъ бы, да вы же сами не даете, сказалъ Захаръ.

— Пошелъ свое! Все, видишь, я мѣшаю.

— Конечно вы; все дома сидите: какъ при васъ станешь убирать? Уйдите на цѣлый день, такъ и уберу.

— Вотъ еще выдумалъ что — уйти! Поди-ка ты лучше къ себѣ.

— Да право! настаивалъ Захаръ.—Вотъ, хоть бы сегодня ушли, мы бы съ Анисьей и убрали все. И то не управимся вдвоемъ-то: надо еще бабъ нанять, перемыть все.

— Э! какія затѣи:—бабъ! Ступай себѣ, говорилъ Илья Ильичъ.

Онъ ужъ былъ не радъ, что вызвалъ Захара на этотъ разговоръ. Онъ все забывалъ, что чуть тронешь этотъ деликатный предметъ, такъ и не оберешься хлопотъ.

Обломову и хотѣлось бы, чтобъ было чисто, да онъ бы желалъ, чтобъ это сдѣлалось какъ-нибудь такъ, незамѣтно, само-собой; а Захаръ всегда заводилъ тяжбу, лишь-только начинали требовать отъ него сметанія пыли, мытья половъ и т. п. Онъ въ такомъ случаѣ станеть доказывать необходимость громадной возни въ домѣ, зная очень хорошо, что одна мысль объ этомъ приводила барина его въ ужасъ.

Захаръ ушелъ, а Обломовъ погрузился въ размышленія. Черезъ нѣсколько минутъ пробило еще полчася.

— Что это? почти съ ужасомъ сказалъ Илья Ильичъ:—Одиннадцать часовъ скоро, а я еще не всталъ, не умылся до сихъ поръ? Захаръ, Захаръ!

— Ахъ, ты Боже мой! Ну! послышалось изъ передней, и потомъ извѣстный прыжокъ.

— Умыться готово? спросилъ Обломовъ.

— Готово давно! отвѣчалъ Захаръ:—чего вы не встаете?

— Что жъ ты не скажешь, что готово? Я бы ужъ и

всталъ давно. Поди же, я сейчасъ иду вслѣдъ за тобою. Мнѣ надо заниматься, я сяду писать.

Захаръ ушелъ, но чрезъ минуту воротился съ исписанной и замасляной тетрадкой и клочками бумаги.

— Вотъ, коли будете писать, такъ ужъ кстати извольте и счета повѣрить: надо деньги заплатить.

— Какіе счета? Какія деньги? съ неудовольствіемъ спросилъ Илья Ильичъ.

— Отъ мясника, отъ зеленщика, отъ прачки, отъ хлѣбника: всѣ денегъ просятъ.

— Только о деньгахъ и забота! ворчалъ Илья Ильичъ. — А ты, что понемногу не подаешь счета, а всѣ вдругъ?

— Вы же вѣдь все прогоняли меня: завтра, да завтра...

— Ну, такъ и теперь развѣ нельзя до завтра?

— Нѣтъ! Ужъ очень пристають: больше не даютъ въ долгъ. Нынче первое число.

— Ахъ! съ тоской сказалъ Обломовъ:—Новая забота! Ну, что стоишь? Положи на столъ. Я сейчасъ встану, умоюсь и посмотрю, сказалъ Илья Ильичъ.—Такъ умыться-то готово?

— Готово! сказалъ Захаръ.

— Ну, теперь...

Онъ началъ-было, кряхтя, приподниматься на постели, чтобъ встать.

— Я забылъ вамъ сказать, началъ Захаръ: — давеча, какъ вы еще почивали, управляющій дворника прислалъ: говорить, что непременно надо съѣхать... квартира нужна.

— Ну, что жъ такое? Если нужна, такъ, разумѣется, съѣдемъ. Что ты пристаешь ко мнѣ? Ужъ ты третій разъ говоришь мнѣ объ этомъ.

— Ко мнѣ пристають тоже.

— Скажи, что съѣдемъ.

— Они говорятъ: вы ужъ съ мѣсяцъ, говорятъ, обѣщали, а все не съѣзжаете; мы, говорятъ, полиціи дадимъ знать.

— Пусть даютъ знать! сказалъ рѣшительно Обломовъ:

— Мы и сами переѣдемъ, какъ потеплѣе будетъ, недѣли черезъ три.

— Куда недѣли черезъ три! Управляющій говоритъ, что чрезъ двѣ недѣли рабочіе придутъ: ломать все будутъ... „Съѣзжайте, говорятъ, завтра или послѣ завтра...“

— Э-э-э! слишкомъ проворно! Видишь, еще что! Не сейчасъ ли прикажете? А ты мнѣ не смѣй и напоминать о квартирѣ. Я ужъ тебѣ запретилъ разъ; а ты опять. Смотри!

— Что жъ мнѣ дѣлать-то? отозвался Захаръ.

— Что жъ дѣлать? — вотъ онъ чѣмъ отдѣляется отъ меня! отвѣчалъ Илья Ильичъ. — Онъ меня спрашиваетъ! Мнѣ что за дѣло? Ты не безпокой меня, а тамъ, какъ хочешь, такъ и распорядись, только чтобъ не переѣзжать. Не можетъ постараться для барина!

— Да какъ же, батюшка, Илья Ильичъ, я распоряжусь? началъ мягкимъ сипѣньемъ Захаръ: — Домъ-то не мой: какъ же изъ чужаго дома не переѣзжать, коли гонять? Кабы мой домъ былъ, такъ я бы съ великимъ моимъ удовольствіемъ...

— Нельзя ли ихъ уговорить какъ-нибудь. „Мы, дескать, живемъ давно, платимъ исправно“.

— Говорилъ, сказалъ Захаръ.

— Ну, что жъ они?

— Что! Наладили свое: „переѣзжайте, говорятъ, намъ нужно квартиру передѣлывать“. Хотятъ изъ докторской и изъ этой одну большую квартиру сдѣлать, къ свадьбѣ хозяйскаго сына.

— Ахъ, ты Боже мой! съ досадой сказалъ Обломовъ: — Вѣдь есть же этакіе ослы, что женятся!

Онъ повернулся на спину.

— Вы бы написали, сударь, къ хозяину, сказалъ Захаръ:—такъ, можетъ-быть, онъ бы васъ не тронулъ, а велѣлъ бы сначала вонъ ту квартиру ломать.

— Захаръ при этомъ показаль рукой куда-то направо.

— Ну, хорошо, какъ встану, напишу... Ты ступай къ себѣ, а я подумаю. Ничего ты не умѣешь сдѣлать, добавилъ онъ:—мнѣ и объ этой дряни надо самому хлопотать.

Захаръ ушелъ, а Обломовъ сталъ думать.

Но онъ былъ въ затрудненіи, о чемъ думать: о письмѣ ли старосты, о переѣздѣ ли на новую квартиру, приняться ли сводить счеты? Онъ терялся въ приливѣ житейскихъ заботъ и все лежалъ, ворочаясь съ боку на бокъ. По-временамъ только слышались отрывистыя восклицанія:—Ахъ, Боже мой! Трогаетъ жизнь, вездѣ достаетъ.

Неизвѣстно, долго ли бы еще пробылъ онъ въ этой нерѣшительности, но въ передней раздался звонокъ.

— Ужъ кто-то и пришелъ! сказалъ Обломовъ, кутаясь въ халатъ: — А я еще не вставалъ — срамъ да и только! Кто бы это такъ рано?

И онъ, лежа, съ любопытствомъ глядѣлъ на двери.

## II.

Вошелъ молодой человѣкъ лѣтъ двадцати-пяти, блещущій здоровьемъ, съ смѣющимися щеками, губами и глазами. Зависть брала смотрѣть на него.

Онъ былъ причесанъ и одѣтъ безукоризненно, ослѣплялъ свѣжестью лица, бѣлья, перчатокъ и фрака. По жилету лежала изящная цѣпочка, съ множествомъ мельчайшихъ брелоконъ. Онъ вынулъ тончайшій батистовый платокъ, вдохнулъ ароматы Востока, потомъ небрежно провелъ имъ по лицу, по глянцовитой шляпѣ, и обмахнулъ лакированные сапоги.

— А, Волковъ, здравствуйте! сказалъ Илья Ильичъ.

— Здравствуйте, Обломовъ, говорилъ блистающій господинъ, подходя къ нему.

— Не подходите, не подходите: вы съ холода! сказалъ тотъ.

— О, баловень, сибаритъ! говорилъ Волковъ, глядя, куда бы положить шляпу, и, видя вездѣ пыль, не положилъ никуда; раздвинулъ обѣ полы фрака, чтобы сѣсть, но, посмотрѣвъ внимательно на кресло, остался на ногахъ.

— Вы еще не вставали! Что это на васъ за шлафрокъ? Такіе давно бросили носить, стыдилъ онъ Обломова.

— Это не шлафрокъ, а халатъ, сказалъ Обломовъ, съ любовью кутаясь въ широкія полы халата.

— Здоровы ли вы? спросилъ Волковъ.

— Какое здоровье! зѣвая, сказалъ Обломовъ:—Плохо! приливы замучили. А вы какъ поживаете?

— Я? Ничего: здорово и весело, — очень весело! съ чувствомъ прибавилъ молодой человѣкъ.

— Откуда вы такъ рано? спросилъ Обломовъ.

— Отъ портнаго. Посмотрите, хорошъ фракъ? говорилъ онъ, ворочаясь передъ Обломовымъ.

— Отличный! Съ большимъ вкусомъ спить, сказалъ Илья Ильичъ:—только отчего онъ такой широкій сзади?

— Это рейт-фракъ: для верховой ѣзды.

— А! Вотъ что! Развѣ вы ѣздите верхомъ?

— Какъ же! Къ нынѣшнему дню и фракъ нарочно заказывалъ. Вѣдь сегодня первое мая: съ Горюновымъ ѣдемъ въ Екатерингофъ. Ахъ! Вы не знаете? Горюнова Мишу произвели—вотъ мы сегодня и отличаемся, въ восторгѣ добавилъ Волковъ.

— Вотъ какъ! сказалъ Обломовъ.

— У него рыжая лошадь, продолжалъ Волковъ: — у



нихъ въ полку рыжія, а у меня вороная. Вы какъ будете: пѣшкомъ, или въ экипажѣ?

— Да... никакъ, сказалъ Обломовъ.

— Перваго мая въ Екатерингофѣ не быть! Что вы, Илья Ильичъ! съ изумленіемъ говорилъ Волковъ:—Да тамъ всѣ!

— Ну, какъ всѣ! Нѣтъ, не всѣ! лѣниво замѣтилъ Обломовъ.

— Поѣзжайте, душенька, Илья Ильичъ! Софья Николаевна съ Лидіей будутъ въ экипажѣ только двѣ, напротивъ въ коляскѣ есть скамеечка: вотъ бы вы съ нами...

— Нѣтъ, я не усядусь на скамеечку. Да и что стану я тамъ дѣлать?

— Ну такъ, хотите, Миша другую лошадь вамъ дать?

— Богъ-знаетъ что выдумаетъ! почти про-себя сказалъ Обломовъ.—Что вамъ дались Горюновы?

— Ахъ! вспыхнувъ, произнесъ Волковъ:—сказать?

— Говорите!

— Вы никому не скажете—честное слово? продолжалъ Волковъ, садясь къ нему на диванъ.

— Пожалуй.

— Я... влюбленъ въ Лидію, прошепталъ онъ.

— Bravo! Давно ли? Она, кажется, такая миленькая.

— Вотъ ужъ три недѣли! съ глубокимъ вздохомъ сказалъ Волковъ.—А Миша въ Дашеньку влюбленъ.

— Въ какую Дашеньку?

— Откуда вы, Обломовъ? Не знаетъ Дашеньки! Весь городъ безъ ума, какъ она тапцуетъ! Сегодня мы съ нимъ въ балетъ; онъ броситъ букетъ. Надо его ввести: онъ робокъ, еще новичокъ... Ахъ! вѣдь нужно ѣхать камелій достать...

— Куда еще? Полно вамъ, пріѣзжайте-ка обѣдать: мы бы поговорили. У меня два несчастья...

— Не могу: я у князя Тюменева обѣдаю; тамъ будутъ всѣ Горюновы и она, она... Лидинька, прибавилъ онъ шопотомъ. — Что это вы оставили князя? Какой веселый домъ! На какую ногу поставленъ! А дача! Утонула въ цвѣтахъ! Галерею пристоилю, gothique. Лѣтомъ, говорятъ, будутъ танцы, живыя картины. Вы *будете бывать?*

— Нѣтъ, я думаю, не буду.

— Ахъ, какой домъ! Нынѣшнюю зиму по средамъ меньше пятидесяти человѣкъ не бывало, а иногда набиралось до ста...

— Боже ты мой! Вотъ скука-то должна быть адская!

— Какъ это можно? Скука! Да чѣмъ больше, тѣмъ веселѣй. Лидія бывала тамъ, я ее не замѣчалъ, да вдругъ...

Напрасно я забыть ее стараюсь,  
И страсть хочу разсудкомъ побѣдить...

Запѣлъ онъ, и сѣлъ, забывшись, на кресло, но вдругъ вскочилъ и сталъ отирать пыль съ платья.

— Какая у васъ пыль вездѣ! сказалъ онъ.

— Все Захаръ! пожаловался Обломовъ.

— Ну, мнѣ пора! сказалъ Волковъ:—За камеліями для букета Мишѣ. Au revoir.

— Приѣзжайте вечеромъ чай пить, изъ балета: расскажете, какъ тамъ что было, приглашалъ Обломовъ.

— Не могу, далъ слово къ Муссинскимъ: ихъ день сегодня. Поѣдемте и вы. Хотите, я васъ представляю?

— Нѣтъ, что тамъ дѣлать?

— У Муссинскихъ? Помилуйте, да тамъ полгорода бываетъ. Какъ что дѣлать? Это такой домъ, гдѣ обо всемъ говорятъ...

— Вотъ это-то и скучно, что обо всемъ, сказалъ Обломовъ.

\*

— Ну, посѣщайте Мездровыхъ, перебилъ Волковъ:— тамъ ужь объ одномъ говорятъ, объ искусствахъ; только и слышишь: венеціанская школа, Бетховенъ да Бахъ, Леонардо да Винчи...

— Вѣкъ объ одномъ и томъ же—какая скука! Педанты, должно-быть! сказалъ, зѣвая, Обломовъ.

— На васъ не угодишь. Да мало ли домовъ! Теперь у всѣхъ дни: у Савиновыхъ по четвергамъ обѣдаютъ, у Маклашиныхъ—пятницы, у Вязниковыхъ—воскресенья, у князя Тюменева—середы. У меня всѣ дни заняты! съ сіяющими глазами заключилъ Волковъ.

— И вамъ не лѣнь мыкаться изо-дня-въ-день?

— Вотъ, лѣнь! Что за лѣнь? Превесело! безпечно говорилъ онъ.—Утро считаешь, надо быть au courant всего, знать новости. Слава Богу, у меня служба такая, что не нужно бывать въ должности. Только два раза въ недѣлю посижу да пообѣдаю у генерала, а потомъ, поѣдешь съ визитами, гдѣ давно не былъ; ну, а тамъ... новая актриса, то на русскомъ, то на французскомъ театрѣ. Вотъ опера будетъ, я абонируюсь. А теперь влюбленъ... Начинается лѣто; Мишѣ обѣщали отпускъ; поѣдемъ къ нимъ въ деревню на мѣсяцъ, для разнообразія. Тамъ охота. У нихъ отличные сосѣди, даютъ bals champêtres. Съ Лидіей будемъ въ роцѣ гулять, кататься въ лодкѣ, рвать цвѣты... Ахъ!..—и онъ перевернулся отъ радости:—Однако пора... Прощайте, говорилъ онъ, напрасно стараясь оглядѣть себя спереди и сзади въ запыленное зеркало.

— Погодите, удерживалъ Обломовъ:—я было-хотѣлъ поговорить съ вами о дѣлахъ.

— Pardon, некогда, торопился Волковъ:—въ другой разъ!—А не хотите ли со мной ѣсть устрицъ? Тогда и расскажете. Поѣдьте, Миша угощаетъ.

— Нѣтъ, Богъ съ вами! говорилъ Обломовъ.



— Прощайте же.

Онъ пошелъ и вернулся.

— Видѣли это? спросилъ онъ, показывая руку, какъ вылитую въ перчаткѣ.

— Что это такое? спросилъ Обломовъ въ недоумѣніи.

— А новые lacets! Видите, какъ отлично стягиваетъ: не мучишься надъ пуговкой два часа; потянулъ шнурочекъ—и готово. Это только что изъ Парижа. Хотите, привезу вамъ на пробу пару?

— Хорошо, привезите! говорилъ Обломовъ.

— А посмотрите это: не правда ли, очень мило? говорилъ онъ, отыскавъ въ кучѣ брелокъ одинъ:—визитная карточка съ загнутымъ угломъ.

— Не разберу, что написано.

— Pr. prince M. Michel, говорилъ Волковъ:—а фамилія Тюменевъ не уписалась; это онъ мнѣ въ пасху подарилъ, вмѣсто яичка. Но прощайте, au revoir. Мнѣ еще въ десять мѣстъ.—Боже мой, что это за веселье на свѣтѣ!

И онъ исчезъ.

„Въ десять мѣстъ въ одинъ день—несчастный!“ думалъ Обломовъ. „И это жизнь!“ Онъ сильно пожалъ плечами. „Гдѣ же тутъ человѣкъ? На что онъ раздробляется и рассыпается? Конечно, недурно заглянуть и въ театръ, и влюбиться въ какую-нибудь Лидію... она миленькая! Въ деревнѣ съ ней цвѣты рвать, кататься—хорошо; да въ десять мѣстъ въ одинъ день—несчастный!“ заключилъ онъ, перевертываясь на спину и радуясь, что нѣтъ у него такихъ пустыхъ желаній и мыслей, что онъ не мыкается, а лежитъ вотъ тутъ, сохраняя свое человѣческое достоинство и своей покой.

Новый звонокъ прервалъ его размышленія.

Вошелъ новый гость.

Это былъ господинъ въ темнозеленомъ фракѣ съ гербо-

выми пуговицами, гладко-выбритый, съ темными, ровно окаймлявшими его лицо бакенбардами, съ утружденнымъ, но покойно-сознательнымъ выраженіемъ въ глазахъ, съ сильно потертымъ лицомъ, съ задумчивой улыбкой.

— Здравствуй, Судьбинскій! весело поздоровался Обломовъ.—Насилу заглянулъ къ старому сослуживцу! Не подходи, не подходи! Ты съ холоду.

— Здравствуй Илья Ильичъ. Давно собирался къ тебѣ, говорилъ гость:—да вѣдь ты знаешь, какая у насъ дьявольская служба! Вонъ, посмотри, цѣлый чемоданъ везу къ докладу; и теперь, если тамъ спросятъ что-нибудь, велѣлъ курьеру скакать сюда. Ни минуты нельзя располагать собой.

— Ты еще на службу? Что такъ поздно? спросилъ Обломовъ:—Бывало, ты съ десяти часовъ...

— Бывало—да; а теперь другое дѣло: въ двѣнадцать часовъ *пзжу*.—Онъ сдѣлалъ на послѣднемъ словѣ удареніе.

— А! догадываюсь! сказалъ Обломовъ:—Начальникъ отдѣленія! Давно-ли?

Судьбинскій значительно кивнулъ головой.

— Къ Святой, сказалъ онъ.—Но сколько дѣла—ужасъ! Съ восьми до двѣнадцати часовъ дома, съ двѣнадцати до пяти въ канцеляріи, да вечеромъ занимаюсь. Отъ людей отвыкъ совсѣмъ!

— Гм! Начальникъ отдѣленія—вотъ какъ! сказалъ Обломовъ.—Поздравляю! Каковъ? А вмѣстѣ канцелярскими чиновниками служили. Я думаю, на будущій годъ въ статскіе махнешь.

— Куда! Богъ съ тобой! Еще нынѣшній годъ корону надо получить; думалъ „за отличіе“ представить, а теперь новую должность занялъ: нельзя два года сряду...

— Приходи обѣдать, выпьемъ за повышение! сказалъ Обломовъ.

— Нѣтъ, сегодня у вице-директора обѣдаю. Къ четвергу надо приготовить докладъ—адская работа! На представленія изъ губерній положиться нельзя. Надо провѣрить самому списки. Оома Оомичъ такой мнительный: все хочетъ самъ. Вотъ сегодня вмѣстѣ послѣ обѣда и засядемъ.

— Уже-ли и послѣ обѣда? спросилъ Обломовъ недовѣрчиво.

— А какъ ты думалъ? Еще хорошо, если пораньше отдѣлаюсь, да успѣю хоть въ Екатерингофъ прокатиться... Да, я заѣхалъ спросить: не поѣдешь ли ты на гулянья? Я бы заѣхалъ...

— Не здорвится что-то, не могу! сморщившись сказалъ Обломовъ:—Да и дѣла много... нѣтъ не могу!

— Жаль! сказалъ Судьбинскій:—а день хорошъ. Только сегодня и надѣюсь вздохнуть.

— Ну, что новаго у васъ? спросилъ Обломовъ.

— Да много кое-чего: въ письмахъ отмѣнили писать „покорнѣйшій слуга“, пишутъ „примите увѣреніе“; формулярныхъ списковъ по два экземпляра не велѣно представлять. У насъ прибавляютъ три стола и двухъ чиновниковъ особыхъ порученій. Нашу комиссію закрыли... Много!

— Ну, а что наши бывшіе товарищи?

— Ничего пока; Свинкинъ дѣло потерялъ!

— Въ самомъ дѣлѣ? Что жъ директоръ? спросилъ Обломовъ дрожащимъ голосомъ. Ему, по старой памяти, страшно стало.

— Велѣлъ задержать награду, пока не отыщется. Дѣло важное: „о взысканіяхъ“. Директоръ думаетъ, почти шопотомъ прибавилъ Судьбинскій:—что онъ потерялъ его... нарочно.

— Не можетъ быть! сказалъ Обломовъ.

— Нѣтъ, нѣтъ! Это напрасно, съ важностью и покровительствомъ подтвердилъ Судьбинскій:—Свинкинъ вѣтреная голова. Иногда, чортъ знаетъ, какіе тебѣ итоги выведетъ, перепутаетъ всѣ справки. Я измучился съ нимъ; а только нѣтъ, онъ не замѣченъ ни въ чемъ такомъ... Онъ не сдѣлаетъ, нѣтъ, нѣтъ! Завалялось дѣло гдѣ-нибудь; послѣ отыщется.

— Такъ вотъ какъ: все въ трудахъ! говорилъ Обломовъ:—работаешь.

— Ужасъ, ужасъ! Ну, конечно, съ такимъ человѣкомъ, какъ Оома Оомичъ, пріятно служить: безъ наградъ не оставляетъ; кто и ничего не дѣлаетъ, и тѣхъ не забудетъ. Какъ вышелъ срокъ—за отличіе, такъ и представляетъ; кому не вышелъ срокъ къ чину, къ кресту,—деньги выхлопочетъ...

— Ты сколько получаешь?

— Да что: 1,200 р. жалованья, особо столовыхъ 750, квартирныхъ 600, пособія 900, на разъѣзды 500, да награды рублей до 1,000.

— Фу! чортъ возьми! сказалъ, вскочивъ съ постели, Обломовъ:—Голосъ, что ли, у тебя хорошъ? Точно итальянскій пѣвецъ!

— Что еще это! Вонъ Пересвѣтовъ прибавочныя получаетъ, а дѣла-то меньше моего дѣлаетъ, и не смыслить ничего. Ну, конечно, онъ не имѣетъ такой репутаціи. Меня очень цѣнятъ, скромно прибавилъ онъ, потупя глаза:—министръ недавно выразился про меня, что я „украшеніе министерства“.

— Молодецъ! сказалъ Обломовъ.—Вотъ только работать съ восьми часовъ до двѣнадцати, съ двѣнадцати до пяти, да дома еще—ой, ой!

Онъ покачалъ головой.

— А что жь бы я сталъ дѣлать, еслибъ не служилъ? спросилъ Судьбинскій.

— Мало ли что! Читалъ бы, писалъ... сказалъ Обломовъ.

— Я и теперь только и дѣлаю, что читаю да пишу.

— Да это не то; ты бы печаталъ...

— Не всѣмъ же быть писателями. Вотъ и ты, вѣдь, не пишешь, возразилъ Судьбинскій.

— Зато у меня имѣніе на рукахъ, со вздохомъ сказалъ Обломовъ.— Я соображаю новый планъ; разныя улучшенія ввожу. Мучаюсь, мучаюсь... А ты вѣдь чужое дѣлаешь, не свое.

— Что жь дѣлать! Надо работать, коли деньги берешь. Лѣтомъ отдохну: Оома Оомичъ обѣщаетъ выдумать командировку нарочно для меня... вотъ, тутъ получу прогоны на пять лошадей, суточныхъ рубля по три въ сутки, а потомъ награду...

— Экъ ломаютъ! съ завистью говорилъ Обломовъ; потомъ вздохнулъ и задумался.

— Деньги нужны: осенью женюсь, прибавилъ Судьбинскій.

— Что ты! Въ самомъ дѣлѣ? На комъ? съ участіемъ сказалъ Обломовъ.

— Нешутя, на Мурашиной. Помнишь, подлѣ меня на дачѣ жили? Ты пилъ чай у меня и, кажется, видѣлъ ее.

— Нѣтъ, не помню! Хорошенькая? спросилъ Обломовъ.

— Да, мила. Поѣдемъ, если хочешь, къ нимъ обѣдать... Обломовъ замаялся.

— Да... хорошо, только...

— На той недѣлѣ, сказалъ Судьбинскій.

— Да, да, на той недѣлѣ, обрадовался Обломовъ:—у меня еще платье неготово. Что жь, хорошая партія?

— Да, отецъ дѣйствительный статскій совѣтникъ; десять тысячъ даетъ, квартира казенная. Онъ намъ цѣлую



половину отвелъ, двѣнадцать комнатъ; мебель казенная, отопленіе, освѣщеніе тоже: можно жить...

— Да, можно! Еще бы! Каковъ Судьбинскій! прибавилъ, не безъ зависти, Обломовъ.

— На свадьбу, Илья Ильичъ, шаферомъ приглашаю: смотри...

— Какъ же, непременно! сказалъ Обломовъ.—Ну, а что Кузнецовъ, Васильевъ, Маховъ?

— Кузнецовъ женатъ давно, Маховъ на мое мѣсто поступилъ, а Васильева перевели въ Польшу. Ивану Петровичу дали Владиміра, Олешкинъ—его превосходительство.

— Онъ добрый малый! сказалъ Обломовъ.

— Добрый, добрый; онъ стоитъ.

— Очень добрый, характеръ мягкій, ровный, говорилъ Обломовъ.

— Такой обязательный, прибавилъ Судьбинскій: — и нѣтъ этого, знаешь, чтобъ выслужиться, подгадить, подставить ногу, опередить... все дѣлаетъ, что можетъ.

— Прекрасный человѣкъ! Бывало, напутаешь въ бумагѣ, не доглядишь, не то мнѣніе или законы подведешь въ запискѣ, ничего: велить только другому передѣлать. Отличный человѣкъ! заключилъ Обломовъ.

— А вотъ нашъ Семенъ Семенычъ такъ неисправимъ, сказалъ Судьбинскій: — только мастеръ пыль въ глаза пускать. Недавно что онъ сдѣлалъ: изъ губерній поступило представленіе о возведеніи при зданіяхъ, принадлежащихъ нашему вѣдомству, собачьихъ конуръ, для сбереженія казеннаго имущества отъ расхищенія: нашъ архитекторъ, человѣкъ дѣльный, знающій и честный, составилъ очень умѣренную смѣту; вдругъ показалась ему велика, и давай наводитъ справки, что можетъ стоить постройка собачьей ко-

нуры? Нашелъ гдѣ-то тридцатью копѣйками меньше—сейчасъ докладную записку...

Раздался еще звонокъ.

— Прогай, сказалъ чиновникъ:—я заболтался, что нибудь понадобится тамъ...

— Посиди еще, удерживалъ Обломовъ.—Кстати, я посоветуюсь съ тобой: у меня два несчастья...

— Нѣтъ, нѣтъ, я лучше опять заѣду на-дняхъ, сказалъ онъ, уходя.

„Увязъ, любезный другъ, по уши увязъ“, думалъ Обломовъ, провожая его глазами. „И слѣпъ, и глухъ, и нѣмъ для всего остальнаго въ мірѣ. А выйдетъ въ люди, будетъ современемъ ворочать дѣлами, и чиновъ нахватаетъ... У насъ это называется тоже карьерой! А какъ мало тутъ человѣка-то нужно: ума его, воли, чувства — зачѣмъ это? Роскошь! И проживетъ свой вѣкъ, и не пошевелится въ немъ многое, многое... А между-тѣмъ работаетъ съ двѣнадцати до пяти въ канцеляріи, съ восьми до двѣнадцати дома —несчастный!“

Онъ испыталъ чувство мирной радости, что онъ, съ девяти до трехъ, съ восьми до девяти, можетъ пробыть у себя на диванѣ, и гордился, что не надо идти съ докладомъ, писать бумагъ, что есть просторъ его чувствамъ, воображенію.

Обломовъ философствовалъ и не замѣтилъ, что у постели его стоялъ очень худощавый, черненькій господинъ, заросшій весь бакенбардами, усами и эспаньолкой. Онъ былъ одѣтъ съ умысленной небрежностью.

— Здравствуйте, Илья Ильичъ.

— Здравствуйте, Пенкинъ; не подходите, не подходите: вы съ холода! говорилъ Обломовъ.

— Ахъ, вы чудакъ! сказалъ тотъ: — Все такой же не-исправимый, беззаботный лѣннivecъ!



— Да, беззаботный! сказалъ Обломовъ:—Вотъ, я вамъ сейчасъ покажу письмо отъ старосты: ломаешь, ломаешь голову, а вы говорите: беззаботный! Откуда вы?

— Изъ книжной лавки: ходилъ узнать, не вышли ли журналы. Читали мою статью?

— Нѣтъ.

— Я вамъ пришлю, прочтите.

— О чемъ? спросилъ, сквозь сильную зѣвоту, Обломовъ.

— О торговлѣ, объ эманципаціи женщинъ, о прекрасныхъ апрѣльскихъ дняхъ, какіе выпали намъ на долю, и о вновь-изобрѣтенномъ составѣ противъ пожаровъ. Какъ это вы не читаете? Вѣдь тутъ наша всеневная жизнь. А пуще всего я ратую за реальное направленіе въ литературѣ.

— Много у васъ дѣла? спросилъ Обломовъ.

— Да, довольно. Двѣ статьи въ газету каждую недѣлю, потомъ разборы беллетристовъ пишу, да вотъ написалъ рассказъ...

— О чемъ?

— О томъ, какъ въ одномъ городѣ городничій бьетъ мѣщанъ по зубамъ...

— Да, это, въ самомъ дѣлѣ, реальное направленіе, сказалъ Обломовъ.

— Неправда ли? подтвердилъ обрадованный литераторъ.

— Я провожу вотъ какую мысль и знаю, что она новая и смѣлая. Одинъ проѣзжій былъ свидѣтелемъ этихъ побоевъ и при свиданіи съ губернаторомъ пожаловался ему. Тотъ приказалъ чиновнику, ѣхавшему туда на слѣдствіе, мимоходомъ удостовѣриться въ этомъ и вообще собрать свѣдѣнія о личности и поведеніи городничаго. Чиновникъ созвалъ мѣщанъ, будто распросить о торговлѣ, а между-тѣмъ давай развѣдывать и объ этомъ. Что жъ мѣщане? Кланяются, да смѣются, и городничаго превозносятъ похвалами. Чиновникъ сталъ узнавать стороной, и ему сказали, что мѣщане

мошенники страшные, торгуютъ гнилью, обвѣшиваютъ, обмѣриваютъ даже казну, всѣ безнравственны, такъ-что побои эти—праведная кара...

— Стало-быть, побои городничаго выступаютъ въ повѣсти, какъ *fatum* древнихъ трагиковъ? сказалъ Обломовъ.

— Именно, подхватилъ Пенкинъ.—У васъ много такта, Илья Ильичъ, вамъ бы писать! А между-тѣмъ, мнѣ удалось показать и самоуправство городничаго, и развращеніе нравовъ въ простонародьи; дурную организацію дѣйствій подчиненныхъ чиновниковъ и необходимость строгихъ, но законныхъ мѣръ... Не правдали, эта мысль... довольно-новая?

— Да, въ особенности для меня, сказалъ Обломовъ: — я такъ мало читаю...

— Въ самомъ дѣлѣ не видать книгъ у васъ! сказалъ Пенкинъ. — Но, умоляю васъ, прочтите одну вещь; готовится великолѣпная, можно сказать, поэма: „Любовь взяточника къ падшей женщинѣ“. Я не могу вамъ сказать, кто авторъ: это еще секретъ.

— Что жъ тамъ такое?

— Обнаруженъ весь механизмъ нашего общественнаго движенія, и все въ поэтическихъ краскахъ. Всѣ пружины тронуты; всѣ ступени общественной лѣстницы перебраны. Сюда, какъ на судъ, созваны авторомъ и слабый, но порочный вельможа, и цѣлый рой обманывающихъ его взяточниковъ; и всѣ разряды падшихъ женщинъ разобраны... французенки, нѣмки, чухонки, и все, все... съ поразительной, животрепещущей вѣрностью... Я слышалъ отрывки—авторъ великъ! въ немъ слышится то Дантъ, то Шекспиръ...

— Вонъ куда хватили! въ изумленіи сказалъ Обломовъ, привставъ.

Пенкинъ вдругъ смолкъ, видя, что дѣйствительно онъ далеко хватилъ.

— Вотъ вы прочтите, увидите сами, добавилъ онъ уже безъ азарта...

— Нѣтъ, Пенкинъ, я не стану читать.

— Отчего жь? Это дѣлаетъ шумъ, объ этомъ говорятъ...

— Да пускай ихъ! Нѣкоторымъ вѣдь больше нечего и дѣлать, какъ только говорить. Есть такое призваніе.

— Да хоть изъ любопытства прочтите.

— Чего я тамъ не видалъ? говорилъ Обломовъ. — Зачѣмъ это они пишутъ: только себя тѣшатъ...

— Какъ себя: вѣрность-то, вѣрность какая! До смѣха похоже. Точно живые портреты. Какъ кого возмуть, купца ли, чиновника, офицера, будочника—точно живьемъ и отпечатаютъ.

— Изъ чего же они бьются: изъ потѣхи, что ли, что вотъ кого-де не возьмемъ, а вѣрно и выйдетъ? А жизни то и нѣтъ ни въ чемъ: нѣтъ пониманія ея и сочувствія, нѣтъ того, что тамъ у васъ называется гуманитетомъ. Одно самолюбіе только. Изображаютъ-то они воровъ, падшихъ женщинъ, точно ловятъ ихъ на улицѣ, да отводятъ въ тюрьму. Въ ихъ разсказѣ слышны не „невидимыя слезы“, а одинъ только видимый, грубый смѣхъ, злость...

— Что жъ еще нужно? И прекрасно, вы сами высказались: это кипучая злость — желчное гоненіе на порокъ, смѣхъ презрѣнія надъ падшимъ человѣкомъ... тутъ все!

— Нѣтъ не все! вдругъ воспламенившись, сказалъ Обломовъ: — изобрази вора, падшую женщину, надутаго глупца, да и человѣка тутъ же не забудь. Гдѣ же человѣчность-то? Вы одной головой хотите писать! почти шипѣлъ Обломовъ: — Вы думаете, что для мысли не надо сердца? Нѣтъ, она оплодотворяется любовью. Протяните руку падшему человѣку, чтобъ поднять его, или горько

плачьте надъ нимъ, если онъ гибнетъ, а не глумитесь. Любите его, помните въ немъ самого-себя и обращайтесь съ нимъ, какъ съ собой,—тогда я стану васъ читать и склоню передъ вами голову... сказалъ онъ улегшись опять покойно на диванъ.—Изображаютъ они вора, падшую женщину, говорилъ онъ:—а человѣка-то забываютъ, или не умѣютъ изобразить. Какое же тутъ искусство, какія поэтическія краски нашли вы? Обличайте развратъ, грязь, только, пожалуйста, безъ претензіи на поэзію.

— Что же, природу прикажете изображать: розы, соловья, или морозное утро, между-тѣмъ, какъ все кипитъ, движется вокругъ? Намъ нужна одна голая фізіологія общества; не до пѣсенъ намъ теперь...

— Человѣка, человѣка давайте мнѣ! говорилъ Обломовъ:—любите его...

— Любить ростовщика, ханжу, ворующаго или тупоумнаго чиновника — слышите? Что вы это? И видно, что вы не занимаетесь литературой! горячился Пенкинъ. — Нѣтъ, ихъ надо карать, извергнуть изъ гражданской среды, изъ общества...

— Извергнуть изъ гражданской среды! вдругъ заговорилъ вдохновенно Обломовъ, вставъ передъ Пенкинымъ:— Это значитъ, забыть, что въ этомъ негодномъ сосудѣ присутствовало высшее начало; что онъ испорченный человѣкъ, но все человѣкъ же, то есть вы сами. Извергнуть! А какъ вы извергнете изъ круга человѣчества, изъ лона природы, изъ милосердія Божія? почти крикнулъ онъ съ пылающими глазами.

— Вонъ куда хватили! въ свою очередь, съ изумленіемъ сказалъ Пенкинъ.

Обломовъ увидѣлъ, что и онъ далеко хватилъ. Онъ вдругъ смолкъ, постоялъ съ минуту, зѣвнулъ и медленно легъ на диванъ.

Оба погрузились въ молчаніе.

— Что жъ вы читаете? спросилъ Пенкинъ.

— Я... да все путешествія больше.

Опять молчаніе.

— Такъ прочтете поэму, когда выйдетъ? Я бы принесъ... спросилъ Пенкинъ.

Обломовъ сдѣлалъ отрицательный знакъ головой.

— Ну, я вамъ свой рассказъ пришлю?

Обломовъ кивнулъ въ знакъ согласія.

— Однако, мнѣ пора въ типографію! сказалъ Пенкинъ.

— Я, знаете, зачѣмъ пришелъ къ вамъ? Я хотѣлъ предложить вамъ ѣхать въ Екатерингофъ; у меня коляска. Мнѣ завтра надо статью писать о гуляньѣ: вмѣстѣ бы наблюдать стали, чего бы не замѣтилъ я, вы бы сообщили мнѣ; веселѣе бы было. Поѣдемте...

— Нѣтъ, нездоровится, сказалъ Обломовъ, морщась и прикрываясь одѣяломъ, — сырости боюсь, теперь еще не высохло. А вотъ вы бы сегодня обѣдать пришли: мы бы поговорили... У меня два несчастья...

— Нѣтъ, наша редакція вся у Сен-Жоржа сегодня, отсюда и поѣдемъ на гулянье. А ночью писать и, чѣмъ свѣтъ, въ типографію отсылать. До свиданія.

— До свиданья, Пенкинъ.

„Ночью писать“, думалъ Обломовъ, „когда же спать-то? А поди, тысячъ пять въ годъ заработаетъ! Это хлѣбъ! Да писать-то все, тратить мысль, душу свою на мелочи, мѣнять убѣжденія, торговать умомъ и воображеніемъ, насиловать свою натуру, волноваться, кипѣть, горѣть, не знать покоя и все куда-то двигаться... И все писать, все писать, какъ колесо, какъ машина: пиши завтра, послѣ-завтра; праздникъ придетъ, лѣто настанетъ — а онъ все пиши? Когда же остановиться и отдохнуть? Несчастный!“

Онъ повернулъ голову къ столу, гдѣ все было гладко, и



чернила засохли, и пера не видать, и радовался, что лежить онъ, беззаботенъ, какъ новорожденный младенецъ, что не разбрасывается, не продаетъ ничего...

„А письмо старосты, а квартира?“ вдругъ вспомнилъ онъ и задумался.

Но вотъ опять звонятъ.

— Что это сегодня за рауть у меня? сказалъ Обломовъ и ждалъ, кто войдетъ.

Вошелъ человекъ неопредѣленныхъ лѣтъ, съ неопредѣленной фizioноміей, въ такой порѣ, когда трудно бываетъ угадать лѣта; некрасивъ и недуренъ, не высокъ и не низокъ ростомъ, не блондинъ и не брюнетъ. Природа не дала ему никакой рѣзкой, замѣтной черты, ни дурной, ни хорошей. Его многіе называли Иваномъ Ивановичемъ, другіе — Иваномъ Васильичемъ, третьи—Иваномъ Михайлычемъ.

Фамилію его называли тоже различно: одни говорили, что онъ Ивановъ, другіе звали Васильевымъ, или Андреевымъ, третьи думали, что онъ Алексѣевъ. Постороннему, который увидитъ его въ первый разъ, скажутъ имя его — тотъ забудетъ сейчасъ, и лицо забудетъ; что онъ скажетъ — не замѣтитъ. Присутствіе его ничего не придастъ обществу, также какъ отсутствіе ничего не отниметъ отъ него. Остроумія, оригинальности и другихъ особенностей, какъ особыхъ примѣтъ на тѣлѣ, въ его умѣ нѣтъ.

Можетъ-быть, онъ умѣлъ бы, по крайней мѣрѣ, рассказать все, что видѣлъ и слышалъ, и занять хоть этимъ другихъ, но онъ нигдѣ не бывалъ: какъ родился въ Петербургѣ, такъ и не выѣзжалъ никуда; слѣдовательно видѣлъ и слышалъ то, что знали и другіе.

Симпатиченъ ли такой человекъ? Любить ли, ненавидить ли, страдаетъ ли? Долженъ бы, кажется, и любить, и не любить, и страдать, потому-что никто не избавленъ отъ этого. Но онъ какъ-то ухитряется всѣхъ любить. Есть такіе



люди, въ которыхъ, какъ ни бейся, не возбудишь никакъ духа вражды, мщенія и т. п. Что ни дѣлай съ ними, они все ласкаются. Впрочемъ, надо отдать имъ справедливость, что и любовь ихъ, если раздѣлить ее на градусы, до степени жара никогда не доходитъ. Хотя при такихъ людей говорить, что они любятъ всѣхъ и потому добры, а въ сущности они никого не любятъ и добры потому только, что не злы.

Если при такомъ человѣкѣ подадутъ другіе нищему милостыню — и онъ броситъ ему свой грошъ, а если обругаютъ, или прогонятъ, или посмѣются — такъ и онъ обругаетъ и посмѣется съ другими. Богатымъ его нельзя назвать, потому-что онъ не богатъ, а скорѣе бѣденъ; но рѣшительно-бѣднымъ тоже не назовешь, потому, впрочемъ, только, что много есть бѣднѣе его.

Онъ имѣетъ своего какого-то дохода рублей триста въ годъ, и сверхъ того, онъ служитъ въ какой-то неважной должности и получаетъ неважное жалованье: нужды не терпитъ и денегъ ни у кого не занимаетъ, а занять у него и подавно въ голову никому не приходитъ.

Въ службѣ у него нѣтъ особеннаго постояннаго занятія, потому-что никакъ не могли замѣтить сослуживцы и начальники, что онъ дѣлаетъ хуже, что лучше, такъ, чтобъ можно было опредѣлить, къ чему онъ именно способенъ. Если дадутъ сдѣлать и то, и другое, онъ такъ сдѣлаетъ, что начальникъ всегда затрудняется, какъ отозваться о его трудѣ; посмотреть, посмотреть, почитаетъ, почитаетъ, да и скажетъ только: — Оставьте, я послѣ посмотрю... да, оно почти такъ, какъ нужно.

Никогда не поймашь на лицѣ его слѣда заботы, мечты, что бы показывало, что онъ въ эту минуту бесѣдуетъ самъ съ собою, или никогда тоже не увидишь, чтобъ онъ устремилъ пытливый взглядъ на какой-нибудь внѣшній предметъ, который бы хотѣлъ усвоить своему вѣдѣнію.

Встрѣтится ему знакомый на улицѣ:—Куда? спросить. —Да вотъ иду на службу, или въ магазинъ, или провѣдать кого-нибудь. — Пойдемъ лучше со мной скажетъ тотъ: —на почту, или зайдѣмъ къ портному, или прогуляемся,— и онъ идетъ съ нимъ, заходитъ и къ портному, и на почту, и прогуливается въ противоположную сторону отъ той, куда шелъ.

Едвали кто-нибудь, кромѣ матери, замѣтилъ появленіе его насвѣтъ, очень немногіе замѣчаютъ его въ теченіи жизни, но вѣрно никто не замѣтитъ, какъ онъ исчезнетъ со свѣта; никто не спроситъ, не пожалѣетъ о немъ, никто и не порадуется его смерти. У него нѣтъ ни враговъ, ни друзей, но знакомыхъ множество. Можетъ-быть, только похоронная процесія обратитъ на себя вниманіе прохожаго, который почтитъ это неопредѣленное лицо въ первый разъ достающеюся ему почестью—глубокимъ поклономъ; можетъ-быть, даже другой, любопытный забѣжитъ впередъ процессіи, узнать объ имени покойника, и тутъ же забудетъ его.

Весь этотъ Алексѣевъ, Васильевъ, Андреевъ, или какъ хотите, есть какой-то неполный, безличный намекъ на людскую массу, глухое отзвучіе, неясный ея отблескъ.

Даже Захаръ, который въ откровенныхъ бесѣдахъ, на сходкахъ у воротъ, или въ лавочкѣ, дѣлалъ разную характеристику всѣхъ гостей, посѣщавшихъ барина его, всегда затруднялся, когда очередь доходила до этого... положимъ хоть, Алексѣева. Онъ долго думалъ, долго ловилъ какую-нибудь угловатую черту, за которую можно было бы уцѣпиться, въ наружности, въ манерахъ, или въ характерѣ этого лица, наконецъ, махнувъ рукой, выражался такъ:— А у этого, ни кожи, ни рожи, ни вѣдѣнія!

— А! встрѣтилъ его Обломовъ:—Это вы, Алексѣевъ?

Здравствуйте. Откуда? Не подходите, не подходите; я вам не дамъ руки: вы съ холода!

— Что вы, какой холодъ! Я не думалъ къ вамъ сегодня, сказалъ Алексѣевъ:—да Овчининъ встрѣтился и увезъ къ себѣ. Я за вами, Илья Ильичъ.

— Куда это?

— Да къ Овчинину-то, поѣдемте. Тамъ Матвѣй Андреичъ Альяновъ, Казиміръ Альбертычъ Пхайло, Василиій Севастьянычъ Колымягинъ.

— Что жъ они тамъ собрались, и что имъ нужно отъ меня?

— Овчининъ зоветъ васъ обѣдать.

— Гм! Обѣдать... повторилъ Обломовъ монотонно.

— А потомъ всѣ въ Екатерингофъ отправляются: они велѣли сказать, чтобъ вы коляску наняли.

— А что тамъ дѣлать?

— Какъ же! Нынѣ тамъ гулянье. Развѣ не знаете: сегодня первое мая?

— Посидите; мы подумаемъ... сказалъ Обломовъ.

— Вставайте же! Пора одѣваться.

— Погодите немного: вѣдь рано.

— Что за рано! Они просили въ двѣнадцать часовъ; отобѣдаемъ пораньше, часа въ два, да и на гулянье. Ыдемте же скорѣй! Велѣтъ вамъ одѣваться давать?

— Куда одѣваться? Я еще не умылся.

— Такъ умывайтесь.

Алексѣевъ сталъ ходить взадъ и впередъ по комнатѣ, потомъ остановился передъ картиной, которую видѣлъ тысячу разъ прежде, взглянулъ мелькомъ въ окно, взялъ какую-то вещь съ этажерки, повертѣлъ въ рукахъ, посмотрѣлъ со всѣхъ сторонъ и положилъ опять, а тамъ пошелъ опять ходить, посвистывая—это все, чтобъ не мѣшать Обломову встать и умыться. Такъ прошло минутъ десять.

— Что жь вы? вдругъ спросилъ Алексѣевъ Илью Ильича.

— Что?

— Да все лежите?

— А развѣ надо вставать?

— Какъ же! Насъ ожидаютъ. Вы хотѣли ѣхать.

— Куда это ѣхать? Я не хотѣлъ ѣхать никуда...

— Вотъ, Илья Ильичъ, сейчасъ вѣдь говорили, что ѣдемъ обѣдать къ Овчинину, а потомъ въ Екатерингофъ...

— Это я по сырости поѣду! И чего я тамъ не видалъ? Вонъ дождь собирается, пасмурно на дворѣ, лѣниво говорилъ Обломовъ.

— На небѣ ни облачка, а вы выдумали дождь. Пасмурно оттого, что у васъ окошки-то съ которыхъ поръ не мыты? Грязи-то, грязи на нихъ! Зги божіей невидно, да и одна штора почти совсѣмъ опущена.

— Да, вотъ подите-ка, заикнитесь объ этомъ Захару, такъ онъ сейчасъ бабъ предложитъ, да изъ дому погонитъ на цѣлый день!

Обломовъ задумался, а Алексѣевъ барабанилъ пальцами по столу, у котораго сидѣлъ, разсѣянно пробѣгая глазами по стѣнамъ и по потолку.

— Такъ какъ же намъ? Что дѣлать? Будете одѣваться, или останетесь такъ? спросилъ онъ чрезъ нѣсколько минутъ.

— А что?

— Да въ Екатерингофъ?..

— Дался вамъ этотъ Екатерингофъ, право! съ досадой отозвался Обломовъ.— Не сидится вамъ здѣсь? Холодно, что ли, въ комнатѣ, или пахнетъ нехорошо, что вы такъ и смотрите вонъ?

— Нѣтъ, мнѣ у васъ всегда хорошо; я доволенъ, сказалъ Алексѣевъ.

— А коли хорошо тутъ, такъ зачѣмъ и хотѣть въ другое мѣсто? Оставайтесь-ка лучше у меня на цѣлый день, отобѣдайте, а тамъ вечеромъ—Богъ съ вами!.. Да, я и забылъ: куда мнѣ ѣхать! Тарантьевъ обѣдать придетъ: сегодня суббота.

— Ужъ если оно такъ... я хорошо... какъ вы... говорилъ Алексѣевъ.

— А о дѣлахъ своихъ я вамъ не говорилъ? живо спросилъ Обломовъ.

— О какихъ дѣлахъ? Не знаю, сказалъ Алексѣевъ, глядя на него во всѣ глаза.

— Отчего я не встаю-то такъ долго? Вѣдь я вотъ тутъ лежалъ все, да думалъ, какъ мнѣ выпутаться изъ бѣды.

— Что такое? спросилъ Алексѣевъ, стараясь сдѣлать испуганное лицо.

— Два несчастья! Не знаю какъ и быть.

— Какія же?

— Съ квартиры гонять; вообразите — надо съѣзжать: ломки, возни... подумать страшно! Вѣдь восемь лѣтъ жилъ на квартирѣ. Съигралъ со мной штуку хозяинъ: „Съѣзжайте, говоритъ, поскорѣ“.

— Еще поскорѣ! Торопить, стало-быть нужно. Это очень несносно—переезжать: съ переездкой всегда хлопотъ много, сказалъ Алексѣевъ:—растеряютъ, перебьютъ—очень скучно! А у васъ такая славная квартира... вы что платите?

— Гдѣ съищешь другую такую, говорилъ Обломовъ:—и еще въ торопяхъ? Квартира сухая, теплая; въ домѣ смирно: обокрали всего одинъ разъ! Вонъ, потолокъ, кажется и непроченъ: штукатурка совсѣмъ отстала—а все не валится.



— Скажите, пожалуйста! говорилъ Алексѣевъ, качая головой.

— Какъ бы это устроить, чтобъ... не съѣзжать? въ раздумѣ, про себя разсуждалъ Обломовъ.

— Да у васъ по контракту нанята квартира? спросилъ Алексѣевъ, оглядывая комнату съ потолка до полу.

— Да, только срокъ контракту вышелъ; я все это время платилъ помѣсячно... не помню только съ которыхъ поръ.

— Какъ же вы полагаете? спросилъ, послѣ нѣкотораго молчанія, Алексѣевъ:—съѣхать, или оставаться?

— Никакъ не полагаю, сказалъ Обломовъ:—мнѣ и думать-то объ этомъ не хочется. Пусть Захаръ что-нибудь придумаетъ.

— А вотъ нѣкоторые такъ любятъ переѣзжать, сказалъ Алексѣевъ:—въ томъ только и удовольствіе находятъ, какъ бы квартиру перемѣнить...

— Ну, пусть эти „нѣкоторые“ и переѣзжаютъ. А я терпѣть не могу никакихъ перемѣнъ! Это еще что, квартира! заговорилъ Обломовъ:—А вотъ посмотрите-ка, что староста пишетъ ко мнѣ. Я вамъ сейчасъ покажу письмо... гдѣ бишь оно? Захаръ, Захаръ!

— Ахъ ты Владычица небесная! захрипѣлъ у себя Захаръ, прыгая съ печки:—когда это Богъ приберетъ меня?

Онъ вошелъ и мутно поглядѣлъ на барина.

— Что жъ ты письмо не съискалъ?

— А гдѣ я его сѣищу? Развѣ я знаю, какое письмо вамъ нужно? Я не умѣю читать.

— Все-равно поищи, сказалъ Обломовъ.

— Вы сами какое-то письмо вчера вечеромъ читали, говорилъ Захаръ:—а послѣ я не видалъ.

— Гдѣ же оно? съ досадой возразилъ Илья Ильичъ.— Я его не проглотилъ. Я очень-хорошо помню, что ты взялъ



у меня и куда-то вонъ тутъ положилъ. А то вотъ, гдѣ оно, смотри!

Онъ тряхнулъ одѣяломъ: изъ складокъ его выпало на полъ письмо.

— Вотъ выэтакъ все на меня!..—Ну, ну, поди, поди! въ одно и то же время закричали другъ на друга Обломовъ и Захаръ. Захаръ ушелъ, а Обломовъ началъ читать письмо, писанное точно квасомъ, на сѣрой бумагѣ, съ печатью изъ бураго сургуча. Огромныя, блѣдныя буквы тянулись въ торжественной процессіи, не касаясь другъ друга, по отвѣсной линіи, отъ верхняго угла къ нижнему. Шествіе иногда нарушалось блѣдно-чернильнымъ большимъ пятномъ.

„Милостивый государь“ началъ Обломовъ: „ваше благородіе, отецъ нашъ и кормилецъ, Илья Ильичъ...“

Тутъ Обломовъ пропустилъ нѣсколько привѣтствій и пожеланій здоровья, и продолжалъ съ середины:

„Доношу твоей барской милости, что у тебя въ вотчинѣ, кормилецъ нашъ, все благополучно. Пятую недѣлю нѣтъ дождей: знать, прогнѣвали Господа Бога, что нѣтъ дождей. Этакой засухи старики не запомнятъ: яровое такъ и палить, словно полымемъ. Озимъ, ино мѣсто червь сгубилъ, ино мѣсто ранніе морозы сгубили: перепахали-было на яровое, да не знамо, уродится ли что? Авось милосердый Господь помилуетъ твою барскую милость, а о себѣ не заботимся: пусть издохнемъ. А подъ Ивановъ день еще три мужика ушли: Лаптевъ, Балочовъ, да особо ушелъ Васька, кузнецовъ сынъ. Я бабъ погналъ по мужей: бабы тѣ не воротились, а проживаютъ, слышно, въ Челкахъ, а въ Челки поѣхалъ кумъ мой изъ Верхлева: управляющій послалъ его туда: соху слышь, заморскую привезли, а управляющій послалъ кума въ Челки оную соху посмотреть. Я наказывалъ ку-

„му о бѣглыхъ мужикахъ; исправнику кланялся, сказалъ онъ: „подай бумагу, и тогда всякое средство будетъ исполнено, водворить крестьянъ ко дворамъ на мѣсто жительства“ и опричь того, ничего не сказалъ, а я палъ въ ноги ему и слезно умолялъ; а онъ закричалъ благимъ матомъ: „пошелъ, пошелъ! тебѣ сказано, что будетъ исполнено—подай бумагу!“ А бумаги я не подавалъ. А нанять здѣсь некого: всѣ на Волгу, на работу на барки ушли—такой нынче глупый народъ сталъ здѣсь, кормилецъ нашъ, батюшка, Илья Ильичъ! Холста нашего сей годъ на ярмаркѣ не будетъ: сушильню и бѣлильню я заперъ на замокъ и Сычуга приставилъ денно и ночью смотрѣть: онъ тверезый мужикъ; да чтобы не стянулъ чего господскаго, я смотрю за нимъ денно и ночью. Другіе больно пьютъ и просятъ на оброкъ. Въ недоимкахъ недоборъ: нынѣшній годъ пошлемъ доходцу, будетъ, батюшка ты нашъ, благодѣтель, тысящи яко двѣ поменѣ противъ того года, что прошелъ, только бы засуха не разорила въ конецъ, а то вышлемъ, о чемъ твоей милости и предлагаемъ“.

Затѣмъ слѣдовали изъявленія преданности и подпись: „староста твой, всенижайшій рабъ Прокофій Вытягушкинъ собственной рукой руку приложилъ“. За неумѣніемъ грамоты поставленъ былъ крестъ. „А писалъ со словъ онаго старосты шуринъ его, Демка Кривой“.

Обломовъ взглянулъ на конецъ письма.

— Мѣсяца и года нѣтъ, сказалъ онъ:—должно-быть письмо валялось у старосты съ прошлаго года; тутъ и Ивановъ день, и засуха! Когда опомнился!

Онъ задумался.

— А? продолжалъ онъ:—Каково вамъ покажется: „предлагаетъ тысящи яко двѣ поменѣ!“ Сколько же это оста-

нется? Сколько бишь я прошлый годъ получилъ? спросилъ онъ, глядя на Алексѣева. Я не говорилъ вамъ тогда?

Алексѣевъ обратилъ глаза къ потолку и задумался.

— Надо Штольца спросить, какъ пріѣдетъ, продолжалъ Обломовъ:—кажется, тысячь семь, восемь... худо не записывать! Такъ онъ теперь сажаетъ меня на шесть! Вѣдь я съ голоду умру! Чѣмъ тутъ жить?

— Что жъ такъ тревожиться, Илья Ильичъ? сказалъ Алексѣевъ:—Никогда не надо предаваться отчаянію: перемелется—мука будетъ.

— Да вы слышите, что онъ пишетъ? Чѣмъ бы денегъ прислать, утѣшить какъ-нибудь, а онъ, какъ на смѣхъ, только непріятности дѣлаетъ мнѣ! И вѣдь всякій годъ! Вотъ я теперь самъ не свой! „Тысящи яко двѣ поменѣ!

— Да, большой убытокъ, сказалъ Алексѣевъ:—двѣ тысящи не шутка! Вотъ Алексѣй Логинъ, говорятъ, тоже получить нынѣшній годъ только двѣнадцать тысячь, вмѣсто семнадцати.

— Такъ двѣнадцать, а не шесть, перебилъ Обломовъ.— Совсѣмъ разстроилъ меня староста! Если оно и въ самомъ дѣлѣ такъ: неурожай да засуха, такъ зачѣмъ огорчать заранѣе?

— Да... оно въ самомъ дѣлѣ... началъ Алексѣевъ... не слѣдовало бы; но какой же деликатности ждать отъ мужика? Этотъ народъ ничего не понимаетъ.

— Ну, что бы вы сдѣлали на моемъ мѣстѣ? спросилъ Обломовъ, глядя вопросительно на Алексѣева, съ сладкой надеждой, авось не выдумаетъ ли, чѣмъ бы успокоить.

— Надо подумать, Илья Ильичъ, нельзя вдругъ рѣшить, сказалъ Алексѣевъ.

— Къ губернатору, что ли, написать! въ раздумьи говорилъ Илья Ильичъ.

— А кто у васъ губернаторъ? спросилъ Алексѣевъ.

Илья Ильичъ не отвѣчалъ и задумался. Алексѣевъ замолчалъ и тоже о чемъ-то размышлялъ.

Обломовъ, комкая письмо въ рукахъ, подперъ, голову руками, а локти уперъ въ колѣнки, и такъ сидѣлъ нѣсколько времени, мучимый приливомъ безпокойныхъ мыслей.

— Хотя бы Штольцъ скорѣй пріѣхалъ! сказалъ онъ:— Пишетъ, что скоро будетъ, а самъ, чортъ знаетъ, гдѣ шатается! Онъ бы уладилъ.

Онъ опять пригорюнился. Долго молчали оба. Наконецъ, Обломовъ очнулся первый.

— Вотъ тутъ что надо дѣлать! сказалъ онъ рѣшительно и чуть-было не всталъ съ постели:—и дѣлать какъ можно скорѣе, мѣшкать нечего... Во-первыхъ...

Въ это время раздался отчаянный звонокъ въ передней, такъ-что Обломовъ съ Алексѣевымъ вздрогнули, а Захаръ мгновенно спрыгнулъ съ лежанки.

### III.

— Дома? громко и грубо кто-то спросилъ въ передней.

— Куда объ эту пору идти? еще грубѣе отвѣчалъ Захаръ.

Вошелъ человѣкъ лѣтъ сорока, принадлежащій къ крупной породѣ, высокій, объемистый въ плечахъ и во всемъ туловищѣ, съ крупными чертами лица, съ большой головой, съ крѣпкой, коротенькой шеей, съ большими на выкатѣ глазами, толстогубый. Бѣглый взглядъ на этого человека рождалъ идею о чемъ-то грубомъ и неопрятномъ. Видно было, что онъ не гонялся за изяществомъ костюма. Невсегда его удавалось видѣть чисто обритымъ. Но ему, повидимому, это было все-равно; онъ не смущался отъ



своего костюма и носилъ его съ какимъ-то циническимъ достоинствомъ.

Это былъ Михей Андреевичъ Тарантьевъ, землякъ Обломова.

Тарантьевъ смотрѣлъ на все угрюмо, съ полупрезрѣніемъ, съ явнымъ недоброжелательствомъ ко всему окружающему, готовый бранить все и всѣхъ на свѣтѣ, какъ-будто какой-нибудь обиженный несправедливостью, или непризнанный въ какомъ-то достоинствѣ, наконецъ, какъ гонимый судьбою сильный характеръ, который недобровольно, неумышленно покоряется ей.

Движенія его были смѣлы и размашисты; говорилъ онъ громко, бойко и почти всегда сердито; если слушать въ нѣкоторомъ отдаленіи, точно будто три пустыя телѣги ѣдутъ по мосту. Никогда не стѣснялся онъ ни чѣмъ присутствіемъ и въ карманъ за словомъ не ходилъ, и вообще постоянно былъ грубъ въ обращеніи со всѣми, не исключая и пріятелей, какъ-будто давалъ чувствовать, что, заговаривая съ человѣкомъ, даже обѣдая или ужиная у него, онъ дѣлаетъ ему большую честь.

Тарантьевъ былъ человѣкъ ума бойкаго и хитраго; никто лучше его не разсудитъ какого-нибудь общаго житейскаго вопроса, или юридическаго запутаннаго дѣла: онъ сейчасъ построитъ теорію дѣйствій въ томъ или другомъ случаѣ и очень тонко подведетъ доказательства, а въ заключеніе еще почти всегда нагрубитъ тому, кто съ нимъ о чемъ-нибудь посоветуется.

Между-тѣмъ, самъ, какъ, двадцать-пять лѣтъ назадъ, опредѣлился въ какую-то канцелярію писцомъ, такъ въ этой должности и дожилъ до сѣдыхъ волосъ. Ни ему самому и никому другому и въ голову не приходило, чтобъ онъ пошелъ выше.

Дѣло въ томъ, что Тарантьевъ мастеръ былъ только го-

ворить; на словахъ онъ рѣшалъ все ясно и легко, особенно, что касалось другихъ; но какъ-только нужно было двинуть пальцомъ, тронуться съ мѣста—словомъ, примѣнить имъ же созданную теорію къ дѣлу и дать ему практическій ходъ, оказать распорядительность, быстроту—онъ былъ совсѣмъ другой человѣкъ: тутъ его не хватало—ему вдругъ и тяжело дѣлалось, и нездоровилось, то неловко, то другое дѣло случится, за которое онъ тоже не примется, а если и примется, такъ не дай Богъ что выйдетъ. Точно ребенокъ: тамъ не доглядить, тутъ не знаетъ какихъ-нибудь пустяковъ, тамъ опоздаетъ, и кончитъ тѣмъ, что бросить дѣло на половинѣ, или примется за него съ конца и такъ все изгадить, что и поправить никакъ нельзя, да еще онъ же потомъ и браниться станетъ.

Отецъ его, провинціальный подъячій стараго времени, назначалъ-было сыну въ наслѣдство искусство и опытность хожденія по чужимъ дѣламъ и свое, ловко-пройденное поприще служенія въ присутственномъ мѣстѣ; но судьба распорядилась иначе. Отецъ, учившійся самъ когда-то по-русски на мѣдныя деньги, не хотѣлъ, чтобъ сынъ его отставалъ отъ времени, и пожелалъ поучить чему-нибудь, кромѣ мудреной науки хожденія по дѣламъ. Онъ года три посылалъ его къ священнику, учиться по латыни.

Способный отъ природы мальчикъ въ три года прошелъ латынскую грамматику и синтаксисъ, и началъ-было разбирать Корнелія Непота, но отецъ рѣшилъ, что довольно и того, что онъ знаетъ, что ужъ и эти познанія даютъ ему огромное преимущество надъ старымъ поколѣніемъ, и что, наконецъ, дальнѣйшія занятія могутъ, пожалуй, повредить службѣ въ присутственныхъ мѣстахъ.

Шестнадцатилѣтній Михей, не зная, что дѣлать съ своей латынью, сталъ въ домѣ родителей забывать ее, но зато, въ ожиданіи чести присутствовать въ земскомъ или



уѣздномъ судѣ, присутствовалъ пока на всѣхъ пирушкахъ отца, и въ этой-то школѣ, среди откровенныхъ бесѣдъ, до тонкости развился умъ молодаго человѣка.

Онъ съ юношескою впечатлительностью вслушивался въ рассказы отца и товарищей его о разныхъ гражданскихъ и уголовныхъ дѣлахъ, о любопытныхъ случаяхъ, которые проходили черезъ руки всѣхъ этихъ подъячихъ стараго времени.

Но все это ни къ чему не повело. Изъ Михея не выработался дѣлецъ и крюкотворецъ, хотя всѣ старанія отца и клонились къ этому и, конечно, увѣнчались бы успѣхомъ, еслибъ судьба не разрушила замысловъ старика. Михей дѣйствительно усвоилъ себѣ всю теорію отцовскихъ бесѣдъ, оставалось только примѣнить ее къ дѣлу, но, за смертью отца, онъ не успѣлъ поступить въ судъ и былъ увезенъ въ Петербургъ какимъ-то благодѣтелемъ, который нашелъ ему мѣсто писца въ одномъ департаментѣ, да потомъ и забылъ о немъ.

Такъ Тарантьевъ и остался только теоретикомъ на всю жизнь. Въ петербургской службѣ ему нечего было дѣлать съ своею латынью и съ тонкой теоріей вершать по своему произволу правыя и неправыя дѣла; а между-тѣмъ онъ носилъ и сознавалъ въ себѣ дремлющую силу, запертую въ немъ враждебными обстоятельствами навсегда, безъ надежды на проявленіе, какъ бывали запираемы, по сказкамъ, въ тѣсныхъ заколдованныхъ стѣнахъ духи зла, лишенные силы вредить. Можетъ-быть, отъ этого сознанія безполезной силы въ себѣ, Тарантьевъ былъ грубъ въ обращеніи, недоброжелателенъ, постоянно сердитъ и бранчивъ.

Онъ съ горечью и презрѣніемъ смотрѣлъ на свои настоящія занятія: на переписыванье бумагъ, на подшиванье дѣлъ и т. п. Ему вдали улыбалась только одна послѣдняя

надежда: перейти служить по виннымъ откупамъ. На этой дорогѣ онъ видѣлъ единственную выгодную замѣну поприща, завѣщаннаго ему отцомъ и недостигнутого. А въ ожиданіи этого, готовая и созданная ему отцомъ теорія дѣятельности и жизни, теорія взятокъ и лукавства, миновавъ главное и достойное ея поприще въ провинціи, примѣнилась ко всѣмъ мелочамъ его ничтожнаго существованія въ Петербургѣ, вкралась во всѣ его пріятельскія отношенія, за недостаткомъ оффиціальныхъ.

Онъ былъ взяточникъ въ душѣ, по теоріи, ухитрялся брать взятки, за неимѣніемъ дѣлъ и просителей, съ сослуживцевъ, съ пріятелей, Богъ знаетъ какъ и за что—заставлялъ, гдѣ и кого только могъ, то хитростью, то назойливостью, угощать себя, требовалъ отъ всѣхъ незаслуженнаго уваженія, былъ придирчивъ. Его никогда не смущалъ стыдъ за поношенное платье, но онъ нечуждъ былъ тревоги, если въ перспективѣ дня не было у него громаднаго обѣда, съ приличнымъ количествомъ вина и водки.

Отъ этого онъ въ кругу своихъ знакомыхъ игралъ роль большой сторожевой собаки, которая лаетъ на всѣхъ, не даетъ никому пошевелиться, но которая, въ то же время, непременно схватитъ на лету кусокъ мяса, откуда и куда бы онъ ни летѣлъ.

Таковы были два самые усердные посѣтителя Обломова.

Зачѣмъ эти два русскіе пролетарія ходили къ нему? Они очень хорошо знали зачѣмъ: пить, ѣсть, курить хорошія сигары. Они находили теплый, покойный пріютъ и всегда одинаково, если не радушный, то равнодушный пріемъ.

Но зачѣмъ пускалъ ихъ къ себѣ Обломовъ — въ этомъ онъ едвали отдавалъ себѣ отчетъ. А кажется, затѣмъ, зачѣмъ еще о-сю-пору въ нашихъ отдаленныхъ Обломовкахъ, въ каждомъ зажиточномъ домѣ толпится рой подобныхъ лицъ обоего пола, безъ хлѣба, безъ ремесла, безъ рукъ для

производительности и только съ желудкомъ для потребленія, но почти всегда съ чиномъ и званіемъ.

Есть еще сибариты, которымъ необходимы такія дополненія въ жизни: имъ скучно безъ лишняго на свѣтѣ. Кто подастъ куда-то запропастившуюся табакерку, или подниметъ упавшій на полъ платокъ? Кому можно пожаловаться на головную боль, съ правомъ на участіе, рассказать дурной сонъ и потребовать истолкованія? Кто почитаетъ книжку на сонъ грядущій и поможетъ заснуть? А иногда такой пролетарій посылается въ ближайшій городъ, за покупкой, поможетъ по хозяйству—не самимъ же мыкаться!

Тарантьевъ дѣлалъ много шума, выводилъ Обломова изъ неподвижности и скуки. Онъ кричалъ, спорилъ и составлялъ родъ какого-то спектакля, избавляя лѣниваго барина самого отъ необходимости говорить и дѣлать. Въ комнату, гдѣ царствовалъ сонъ и покой, Тарантьевъ приносилъ жизнь, движеніе, а иногда и вѣсти извнѣ. Обломовъ могъ слушать, смотрѣть, не шевеля пальцомъ, на что-то бойкое, движущееся и говорящее передъ нимъ. Кромѣ-того, онъ еще имѣлъ простодушіе вѣрить, что Тарантьевъ въ-самомъ-дѣлѣ способенъ посовѣтовать ему что-нибудь путное.

Посѣщенія Алексѣева Обломовъ терпѣлъ по другой, не менѣе важной причинѣ. Если онъ хотѣлъ жить по-своему, т. е. лежать молча, дремать, или ходить по комнатѣ, Алексѣева какъ-будто не было тутъ: онъ тоже молчалъ, дремалъ, или смотрѣлъ въ книгу, разглядывалъ, съ линивой зѣвотой до слезъ, картинки и вещицы. Онъ могъ такъ пробыть хоть трои сутки. Если же Обломову наскучивало быть одному и онъ чувствовалъ потребность выразиться, говорить, читать, разсуждать, проявить волненіе—тутъ былъ всегда покорный и готовый слушатель и участникъ, раздѣлявшій одинаково-согласно и его молчаніе, и его разго-

воръ, и волненіе, и образъ мыслей, каковъ бы онъ ни былъ.

Другіе гости заходили нечасто, на минуту, какъ первые три гостя; съ ними со всѣми все болѣе-и-болѣе порывались живыя связи. Обломовъ иногда интересовался какою-нибудь новостью, пяти-минутнымъ разговоромъ, потомъ, удовлетворенный этимъ, молчалъ. Имъ надо было платить взаимностью, принимать участіе въ томъ, что ихъ интересовало. Они купались въ людской толпѣ; всякій понималъ жизнь по-своему, какъ не хотѣлъ понимать ее Обломовъ, а они путали въ нее и его: все это не нравилось ему, отталкивало его, было ему не по-душѣ.

Былъ ему по-сердцу одинъ человѣкъ: тотъ тоже не давалъ ему покоя; онъ любилъ и новости, и свѣтъ, и науку, и всю жизнь, но какъ-то глубже, искреннѣе—и Обломовъ, хотя былъ ласковъ со всѣми, но любилъ искренно его одного, вѣрилъ ему одному, можетъ-быть, потому, что росъ, учился и жилъ съ нимъ вмѣстѣ. Это Андрей Карловичъ Штольцъ.

Онъ былъ въ отлучкѣ, но Обломовъ ждалъ его съ-часу-на-часъ.

#### IV.

— Здравствуй, землякъ, отрывисто сказалъ Тарантьевъ, протягивая мохнатую руку къ Обломову.—Что ты это лежишь по-сю-пору, какъ колода?

— Не подходи, не подходи: ты съ холода! говорилъ Обломовъ, прикрываясь одѣяломъ.

— Вотъ еще что выдумалъ, съ холода! заголосилъ Тарантьевъ. — Ну, ну, бери руку, коли дають! Скоро двѣнадцать часовъ, а онъ валяется!

Онъ хотѣлъ приподнять Обломова съ постели, но тотъ



предупредилъ его, опустивъ быстро ноги и съ разу попавъ ими въ обѣ туфли.

— Я самъ сейчасъ хотѣлъ вставать, сказалъ онъ, зѣвая.

— Знаю я, какъ ты встаешь: ты бы тутъ до обѣда провалялся. Эй, Захаръ! Гдѣ ты тамъ, старый дуракъ? Давай скорѣй одѣваться барину.

— А вы заведите-ка прежде своего Захара, да и лягтесь тогда! заговорилъ Захаръ, войдя въ комнату и злобно поглядывая на Тарантьева.—Вонъ натоптали какъ, словно разнощикъ! прибавилъ онъ.

— Ну, еще разговариваетъ, образина! говорилъ Тарантьевъ и поднималъ ногу, чтобъ сзади ударить проходившаго мимо Захара; но Захаръ остановился, обернулся къ нему и оцетинился.

— Только вотъ троньте! яростно захрипѣлъ онъ:—Что это такое? Я уйду... сказалъ онъ, идучи назадъ къ дверямъ.

— Да полно тебѣ, Михей Андреичъ, какой ты неугомонный! Ну, что ты его трогаешь? сказалъ Обломовъ.—Давай, Захаръ, что нужно!

Захаръ воротился и, косясь на Тарантьева, проворно шмыгнулъ мимо его.

Обломовъ, облокотясь на него, нехотя, какъ очень-утомленный человѣкъ, привсталъ съ постели, и нехотя же перейдя на большое кресло, опустился въ него и остался неподвиженъ, какъ сѣлъ.

Захаръ взялъ со столика помаду, гребенку и щетки, намадилъ ему голову, сдѣлалъ проборъ и потомъ причесалъ его щеткой.

— Умываться, теперь, что ли, будете? спросилъ онъ.

— Немного погожу еще, отвѣчалъ Обломовъ:—а ты поди-себѣ.

— Ахъ, да и вы тутъ? вдругъ сказалъ Тарантьевъ, обращаясь къ Алексѣеву въ то время, какъ Захаръ при-

чесываль Обломова: — Я васъ и не видалъ. Зачѣмъ вы здѣсь? Что это вашъ родственникъ такая свинья! Я вамъ все хотѣлъ сказать...

— Какой родственникъ? У меня никакого родственника нѣтъ, робко отвѣчалъ оторопѣвшій Алексѣевъ, выпуча глаза на Тарантьева.

— Ну, вотъ этотъ, что еще служить тутъ, какъ его?.. Аѳанасьевъ зовутъ. Какъ же не родственникъ?—родственникъ.

— Да я не Аѳанасьевъ, я Алексѣевъ, сказалъ Алексѣевъ:—у меня нѣтъ родственника.

— Вотъ еще не родственникъ! Такой же, какъ вы, невзрачный, и зовутъ тоже Васильемъ Николаичемъ.

— Ей-Богу, не родня; меня зовутъ Иваномъ Алексѣичемъ.

— Ну, все-равно, похожъ на васъ. Только онъ свинья; вы ему скажите это, какъ увидите.

— Я его не знаю, не видалъ никогда, говорилъ Алексѣевъ, открывая табакерку.

— Дайте-ка табаку! сказалъ Тарантьевъ: — Да у васъ простой, не французскій? Такъ и есть, сказалъ онъ, понюхавъ: — отчего не французскій? строго прибавилъ потомъ.

— Да, еще такой свиньи я не видывалъ, какъ вашъ родственникъ, продолжалъ Тарантьевъ. — Взялъ я когда-то у него, ужъ года два будетъ, пятьдесятъ рублей займа. Ну, велики ли деньги пятьдесятъ рублей? Какъ, кажется, не забыть? Нѣтъ, помнить: черезъ мѣсяцъ, гдѣ ни встрѣтитъ: „А что жъ должокъ?“ говорить. Надоѣлъ! Мало того, вчера къ намъ въ департаментъ пришелъ: „Вѣрно вы, говоритъ, жалованье получили, теперь можете отдать“. Даль я ему жалованье: пошелъ при всѣхъ срамить, такъ онъ на-силу двери нашелъ. „Бѣдный человекъ, самому



надо"! Какъ-будто мнѣ не надо! Я что за богачъ, чтобъ ему по пятидесяти рублей отваливать! Дай-ка, землякъ, сигару.

— Сигары вонъ тамъ, въ коробочкѣ, отвѣчалъ Обломовъ, указывая на этажерку.

Онъ задумчиво сидѣлъ въ креслахъ, въ своей лѣниво-красивой позѣ, не замѣчая, что вокругъ него дѣлалась, не слушая, что говорилось. Онъ съ любовью разсматривалъ и гладилъ свои маленькія, бѣлыя руки.

— Э! Да это все тѣ же? строго спросилъ Тарантьевъ, вынувъ сигару и поглядывая на Обломова.

— Да, тѣ же, отвѣчалъ Обломовъ машинально.

— А я говорилъ тебѣ, чтобъ ты купилъ другихъ, заграничныхъ? Вотъ какъ ты помнишь, что тебѣ говорить! Смотри же, чтобъ къ слѣдующей субботѣ непременно было, а то долго не приду. Вишь, вѣдь какая дрянь! продолжалъ онъ, закуривъ сигару и пустивъ одно облако дыма на воздухъ, а другое втянувъ въ себя:—Курить нельзя.

— Ты рано сегодня пришелъ, Михей Андреичъ, сказалъ Обломовъ, зѣвая.

— Что жъ, я надоѣлъ тебѣ, что ли?

— Нѣтъ, я такъ только замѣтилъ; ты обыкновенно къ обѣду прямо приходишь, а теперь только еще первый часъ.

— Я нарочно заранѣе пришелъ, чтобъ узнать, какой обѣдъ будетъ. Ты все дрянью кормишь меня, такъ я вотъ узнаю, что-то ты велѣлъ готовить сегодня.

— Узнай тамъ, на кухнѣ, сказалъ Обломовъ.

Тарантьевъ вышелъ.

— Помилуй! сказалъ онъ, воротясь:—Говядина и телятина! Эхъ, братъ Обломовъ, не умѣешь ты жить, а еще помѣщикъ! Какой ты баринъ? По-мѣщански живешь; не умѣешь угостить пріятеля! Ну, мадера-то куплена?

— Не знаю, спроси у Захара, почти не слушая его, сказалъ Обломовъ:—тамъ вѣрно есть вино.

— Это прежняя-то, отъ нѣмца? Нѣтъ, изволь въ англійскомъ магазинѣ купить.

— Ну, и этой довольно, сказалъ Обломовъ:—а то еще посылать!

— Да постой, дай деньги, я мимо пойду и принесу; мнѣ еще надо кое-куда сходить.

Обломовъ порылся въ ящикѣ и вынулъ тогдашнюю красненькую десяти-рублевую бумажку.

— Мадера семь рублей стоитъ, сказалъ Обломовъ:—а тутъ десять.

— Такъ дай все: тамъ дадутъ сдачи, не бойся!

Онъ выхватилъ изъ рукъ Обломова ассигнацію и проворно спряталъ въ карманъ.

— Ну, я пойду, сказалъ Тарантьевъ, надѣвая шляпу:—а къ пяти часамъ буду; мнѣ надо кое-куда зайти: общали мѣсто въ питейной конторѣ, такъ велѣли понавѣдаться... Да вотъ что, Илья Ильичъ: не наймешь ли ты коляску сегодня, въ Екатерингофъ ѣхать? И меня бы взялъ.

Обломовъ покачалъ головой, въ знакъ отрицанія.

— Что, лѣнь, или денегъ жаль? Эхъ, ты, мѣшокъ! сказалъ онъ.—Ну, прощай пока...

— Постой, Михей Андреичъ, прервалъ Обломовъ:—мнѣ надо кое-о-чемъ посовѣтоваться съ тобой.

— Что еще тамъ? Говори скорѣй: мнѣ некогда.

— Да вотъ на меня два несчастья вдругъ обрушились. Съ квартиры гонять...

— Видно не платишь: и по-дѣломъ! сказалъ Тарантьевъ и хотѣлъ идти.

— Поди ты! Я всегда впередъ отдаю. Нѣтъ, тутъ хотятъ другую квартиру отдѣлывать... Да постой! Куда ты? Научи, что дѣлать: торопятъ, черезъ недѣлю чтобъ съѣхали...

— Что я за совѣтникъ тебѣ достался?.. Напрасно ты воображаешь...

— Я совсѣмъ ничего не воображаю, сказалъ Обломовъ: — не шуми и не кричи, а лучше подумай, что дѣлать. Ты человѣкъ практическій...

Тарантьевъ уже не слушалъ его и о чемъ-то размышлялъ.

— Ну, такъ и быть, благодари меня, сказалъ онъ, снимая шляпу и садясь: — и вели къ обѣду подать шампанскаго: дѣло твое сдѣлано.

— Что такое? спросилъ Обломовъ

— Шампанское будетъ?

— Пожалуй, если совѣтъ стоитъ...

— Нѣтъ, самъ-то ты не стоишь совѣта. Что я тебѣ даромъ-то стану совѣтовать? Вонъ, спроси его, прибавилъ онъ, указывая на Алексѣева: — или у родственника его.

— Ну, ну, полно, говори! просилъ Обломовъ.

— Вотъ что: завтра же изволь переѣзжать на квартиру...

— Э! Что придумалъ! Это я и самъ зналъ...

— Постой, не перебивай! закричалъ Тарантьевъ: — Завтра переѣзжай на квартиру къ моей кумѣ, на Выборгскую Сторону...

— Это что за новости? На Выборгскую Сторону! Да туда, говорятъ, зимой волки забѣгаютъ.

— Случается, забѣгаютъ съ острововъ, да тебѣ что до этого за дѣло?

— Тамъ скука, пустота, никого нѣтъ.

— Врешь? Тамъ кума моя живетъ: у ней свой домъ, съ большими огородами. Она женщина благородная, вдова, съ двумя дѣтьми; съ ней живетъ холостой братъ: голова, не то, что вотъ эта, что тутъ въ углу сидитъ, сказалъ онъ, указывая на Алексѣева: — насъ съ тобой за поясъ заткнетъ!

— Да что жь мнѣ до всего до этого за дѣло? сказалъ съ нетерпѣніемъ Обломовъ. — Я туда не переѣду.

— А вотъ я посмотрю, какъ ты не переѣдешь. Нѣтъ, ужь коли спросилъ совѣта, такъ слушайся, что говорятъ.

— Я не переѣду, рѣшительно сказалъ Обломовъ.

— Ну, такъ чортъ съ тобой! отвѣчалъ Тарантьевъ, нахлобучивъ шляпу, и пошелъ къ дверямъ.

— Чудакъ ты этакой! воротаясь, сказалъ Тарантьевъ:— Что тебѣ здѣсь сладко кажется?

— Какъ что? Отъ всего близко, говорилъ Обломовъ:— тутъ и магазины, и театръ, и знакомые... центръ города, все...

— Что-о? перебилъ Тарантьевъ. — А давно ли ты ходилъ со двора, скажи-ка? Давно ли ты былъ въ театрѣ? Къ какимъ знакомымъ ходишь ты? На кой чортъ тебѣ этотъ центръ, позволь спросить!

— Ну какъ зачѣмъ? Мало ли зачѣмъ!

— Видишь, и самъ не знаешь! А тамъ, подумай: ты будешь жить у кумы моей, благородной женщины, въ покоѣ, тихо; никто тебя не тронетъ; ни шуму, ни гаму, чисто, опрятно. Посмотри-ка, вѣдь ты живешь точно на постояломъ дворѣ, а еще баринъ, помѣщикъ! А тамъ чистота, тишина; есть съ кѣмъ и слово перемолвить, какъ соскучишься. Кромѣ меня, къ тебѣ и ходить никто не будетъ. Двое ребятишекъ—играй съ ними, сколько хочешь! Чего тебѣ? А выгода-то, выгода какая. Ты что здѣсь платишь?

— Полторы тысячи.

— А тамъ тысячу рублей почти за цѣлый домъ! Да какія свѣтленькія, славныя комнаты! Она давно хотѣла тихаго, аккуратнаго жильца имѣть—вотъ я тебя и назначаю...

Обломовъ разсѣянно покачалъ головой, въ знакъ отрицанія.

— Врешь, переѣдешь! сказалъ Тарантьевъ.—Ты разсуди, что тебѣ вѣдь это вдвое-менье станетъ: на одной квартирѣ пятьсотъ рублей выгадаешь. Столъ у тебя будетъ вдвое-лучше и чище; ни кухарка, ни Захаръ воровать не будутъ...

Въ передней слышалось ворчанье.

— И порядка больше, продолжалъ Тарантьевъ:—вѣдь теперь скверно у тебя за столъ сѣсть! Хватишься перцу—нѣтъ, уксусу не куплено, ножи не чищены; бѣлье, ты говоришь, пропадаетъ, пыль вездѣ — ну, мерзость! А тамъ женщина будетъ хозяйничать: ни тебѣ, ни твоему дураку, Захару...

Ворчанье въ передней раздалось сильнѣе.

— Этому старому псу, продолжалъ Тарантьевъ:—ни о чемъ и подумать не придется: на всемъ готовомъ будешь жить. Что тутъ размышлять? Переѣзжай, да и конецъ...

— Да какъ же это я вдругъ, ни съ того, ни съ сего, на Выборгскую Сторону...

— Поди съ нимъ! говорилъ Тарантьевъ, отирая потъ съ лица:—Теперь лѣто: вѣдь это все равно что дача. Что ты гниешь здѣсь лѣтомъ-то, въ Гороховой?.. Тамъ Безбородкинъ садъ, Охта подъ-бокомъ, Нева въ двухъ шагахъ, свой огородъ — ни пыли, ни духоты! Нечего и думать: я сейчасъ же до обѣда слетаю къ ней—ты дай мнѣ на извозника и завтра же переѣзжать...

— Что это за человѣкъ! сказалъ Обломовъ: — Вдругъ выдумаетъ чортъ знаетъ что: на Выборгскую Сторону... Это немудрено выдумать. Нѣтъ, вотъ ты ухитришься выдумать, чтобъ остаться здѣсь. Я восемь лѣтъ живу, такъ мѣнять-то не хочется...

— Это кончено: ты переѣдешь. Я сейчасъ ѣду къ кумѣ, про мѣсто въ другой разъ навѣдаюсь...

Онъ было-пошелъ.



— Пстой, пстой! Куда ты? остановилъ его Обломовъ:  
— У меня еще есть дѣло, поважнѣе. Посмотри, какое я письмо отъ старосты получилъ, да рѣши, что мнѣ дѣлать.

— Видишь, вѣдь ты какой уродился! возразилъ Тарантьевъ: — Ничего не умѣешь самъ сдѣлать. Все я, да я! Ну, куда ты годишься? Не человѣкъ: просто солома!

— Гдѣ письмо-то? Захаръ, Захаръ! Онятъ онъ куда-то дѣлтъ его! говорилъ Обломовъ.

— Вотъ письмо старосты, сказалъ Алексѣевъ, взявъ скомканное письмо.

— Да, вотъ оно, повторилъ Обломовъ и началъ читать вслухъ.

— Что ты скажешь? Какъ мнѣ быть! спросилъ прочитавъ, Илья Ильичъ.—Засухи, недоимки...

— Пропащій, совсѣмъ пропащій человѣкъ! говорилъ Тарантьевъ.

— Да отчего жъ пропащій?

— Какъ же не пропащій?

— Ну, если пропащій, такъ скажи, что дѣлать?

— А что за это?

— Вѣдь сказано, будетъ шампанское: чего же еще тебѣ?

— Шампанское за отысканіе квартиры: вѣдь я тебя облагодѣтельствовалъ, а ты не чувствуешь этого, споришь еще; ты неблагодаренъ! Поди-ка сѣищи самъ квартиру! Да что квартира? Главное, спокойствіе-то какое тебѣ будетъ: все равно, какъ у родной сестры. Двое ребятишекъ, холостой братъ, я всякій день буду заходить...

— Ну, хорошо, хорошо, перебилъ Обломовъ:—ты вотъ теперь скажи, что мнѣ съ старостой дѣлать?

— Нѣтъ, прибавъ портеръ къ обѣду, такъ скажу.

— Вотъ теперь портеръ! Мало тебѣ...

— Ну, такъ прощай, сказалъ Тарантьевъ, опять надѣвая шляпу.

— Ахъ, ты, Боже мой! Тутъ староста пишетъ, что дохода „тысящи двѣ яко поменѣ“, а онъ еще портеръ набавиль! Ну, хорошо, купи портеру.

— Дай еще денегъ! сказалъ Тарантьевъ.

— Вѣдь у тебя останется сдача отъ красненькой.

— А на извозчика на Выборгскую Сторону? отвѣчалъ Тарантьевъ.

Обломовъ вынулъ еще цѣлковый и съ досадою сунулъ ему.

— Староста твой мошенникъ—вотъ что я тебѣ скажу, началъ Тарантьевъ, пряча цѣлковый въ карманъ: — а ты вѣришь ему, разиня ротъ. Видишь, какую пѣсню поетъ! Засухи, неурожай, недоимки, да мужики ушли. Вретъ, все вреть! Я слышалъ, что въ нашихъ мѣстахъ, въ Шумиловой вотчинѣ, прошлогоднимъ урожаемъ всѣ долги уплатили, а у тебя вдругъ засуха да неурожай. Шумиловское-то въ пятидесяти верстахъ отъ тебя только: отчего жъ тамъ не сожгло хлѣба? Выдумалъ еще недоимки! А онъ чего смотрѣлъ? Зачѣмъ запускаялъ? Откуда это недоимки? Работы, что ли, или сбыта въ нашей сторонѣ нѣтъ? Ахъ онъ разбойникъ! Да я бы его выучилъ! А мужики разошлись оттого, что самъ же онъ, чай, содралъ съ нихъ что-нибудь, да и распустилъ, а исправнику и не думалъ жаловаться.

— Не можетъ быть, говорилъ Обломовъ:—онъ даже и отвѣтъ исправника передаетъ въ письмѣ—такъ натурально...

— Эхъ, ты! Не знаешь ничего. Да всѣ мошенники натурально пишутъ—ужъ это ты мнѣ повѣрь! Вотъ, напри- мѣръ, продолжалъ онъ, указывая на Алексѣева:—сидитъ честная душа, овца-овцой, а напишетъ ли онъ натурально?—Никогда. А родственникъ его, даромъ-что свинья и

бестія, тотъ напишетъ. И ты не напишешь натурально! Стало-быть, староста твой ужъ потому бестія, что ловко и натурально написалъ. Видишь, вѣдь, какъ прибралъ, слово къ слову: „водворить на мѣсто жительства“.

— Что жъ дѣлать-то съ нимъ? спросилъ Обломовъ.

— Смѣни его сейчасъ же.

— А кого я назначу? Почему я знаю мужиковъ? Другой, можетъ-быть, хуже будетъ. Я двѣнадцать лѣтъ не былъ тамъ.

— Ступай въ деревню самъ: безъ этого нельзя; пробудь тамъ лѣто, а осенью прямо на новую квартиру и пріѣзжай. Я ужъ похлопочу тутъ, чтобъ она была готова.

— На новую квартиру, въ деревню, самому! Какія ты все отчаянныя мѣры предлагаешь! съ неудовольствіемъ сказалъ Обломовъ. — Нѣтъ, чтобъ избѣгнуть крайностей и придерживаться середины...

— Ну, братъ Илья Ильичъ, совсѣмъ пропадешь ты. Да я бы, на твоёмъ мѣстѣ, давнымъ-давно заложилъ имѣніе, да купилъ бы другое, или домъ здѣсь, на хорошемъ мѣстѣ: это стоитъ твоей деревни. А тамъ заложилъ бы и домъ, да купилъ бы другой... Дай-ка мнѣ твое имѣніе, такъ обо мнѣ услышали бы въ народѣ-то.

— Перестань хвастаться, а выдумай, какъ бы и съ квартиры не съѣзжать, и въ деревню не ѣхать, и чтобъ дѣло сдѣлалось... замѣтилъ Обломовъ.

— Да сдвинешься ли ты когда-нибудь съ мѣста? говорилъ Тарантьевъ: — Вѣдь погляди-ка ты на себя: куда ты годишься? Какая отъ тебя польза отечеству? Не можетъ въ деревню съѣздить!

— Теперь мнѣ еще рано ѣхать, отвѣчалъ Илья Ильичъ: — прежде дай кончить планъ преобразованія, которыя я намѣренъ ввести въ имѣніе... Да знаешь ли что, Михей Андреичъ? вдругъ сказалъ Обломовъ: — Съѣзди-ка ты. Дѣ-

ло ты знаешь, мѣста тебѣ тоже извѣстны; а я бы не пожалѣлъ издержекъ.

— Я управитель, что ли, твой? надменно возразилъ Тарантьевъ: — Да и отвыкъ я съ мужиками-то обращаться...

— Что дѣлать? сказалъ задумчиво Обломовъ: — Право не знаю.

— Ну, напиши къ исправнику: спроси его, говорилъ ли ему староста о шатающихся мужикахъ, совѣтовалъ Тарантьевъ: — да попроси заѣхать въ деревню: потомъ къ губернатору напиши, чтобъ предписалъ исправнику донести о поведеніи старосты. „Примите, дескать, Ваше Превосходительство, отеческое участіе и взгляните окомъ милосердія на неминуемое, угрожающее мнѣ ужаснѣйшее несчастіе, происходящее отъ буйственныхъ поступковъ старосты, и крайнее разореніе, коему я неминуемо долженъ подвергнуться, съ женой и малолѣтними, остающимися безъ всякаго призрѣнія и куска хлѣба, двѣнадцатью человѣками дѣтей...

Обломовъ засмѣялся.

— Откуда я наберу столько ребятишекъ, если попросить показать дѣтей? сказалъ онъ.

— Врешь, пиши: съ двѣнадцатью человѣками дѣтей; оно проскользнетъ мимо ушей, справокъ наводить не станутъ, зато будетъ „натурально...“ Губернаторъ письмо передастъ секретарю, а ты напишешь въ то же время и ему, разумѣется, со вложеніемъ, — тотъ и сдѣлаетъ распоряженіе. Да попроси сосѣдей: кто у тебя тамъ?

— Добрынинъ тамъ близко, сказалъ Обломовъ: — я здѣсь съ нимъ часто видѣлся; онъ тамъ теперь.

— И ему напиши, попроси хорошенько: „сдѣлаете, дескать, мнѣ этимъ кровное одолженіе и обяжете, какъ христіанинъ, какъ пріятель и какъ сосѣдь“. Да приложи къ письму какой-нибудь петербургскій гостинецъ... сигаръ,

что ли. Вотъ ты какъ поступи, а то ничего не смыслишь. Пропашій человѣкъ! У меня наплясался бы староста: я бы ему далъ! Когда туда почта?

— Послѣ завтра, сказалъ Обломовъ.

— Такъ вотъ садись, да и пиши сейчасъ.

— Вѣдь послѣ завтра, такъ зачѣмъ же сейчасъ? замѣтилъ Обломовъ:—Можно и завтра. Да послушай-ка, Михай Андрейчъ, прибавилъ онъ:—ужь доверши свои „благодѣянiя“: я такъ и быть, еще прибавлю къ обѣду рыбу, или птицу какую-нибудь.

— Что еще? спросилъ Тарантьевъ.

— Присядь, да напиши. Долго ли тебѣ три письма настрочить? Ты такъ „натурально“ рассказываешь... прибавилъ онъ, стараясь скрыть улыбку:—а вонъ Иванъ Алексѣичъ переписалъ бы...

— Э! Какія выдумки! отвѣчалъ Тарантьевъ:—Чтобъ я писать сталъ! Я и въ должности третiй день не пишу: какъ сяду, такъ слеза изъ лѣваго глаза и начнетъ бить; видно надуло, да и голова затекаетъ, какъ нагнусь... Лѣнтяй, ты лѣнтяй! Пропадешь, братъ, Илья Ильичъ, ни за копейку!

— Ахъ, хоть бы Андрей поскорѣй прiѣхалъ! сказалъ Обломовъ:—Онъ бы все уладилъ...

— Вотъ нашель благодѣтеля! прервалъ его Тарантьевъ:—Нѣмецъ проклятый, шельма продувная!...

Тарантьевъ питалъ какое-то инстинктивное отвращенiе къ иностранцамъ. Въ глазахъ его французъ, нѣмецъ, англичанинъ были синонимы мошенника, обманщика, хитреца, или разбойника. Онъ даже не дѣлалъ различiя между націями: онѣ были всѣ одинаковы въ его глазахъ.

— Послушай, Михай Андрейчъ, строго заговорилъ Обломовъ:—я тебя просилъ быть воздержнѣе на языкъ, особенно о близкомъ мнѣ человѣкѣ...

— О близкомъ человѣкѣ! съ ненавистью возразилъ Та-



рантьевъ:—Что онъ тебѣ за родня такая? Нѣмецъ—извѣстно.

— Ближе всякой родни: я вмѣстѣ съ нимъ росъ, учился, и не позволю дерзостей...

Тарантьевъ побагровѣлъ отъ злости.

— А! Если ты мѣняешь меня на нѣмца, сказалъ онъ:—такъ я къ тебѣ больше ни ногой.

Онъ надѣлъ шляпу и пошелъ къ двери. Обломовъ мгновенно смягчился.

— Тебѣ бы слѣдовало уважать въ немъ моего пріятеля и осторожнѣе отзываться о немъ—вотъ все, чего я требую! Кажется, невелика услуга, сказалъ онъ.

— Уважать нѣмца? съ величайшимъ презрѣніемъ сказалъ Тарантьевъ:—За что это?

— Я ужъ тебѣ сказалъ, хоть бы за то, что онъ вмѣстѣ со мной росъ и учился.

— Велика важность! Мало ли кто съ кѣмъ учился!

— Вотъ еслибъ онъ былъ здѣсь, такъ онъ давно бы избавилъ меня отъ всякихъ хлопотъ, не спросивъ ни портету, ни шампанскаго... сказалъ Обломовъ.

— А! Ты попрекаешь мнѣ! Такъ чортъ съ тобой, и съ твоимъ портеромъ и шампанскимъ! На, вотъ, возьми свои деньги... Куда бишь я ихъ положилъ? Вотъ совсѣмъ забылъ, куда сунулъ, проклятыя!

Онъ вынулъ какую-то замасленную, исписанную бумажку.

— Нѣтъ, не онѣ!... говорилъ онъ.—Куда это я ихъ?...

Онъ шарилъ по карманамъ.

— Не трудись, не доставай! сказалъ Обломовъ: — Я тебя не упрекаю, а только прошу отзываться приличнѣе о человѣкѣ, который мнѣ близокъ и который такъ много сдѣлалъ для меня...

— Много! злобно возразилъ Тарантьевъ.—Вотъ постой, онъ еще больше сдѣлаетъ—ты слушай его!

— Къ чему ты это говоришь мнѣ? спросилъ Обломовъ.

— А вотъ къ тому, какъ ужъ нѣмецъ твой облупить тебя, такъ ты и будешь знать, какъ мѣнять земляка, русскаго человѣка, на бродягу какого-то...

— Послушай, Михей Андреичъ... началъ Обломовъ.

— Нечего слушать-то, я слушалъ много, натерпѣлся отъ тебя горя-то! Богъ видитъ, сколько обидъ перенесъ... Чай, въ Саксоніи-то отецъ его и хлѣба-то не видалъ, а куда носъ поднимать пріѣхалъ.

— За что ты мертвыхъ тревожишь? Чѣмъ виноватъ отецъ?

— Виноваты оба, и отецъ и сынъ, мрачно сказалъ Тарантьевъ, махнувъ рукой.—Не даромъ мой отецъ совѣтовалъ беречься этихъ нѣмцевъ, а ужъ онъ ли не зналъ всякихъ людей на своемъ вѣку!

— Да чѣмъ же не нравится отецъ, наприимѣръ? спросилъ Илья Ильичъ.

— А тѣмъ, что пріѣхалъ въ нашу губернію въ одномъ сюртукѣ, да въ башмакахъ, въ сентябрѣ, а тутъ вдругъ сыну наслѣдство оставилъ—что это значить?

— Оставилъ онъ сыну наслѣдства всего тысячь сорокъ. Кое-что онъ взялъ въ приданое за женой, а остальныея пріобрѣлъ тѣмъ, что училъ дѣтей, да управлялъ имѣніемъ: хорошее жалованье получалъ. Видишь, что отецъ не виноватъ. Чѣмъ же теперь виноватъ сынъ?

— Хорошъ мальчикъ! Вдругъ изъ отцовскихъ сорока сдѣлалъ тысячь триста капитала, и въ службѣ за надворнаго перевалился, и ученый... теперь вонъ еще путешествуетъ! Пострѣлъ вездѣ поспѣлъ! Развѣ настоящій-то хорошій русскій человѣкъ станетъ все это дѣлать? Русскій человѣкъ выберетъ что-нибудь одно, да и то еще не спѣша,

потихоньку да полегоньку, кое-какъ, а то на-ко, поди! Добро бы въ откупа вступилъ — ну, понятно, отчего разбогатѣлъ; а то ничего, такъ, на фу-фу! Нечисто! Я бы подь судъ этакихъ! Вотъ теперь шатается, чортъ знаетъ гдѣ! продолжалъ Тарантьевъ.—Зачѣмъ онъ шатается по чужимъ землямъ?

— Учиться хочетъ, все видѣть, знать.

— Учиться! Мало еще учили его? Чему это? Вретъ онъ, не вѣрь ему: онъ тебя въ глаза обманываетъ, какъ малаго ребенка. Развѣ большіе учатся чему-нибудь? Слышите, что рассказываетъ? Станетъ надворный совѣтникъ учиться! Вотъ ты учился въ школѣ, а развѣ теперь учишься? А онъ развѣ (онъ указалъ на Алексѣева) учится? А родственникъ его учится? Кто изъ добрыхъ людей учится? Что онъ тамъ, въ нѣмецкой школѣ, что ли, сидитъ, да уроки учить? Вретъ онъ! Я слышалъ, онъ какую-то машину поѣхалъ смотрѣть да заказывать: видно тиски-то для русскихъ денегъ! Я бы его въ острогъ... Акціи какія-то... Охъ, эти мнѣ акціи, такъ душу и мутятъ!

Обломовъ расхохотался.

— Что зубы-то скалишь? Не правду, что ли, я говорю? сказалъ Тарантьевъ.

— Ну, оставимъ это! прервалъ его Илья Ильичъ.

— Ты иди съ Богомъ, куда хотѣлъ, а я вотъ съ Иваномъ Алексѣвичемъ напишу всѣ эти письма, да постараюсь поскорѣй набросать на бумагу планъ-то свой: ужъ кстати за одно дѣлать...

Тарантьевъ ушелъ-было въ переднюю, но вдругъ воротился опять.

— Забылъ совѣтъ! Шелъ къ тебѣ за дѣломъ съ утра, началъ онъ, ужъ вовсе негрубо.—Завтра звали меня на свадьбу: Рокотовъ женится. Дай, землякъ, своего фрака надѣтъ; мой-то, видишь ты, пообтерся немного...

— Какъ же можно! сказалъ Обломовъ, хмурясь при этомъ новомъ требованіи:—Мой фракъ тебѣ не впору...

— Впору; вотъ не впору! перебилъ Тарантьевъ.—А помнишь, я примѣривалъ твой сюртукъ: какъ на меня сшить! Захаръ, Захаръ! Поди-ка сюда, старая скотина! кричалъ Тарантьевъ.

Захаръ зарычалъ, какъ медвѣдь, но не шелъ.

— Позови его, Илья Ильичъ. Что это онъ у тебя какой? жаловался Тарантьевъ.

— Захаръ! кликнулъ Обломовъ.

— О, чтобъ васъ тамъ!... раздалось въ передней, вмѣстѣ съ прыжкомъ ногъ съ лежанки.

— Ну, чего вамъ? спросилъ онъ, обращаясь къ Тарантьеву.

— Дай сюда мой черный фракъ! приказывалъ Илья Ильичъ.—Вотъ Михей Андреичъ примѣритъ, не впору ли ему: завтра ему на свадьбу надо...

— Не дамъ фрака, рѣшительно сказалъ Захаръ.

— Какъ ты смѣешь, когда баринъ приказываетъ? закричалъ Тарантьевъ.—Что ты, Илья Ильичъ, его въ смиренный домъ не отправишь?

— Да, вотъ этого еще недоставало: старика въ смиренный домъ! сказалъ Обломовъ.—Дай, Захаръ, фракъ, не упрямясь!

— Не дамъ! холодно отвѣчалъ Захаръ:—Пусть прежде они принесутъ назадъ жилетъ да нашу рубашку: пятый мѣсяцъ гоститъ тамъ. Взяли вотъ такъ же на именины, да и поминай какъ звали; жилетъ-то бархатный, а рубашка тонкая, голландская: двадцать-пять рублей стоитъ. Не дамъ фрака!

— Ну, прощайте! Чортъ съ вами пока! съ сердцемъ заключилъ Тарантьевъ, уходя и грозя Захару кулакомъ.—

Смотри же, Илья Ильичъ, я найму тебѣ квартиру—слышишь ты? прибавилъ онъ.

— Ну, хорошо, хорошо! съ нетерпѣніемъ говорилъ Обломовъ, чтобъ только отвязаться отъ него.

— А ты напиши тутъ, что нужно, продолжалъ Тарантьевъ: — да не забудь написать губернатору, что у тебя двѣнадцать человѣкъ дѣтей, “малъ мала меньше”. А въ пять часовъ, чтобъ супъ былъ на столѣ! Да что ты не велѣлъ пирога сдѣлать?

Но Обломовъ молчалъ; онъ давно ужъ не слушалъ его и, закрывъ глаза, думалъ о чемъ-то другомъ.

Съ уходомъ Тарантьева въ комнатѣ водворилась ненарушимая тишина минутъ на десять. Обломовъ былъ разстроенъ и письмомъ старосты, и предстоящимъ переѣздомъ на квартиру, иотчасти утомленъ трескотней Тарантьева. Наконецъ, онъ вздохнулъ.

— Что жъ вы не пишете? тихо спросилъ Алексѣевъ:— Я бы вамъ перышко очинилъ.

— Очините, да и Богъ съ вами, подите куда-нибудь! сказалъ Обломовъ. — Я ужъ одинъ займусь, а вы послѣ обѣда перепишете.

— Очень-хорошо-съ, отвѣчалъ Алексѣевъ.— Въ-самомъ-дѣлѣ, еще помѣшаюкакъ-нибудь... А я пойду пока скажу, чтобъ насъ не ждали въ Екатерингофъ. Прощайте, Илья Ильичъ.

Но Илья Ильичъ не слушалъ его: онъ, подобравъ ноги подъ себя, почти улегся въ кресло и, подгорюнившись, погрузился не то въ дремоту, не то въ задумчивость.

## V.

Обломовъ, дворянинъ родомъ, коллежскій секретарь чиномъ, безвыѣздно живетъ двѣнадцатый годъ въ Петербургѣ.

Сначала, при жизни родителей, жилъ потѣснѣе, помѣ-



щался въ двухъ комнатахъ, довольствовался только вывезеннымъ имъ изъ деревни слугой, Захаромъ; но по смерти отца и матери, онъ сталъ единственнымъ обладателемъ трехсотъ-пятидесяти душъ, доставшихся ему въ наслѣдство въ одной изъ отдаленныхъ губерній, чуть не въ Азіи.

Онъ, вмѣсто пяти, получалъ уже отъ семи до десяти тысячъ рублей ассигнаціями дохода; тогда и жизнь его приняла другіе, болѣе широкіе размѣры. Онъ нанялъ квартиру побольше, прибавилъ къ своему штату еще повара и завель-было пару лошадей.

Тогда еще онъ былъ молодъ и, если нельзя сказать, чтобъ онъ былъ живъ, то, по крайней мѣрѣ, живѣе, чѣмъ теперь; еще онъ былъ полонъ разныхъ стремленій, все чего-то надѣялся, ждалъ многого и отъ судьбы, и отъ самого себя; все готовился къ поприщу, къ роли — прежде всего, разумѣется, въ службѣ, что и было цѣлью его пріѣзда въ Петербургъ. Потомъ онъ думалъ и о роли въ обществѣ; наконецъ, въ отдаленной перспективѣ, на поворотѣ съ юности къ зрѣлымъ лѣтамъ, воображенію его мелькало и улыбалось семейное счастье.

Но дни шли за днями, годы смѣнялись годами, пушокъ обратился въ жесткую бороду, лучи глазъ смѣнились двумя тусклыми точками, талія округлилась, волосы стали немилосердно лѣзть, стукнуло тридцать лѣтъ, а онъ ни шага не подвинулся ни на какомъ поприщѣ, и все еще стоялъ у порога своей арены, тамъ же, гдѣ былъ десять лѣтъ назадъ.

Но онъ все собирался и готовился начать жизнь, все рисовалъ въ умѣ узоръ своей будущности; но съ каждымъ мелькавшимъ надъ головой его годомъ долженъ былъ что нибудь измѣнять и отбрасывать въ этомъ узорѣ.

Жизнь въ его глазахъ раздѣлялась на двѣ половины: одна состояла изъ труда и скуки — это у него были синонимы; другая изъ покоя и мирнаго веселья. Отъ этого, глав-

ное поприще—служба на первых порах озадачила его самымъ непріятнымъ образомъ.

Воспитанный въ нѣдрахъ провинціи, среди кроткихъ и теплыхъ нравовъ и обычаевъ родины, переходя, въ теченіи двадцати лѣтъ, изъ объятій въ объятія родныхъ, друзей и знакомыхъ, онъ до того былъ проникнутъ семейнымъ началомъ, что и будущая служба представлялась ему въ видѣ какого-то семейнаго занятія, въ родѣ, на примѣръ, лѣниваго записыванья въ тетрадку прихода и расхода, какъ дѣлывалъ его отецъ.

Онъ полагалъ, что чиновники одного мѣста составляли между собою дружную, тѣсную семью, неусыпно-пекущуюся о взаимномъ спокойствіи и удовольствіяхъ, что посѣщеніе присутственнаго мѣста отнюдь не есть обязательная привычка, которой надо придерживаться ежедневно, и что слякоть, жара, или, просто, нерасположеніе, всегда будутъ служить достаточными и законными предлогами къ нехожденію въ должность.

Но какъ огорчился онъ, когда увидѣлъ, что надобно быть, по крайней мѣрѣ, землетрясенію, чтобъ не придти здоровому чиновнику на службу, а землетрясеній, какъ на грѣхъ, въ Петербургѣ не бываетъ; наводненіе, конечно, могло бы тоже служить преградой, но и то рѣдко бываетъ.

Еще болѣе призадумался Обломовъ, когда замелькали у него въ глазахъ пакеты, съ надписью *нужное* и *весьма нужное*, когда его заставляли дѣлать разныя справки, выписки, рыться въ дѣлахъ, писать тетради въ два пальца толщиною, которыя, точно насмѣхъ, называли *записками*; притомъ все требовали скоро, всѣ куда-то торопились, ни на чемъ не останавливались: не успѣютъ спустить съ рукъ одно дѣло, какъ ужъ опять съ яростью хватаются за другое, какъ будто въ немъ вся сила и есть, и кончивъ, забу-

дуть его и кидаются на третье—и конца этому никогда нѣтъ!

Раза два его поднимали ночью и заставляли писать “записки”, нѣсколько разъ добывали, посредствомъ курьера, изъ гостей—все по поводу этихъ же записокъ. Все это навело на него страхъ и скуку великую.—Когда же жить? Когда жить? твердилъ онъ.

О начальникѣ онъ слыхалъ у себя дома, что это отецъ подчиненныхъ, и потому составилъ себѣ самое смѣющееся, самое семейное понятіе объэтомъ лицѣ. Онъ его представлялъ себѣ чѣмъ-то въ родѣ втораго отца, который только и дышетъ тѣмъ, какъ бы за дѣло и не за дѣло, сплошь-да рядомъ, награждать своихъ подчиненныхъ и заботиться, не только о ихъ нуждахъ, но и объ удовольствіяхъ.

Илья Ильичъ думалъ, что начальникъ до того входитъ въ положеніе своего подчиненнаго, что заботливо распроситъ его: каково онъ почивалъ ночью, отчего у него мутны глаза, и не болитъ ли голова?

Но онъ жестоко разочаровался въ первый же день своей службы. Съ пріѣздомъ начальника начиналась бѣготня, суета, всѣ смущались, всѣ сбивали другъ друга съ ногъ, иныя обдергивались, опасаясь, что они не довольно хороши какъ есть, чтобъ показаться начальнику.

Это происходило, какъ замѣтилъ Обломовъ въ послѣдствіи, оттого, что есть такіе начальники, которые въ испуганномъ до одуренія лицѣ подчиненнаго, выскочившаго къ нимъ навстрѣчу, видятъ не только почтеніе къ себѣ, но даже ревность, а иногда и способности къ службѣ.

Ильѣ Ильичу не нужно было пугаться такъ своего начальника, добраго и пріятнаго въ обхожденіи человѣка: онъ никогда никому дурнаго не сдѣлалъ, подчиненные были какъ-нельзя болѣе довольны и не желали лучшаго.

Никто никогда не слыхалъ отъ него непріятнаго слова, ни крика, ни шуму; онъ никогда ничего не требуетъ, а все просить. Дѣло сдѣлать—просить, въ гости къ себѣ—просить, и подъ арестъ сѣсть—просить. Онъ никогда никому не сказалъ *ты*; всѣмъ *вы*:—и одному чиновнику, и всѣмъ мѣстѣ.

Но всѣ подчиненные чего-то робѣли въ присутствіи начальника; они на его ласковый вопросъ отвѣчали не своимъ, а какимъ-то другимъ голосомъ, какимъ съ прочими не говорили.

И Илья Ильичъ вдругъ робѣлъ, самъ не зная отчего, когда начальникъ входилъ въ комнату, и у него сталъ пропадать свой голосъ, и являлся какой-то другой, тоненькій и гадкій, какъ-скоро заговаривалъ съ нимъ начальникъ.

Истрадался Илья Ильичъ отъ страха и тоски на службѣ даже и при добромъ, снисходительномъ начальникѣ. Богъ знаетъ что стало бы съ нимъ, еслибъ онъ попался къ строгому и взыскательному!

Обломовъ прослужилъ кое-какъ года два; можетъ-быть, онъ дотянулъ бы и третій, до полученія чина, но особенный случай заставилъ его ранѣе покинуть службу.

Онъ отправилъ однажды какую-то нужную бумагу, вмѣсто Астрахани, въ Архангельскъ. Дѣло объяснилось; стали отыскивать виноватаго.

Всѣ другіе съ любопытствомъ ждали, какъ начальникъ позоветъ Обломова, какъ холодно и покойно спросить, „онъ ли это отослалъ бумагу въ Архангельскъ“, и всѣ недоумѣвали, какимъ голосомъ отвѣтитъ ему Илья Ильичъ.

Нѣкоторые полагали, что онъ вовсе не отвѣтитъ: не сможетъ.

Глядя на другихъ, Илья Ильичъ и самъ перепугался, хотя и онъ, и всѣ прочіе знали, что начальникъ ограни-



чится замѣчаніемъ; но собственная совѣсть была гораздо строже выговора.

Обломовъ не дождался заслуженной кары, ушелъ домой и прислалъ медицинское свидѣтельство.

Въ этомъ свидѣтельствѣ сказано было: „Я, нижеподписавшійся, свидѣтельствую, съ приложеніемъ своей печати, что коллежскій секретарь Илья Обломовъ одержимъ *отолщеніемъ сердца съ расширеніемъ лѣваго желудочка онаго* (Hypertrophia cordis cum dilatatione ejus ventriculi sinistri), а равно хроническою болью въ печени (hetitis), угрожающе опаснымъ развитіемъ здоровью и жизни больного, каковыя припадки происходятъ, какъ надо полагать, отъ ежедневнаго хожденія въ должность. Посему, въ предотвращеніе повторенія и усиленія болѣзненныхъ припадковъ, я считаю за нужное прекратить на время г. Обломову хожденіе на службу и вообще предписываю воздержаніе отъ умственнаго занятія и всякой дѣятельности,„.

Но это помогло только на время: надо же было выздороветь—а за этимъ въ перспективѣ было опять ежедневное хожденіе въ должность. Обломовъ не вынесъ и подалъ въ отставку. Такъ кончилась—и потомъ уже не возобновлялась—его государственная дѣятельность.

Роль въ обществѣ удалась—было ему лучше.

Въ первые годы пребыванія въ Петербургѣ, въ его ранніе, молодые годы, покойныя черты лица его оживлялись чаще, глаза по долгу сіяли огнемъ жизни, изъ нихъ лились лучи свѣта, надежды, силы. Онъ волновался, какъ и всѣ, надѣялся, радовался пустякамъ, и отъ пустяковъ же страдалъ.

Но это все было давно, еще въ ту нѣжную пору, когда человѣкъ во всякомъ другомъ человѣкѣ предполагаетъ искренняго друга, и влюбляется почти во всякую женщину, и всякой готовъ предложить руку и сердце, что инымъ да-



же и удастся совершить, часто къ великому прискорбію потомъ на всю остальную жизнь.

Въ эти блаженные дни, на долю Ильи Ильича тоже выпало немало мягкихъ, бархатныхъ, даже страстныхъ взглядовъ изъ толпы красавицъ, пропасть много-общающихъ улыбокъ, два три непривилегированные поцѣлуя и еще больше дружескихъ рукопожатій, съ болью до слезъ.

Впрочемъ, онъ никогда не отдавался въ плѣнъ красавицамъ, никогда не былъ ихъ рабомъ, даже очень прилежнымъ поклонникомъ, уже и потому, что къ сближенію съ женщинами ведутъ большія хлопоты. Обломовъ больше ограничивался поклоненіемъ издали, на почтительномъ разстояніи.

Рѣдко судьба сталкивала его съ женщиною въ обществѣ до такой степени, чтобъ онъ могъ вспыхнуть на нѣсколько дней и почестъ себя влюбленнымъ. Отъ этого его любовныя интриги не разыгрывались въ романы: онѣ останавливались въ самомъ началѣ и своею невинностью, простотой и чистотой не уступали повѣстямъ любви какой-нибудь пансіонерки на возрастѣ.

Пуще всего онъ бѣгалъ тѣхъ блѣдныхъ, печальныхъ дѣвъ, большею частію съ черными глазами, въ которыхъ свѣтятся „мучительные дни и неправедныя ночи“, дѣвъ съ невѣдомыми никому скорбями и радостями, у которыхъ всегда есть что то ввѣрить, сказать, и когда надо сказать, онѣ вздрагиваютъ, заливаются внезапными слезами, потомъ вдругъ обовьютъ шею друга руками, долго смотреть въ глаза, потомъ на небо, говорятъ, что жизнь ихъ обречена проклятію, и иногда падаютъ въ обморокъ. Онъ съ боязнью обходилъ такихъ дѣвъ. Душа его была еще чиста и дѣвственна; она, можетъ-быть, ждала своей любви, своей опоры, своей патетической страсти, а потомъ, съ годами, кажется, перестала ждать и отчаялась.

Илья Ильичъ еще холоднѣе простился съ толпой друзей. Тотчасъ послѣ перваго письма старосты о недоимкахъ и неурожаѣ, замѣнилъ онъ перваго своего друга, повара, кухаркой, потомъ продалъ лошадей и, наконецъ, отпустилъ прочихъ „друзей“.

Его почти ничто не влекло изъ дома, и онъ съ каждымъ днемъ все крѣпче и постояннѣе водворялся въ своей квартирѣ.

Сначала ему тяжело стало пребыть цѣлый день одѣтымъ, потомъ онъ лѣнился обѣдать въ гостяхъ, кромѣ коротко-знакомыхъ, больше холостыхъ домовъ, гдѣ можно снять галстухъ, растегнуть жилетъ и гдѣ можно даже „повалиться,“ или соснуть часокъ.

Вскорѣ и вечера надоѣли ему: надо надѣвать фракъ, каждый день бриться.

Вычиталъ онъ гдѣ-то, что только утреннія испаренія полезны, а вечернія вредны и сталъ бояться сырости.

Несмотря на всѣ эти причуды, другу его, Штольцу, удавалось вытаскивать его въ люди; но Штольцъ часто отлучался изъ Петербурга въ Москву, въ Нижній, въ Крымъ, а потомъ и за границу — и безъ него Обломовъ опять ввергался весь по-уши въ свое одиночество и уединеніе, изъ котораго могло его вывести только что-нибудь необыкновенное, выходящее изъ ряда ежедневныхъ явленій жизни; но подобнаго ничего не было и не предвидѣлось впереди.

Ко всему этому, съ лѣтами, возвратилась какая-то ребяческая робость, ожиданіе опасности и зла отъ всего, что не встрѣчалось въ сферѣ его ежедневнаго быта—слѣдствіе отвычки отъ разнообразныхъ внѣшнихъ явленій.

Его не пугала, напримѣръ, трещина потолка въ его спальнѣ: онъ къ ней привыкъ; не приходило ему тоже въ голову, что вѣчно-спертый воздухъ въ комнатѣ и постоян-

ное сидѣнье взаперти чуть-ли не губительнѣе для здоровья, нежели ночная сырость: что переполнять ежедневно желудокъ есть своего рода постепенное самоубійство: но онъ къ этому привыкъ и не пугался.

Онъ не привыкъ къ движенію, къ жизни, къ многолюдству и суетѣ.

Въ тѣсной толпѣ ему было душно; въ лодку онъ садился съ невѣрной надеждою добраться благополучно до другаго берега, въ каретѣ ѣхалъ, ожидая, что лошади понесутъ и разобьютъ.

Не то на него нападалъ нервическій страхъ: онъ пугался окружающей его тишины, или, просто, и самъ не зналъ чего — у него побѣгутъ мурашки по тѣлу. Онъ иногда боязливо косится на темный уголь, ожидая, что воображеніе сыграетъ съ нимъ штуку и покажетъ сверхестественное явленіе.

Такъ разыгралась роль его въ обществѣ. Лѣнливо махнулъ онъ рукой на всѣ юношескія обманувшія его, или обманутыя имъ надежды, всѣ нѣжно-грустныя, свѣтлыя воспоминанія, отъ которыхъ у иныхъ и подъ старость бьется сердце.

## VI.

Что жъ онъ дѣлалъ дома? Читалъ? Писалъ? Учился?

Да: если попадется подъ-руки книга, газета, онъ ее прочтетъ.

Услышитъ о какомъ-нибудь замѣчательномъ произведеніи—у него явится позывъ познакомиться съ нимъ; онъ ищетъ, проситъ книги, и если принесутъ скоро, онъ приметъ за нее, у него начнетъ формироваться идея о предметѣ; еще шагъ—и онъ овладѣлъ бы имъ, а посмотришь, онъ уже лежитъ, глядя апатически въ потолокъ, и книга лежитъ подлѣ него недочитанная, непонятая.

Охлажденіе овладѣвало имъ еще быстрѣе, нежели увлеченіе: онъ уже никогда не возвращался къ покинутой книгѣ.

Между-тѣмъ, онъ учился какъ и другіе, какъ всѣ, то-есть до пятнадцати лѣтъ въ пансіонѣ; потомъ старики Обломовы, послѣ долгой борьбы, рѣшились послать Илюшу въ Москву, гдѣ онъ, волей-неволей, прослѣдилъ курсъ наукъ до конца.

Робкій, апатическій характеръ мѣшалъ ему обнаруживать вполнѣ свою лѣнь и капризы въ чужихъ людяхъ, въ школѣ, гдѣ не дѣлали исключеній въ пользу балованныхъ сынковъ. Онъ по необходимости сидѣлъ въ классѣ прямо, слушалъ, что говорили учителя, потому-что другаго ничего дѣлать было нельзя и съ трудомъ, съ потомъ, со вздохами выучивалъ задаваемые ему уроки.

Все это вообще считалъ онъ за наказаніе, ниспосланное небомъ за наши грѣхи.

Дальше той строки, подъ которой учитель, задавая урокъ, проводилъ ногтемъ черту, онъ не заглядывалъ, распросовъ никакихъ ему не дѣлалъ и поясненій не требовалъ. Онъ довольствовался тѣмъ, что написано въ тетрадкѣ, и докучливаго любопытства не обнаруживалъ даже когда и не все понималъ, что слушалъ и училъ.

Если ему кое-какъ удавалось одолѣть книгу, называемую статистикой, исторіей, политической экономіей, онъ совершенно былъ доволенъ.

Когда же Штольцъ приносилъ ему книги, какія надо еще прочесть сверхъ выученнаго, Обломовъ долго глядѣлъ, молча, на него.

— И ты, Брутъ, противъ меня! говорилъ онъ со вздохомъ, принимаясь за книги.

Неестественно и тяжело ему казалось такое неумѣренное чтеніе.



Зачѣмъ же всѣ эти тетрадки, на которыя изведешь пропасть бумаги, времени и чернилъ? Зачѣмъ учебныя книги? Зачѣмъ же, наконецъ, шесть—семь лѣтъ затворничества, всѣ строгости, взысканія, сидѣнье и томленье надъ уроками, запретъ бѣгать, шалить, веселиться, когда еще не все кончено?

„Когда же жить?“ спрашивалъ онъ опять самого себя: „Когда же, наконецъ, пускать въ оборотъ этотъ капиталъ знаній, изъ которыхъ большая часть еще ни на что не понадобится въ жизни. Политическая экономія, напимѣръ, алгебра, геометрія—что я стану съ ними дѣлать въ Обломовкѣ?“

И сама исторія только въ тоску повергаетъ: учишь, читаешь, что вотъ-де настала година бѣдствій, несчастливъ человѣкъ; вотъ собирается съ силами, работаетъ, гомозится, страшно терпитъ и трудится, все готовитъ ясные дни. Вотъ настали они—тутъ бы хоть сама исторія отдохнула: нѣтъ, опять появились тучи, опять зданіе рухнуло, опять работать, гомозиться... Не остановятся ясные дни, бѣгутъ—и все течетъ жизнь, все течетъ, все ломка да ломка.

Серьезное чтеніе утомляло его. Мыслителямъ не удалось расшевелить въ немъ жажду къ умозрительнымъ истинамъ.

Зато поэты задѣли его за живое: онъ сталъ юношей, какъ всѣ. И для него насталъ счастливый, никому неизмѣняющій, всѣмъ улыбающійся моментъ жизни, расцвѣтанія силъ, надеждъ на бытіе, желанія блага, доблести, дѣятельности, эпоха сильнаго біенія сердца, пульса, трепета, восторженныхъ рѣчей и сладкихъ слезъ. Умъ и сердце просвѣтлѣли: онъ стряхнулъ дремоту, душа запросила дѣятельности.

Штольцъ помогъ ему продлить этотъ моментъ, сколько возможно было для такой натуры, какова была натура его



друга. Онъ поймалъ Обломова на поэтахъ и года полтора держалъ его подъ фѣрулой мысли и науки.

Пользуясь восторженнымъ полетомъ молодой мечты, онъ въ чтеніе поэтовъ вставлялъ другія цѣли, кромѣ наслажденія, строже указывалъ въ дали пути своей и его жизни и увлекалъ въ будущее. Оба волновались, плакали, давали другъ другу торжественныя обѣщанія идти разумною и свѣтлой дорогою.

Юношескій жаръ Штольца заражалъ Обломова, и онъ сторалъ отъ жажды, труда, далекой, но обаятельной цѣли.

Но цвѣтъ жизни распустился и не далъ плодовъ. Обломовъ отрезвился и только изрѣдка, по указанію Штольца, пожалуй, и прочитывалъ ту или другую книгу, но не вдругъ, не торопясь, безъ жадности, а лѣниво пробѣгалъ глазами по строкамъ.

Какъ ни интересно было мѣсто, на которомъ онъ оставался, но если на этомъ мѣстѣ заставлялъ его часть обѣда, или сна, онъ клалъ книгу переплетомъ вверхъ и шелъ обѣдать, или гасилъ свѣчу и ложился спать.

Если давали ему первый томъ, онъ, по прочтеніи, не просилъ втораго, а приносили—онъ медленно прочитывалъ.

Потомъ ужъ онъ не осиливалъ и перваго тома, а большую часть свободнаго времени проводилъ, положивъ локоть на столъ, а на локоть голову; иногда вмѣсто локтя употреблялъ ту книгу, которую Штолецъ навязывалъ ему прочесть.

Такъ совершилъ свое учебное поприще Обломовъ. То число, въ которое онъ выслушалъ послѣднюю лекцію, и было геркулесовыми столпами его учености. Начальникъ заведенія, подписью своею на аттестатѣ, какъ прежде учитель ногтемъ на книгѣ, провелъ черту, за которую герой

нашъ не считалъ уже нужнымъ простирать свои ученыя стремленія.

Голова его представляла сложный архивъ мертвыхъ дѣлъ, лицъ, эпохъ, цифръ, религій, ничѣмъ несвязанныхъ политико-экономическихъ, математическихъ или другихъ истинъ, задачъ, положеній и т. п.

Это была какъ-будто библіотека, состоящая изъ однихъ разрозненныхъ томовъ по разнымъ частямъ знаній.

Странно подѣйствовало ученье на Илью Ильича: у него между наукой и жизнью лежала цѣлая бездна, которой онъ не пытался перейти. Жизнь у него была сама-по-себѣ, а наука сама-по-себѣ.

Онъ учился всѣмъ существующимъ и давно несуществующимъ правамъ, прошелъ курсъ и практическаго судопроизводства, а когда, по случаю какой-то покражи въ домѣ, понадобилось написать бумагу въ полицію, онъ взялъ листъ бумаги, перо, думалъ, думалъ, да и послалъ за писаремъ.

Счеты въ деревнѣ сводилъ староста. „Что жъ тутъ было дѣлать наукѣ?“ разсуждалъ онъ въ недоумѣніи.

И онъ воротился въ свое уединеніе безъ груза знаній, которыя бы могли дать направленіе вольно-гуляющей въ головѣ или праздно-дремлющей мысли.

Что жъ онъ дѣлалъ? Да все продолжалъ чертить узоръ собственной жизни. Въ ней онъ, не безъ основанія, находилъ столько премудрости и поэзіи, что и не исчерпаешь никогда безъ книгъ и учености.

Измѣнивъ службѣ и обществу, онъ началъ иначе рѣшать задачу существованія, вдумывался въ свое назначеніе и, наконецъ, открылъ, что горизонтъ его дѣятельности и житія-бытія кроется въ немъ самомъ.

Онъ понялъ, что ему досталось въ удѣлъ семейное счастье и заботы объ имѣніи. До тѣхъ поръ онъ и не зналъ

порядочно своихъ дѣлъ: за негозаботился иногда Штольцъ. Не вѣдалъ онъ хорошенько ни дохода, ни расхода своего, не составлялъ никогда бюджета—ничего.

Старикъ Обломовъ, какъ принялъ имѣніе отъ отца, такъ передалъ его и сыну. Онъ хотя и жилъ весь вѣкъ въ деревнѣ, но не мудрилъ, не ломалъ себѣ головы надъ разными затѣями, какъ это дѣлаютъ нынѣшніе: какъ бы тамъ открыть какіе-нибудь новые источники производительности земель, или распространять и усиливать старые, и т. п. Какъ и чѣмъ засѣивались поля при дѣдушкѣ, какіе были пути сбыта полевыхъ продуктовъ тогда, такіе остались и при немъ.

Впрочемъ, старикъ бывалъ очень доволенъ, если хорошій урожай, или возвышенная цѣна дастъ дохода больше прошлогодняго: онъ называлъ это благословеніемъ Божиимъ. Онъ только не любилъ выдумокъ и натяжекъ къ приобрѣтенію денегъ.

— Отцы и дѣды не глупѣе насъ были, говорилъ онъ въ отвѣтъ на какіе-нибудь вредные, по его мнѣнію, совѣты, да прожили же вѣкъ счастливо; проживемъ и мы: дастъ Богъ, сыты будемъ.

Получая, безъ всякихъ лукавыхъ ухищреній, съ имѣнія столько дохода, сколько нужно было ему, чтобъ каждый день обѣдать и ужинать безъ мѣры, съ семьей и разными гостями, онъ благодарилъ Бога и считалъ грѣхомъ стараться приобрѣтать больше.

Если прикащикъ приносилъ ему двѣ тысячи, спрятавъ третью въ карманъ, и со слезами ссылаясь на градъ, засуху, неурожай, старикъ Обломовъ крестился и тоже со слезами приговаривалъ:—Воля Божья; съ Богомъ спорить не станешь! Надо благодарить Господа и за то, что есть.

Со времени смерти стариковъ, хозяйственныя дѣла въ деревнѣ не только не улучшились, но, какъ видно изъ

письма старосты, становились хуже. Ясно, что Ильѣ Ильичу надо было самому съѣздить туда и на мѣстѣ розыскать причину постепеннаго уменьшенія доходовъ.

Онѣ и собирался сдѣлать это, но все откладывалъ, отчасти и потому, что поѣздка была для него подвигомъ, почти новымъ и неизвѣстнымъ.

Онѣ въ жизни совершилъ только одно путешествіе, на долгихъ, среди перинъ, ларцовъ, чемодановъ, окороковъ, булокъ, всякой жареной и вареной скотины и птицы и въ сопровожденіи нѣсколькихъ слугъ.

Такъ онѣ совершилъ единственную поѣздку изъ своей деревни до Москвы, и эту поѣздку взялъ за норму всѣхъ вообще путешествій. А теперь, слышалъ онѣ, такъ не ѣздить: надо скакать сломя голову!

Потомъ Илья Ильичъ откладывалъ свою поѣздку еще и оттого, что не приготовился, какъ слѣдуетъ, заняться своими дѣлами.

Онѣ ужъ былъ не въ отца и не въ дѣда. Онѣ учился, жилъ въ свѣтѣ: все это наводило его на разные чуждыя имъ соображенія. Онѣ понималъ, что пріобрѣтеніе не только не грѣхъ, но что долгъ всякаго гражданина честными трудами поддерживать общее благосостояніе.

Отъ этого большую часть узора жизни, который онѣ чертилъ въ своемъ уединеніи, занималъ новый, свѣжій, сообразный съ потребностями времени планъ устройства имѣнія и управленія крестьянами.

Основная идея плана, расположеніе, главныя части— все давно готово у него въ головѣ; остались только подробности, смѣты и цифры.

Онѣ нѣсколько лѣтъ неутомимо работаетъ надъ планомъ, думаетъ, размышляетъ и ходя, и лежа, и въ людяхъ; то дополняетъ, то измѣняетъ разные статьи, то возобновляетъ въ памяти придуманное вчера и забытое ночью; а иногда



вдругъ, какъ молнія, сверкнетъ новая, неожиданная мысль и закипитъ въ головѣ—и пойдетъ работа.

Онъ не какой-нибудь мелкій исполнитель чужой, готовой мысли; онъ самъ творецъ и самъ исполнитель своихъ идей.

Онъ, какъ встанетъ утромъ съ постели, послѣ чая ляжетъ тотчасъ на диванъ, подопретъ голову рукой и обдумываетъ, не щадя силъ, до тѣхъ поръ, пока, наконецъ, голова утомится отъ тяжелой работы и когда совѣсть скажетъ: довольно сдѣлано сегодня для общаго блага.

Тогда только рѣшается онъ отдохнуть отъ трудовъ и перемѣнить заботливую позу на другую, менѣе дѣловую и строгую, болѣе удобную для мечтаній и нѣги.

Освободясь отъ дѣловыхъ заботъ, Обломовъ любилъ уходить въ себя и жить въ созданномъ имъ мірѣ.

Ему доступны были наслажденія высокихъ помысловъ; онъ не чуждъ былъ всеобщихъ человѣческихъ скорбей. Онъ горько въ глубинѣ души плакалъ, въ иную пору, надъ бѣдствіями человѣчества, испытывалъ безвѣстныя, безыменные страданія, и тоску, и стремленіе куда-то въ даль, туда, вѣроятно, въ тотъ міръ, куда увлекалъ его, бывало, Штольцъ...

Сладкія слезы потекутъ по щекамъ его...

Случается и то, что онъ исполнится презрѣніемъ къ людскому пороку, ко лжи, къ клеветѣ, къ разлитому въ мірѣ злу, и разгорится желаніемъ указать человѣку на его язвы, и вдругъ загораются въ немъ мысли, ходятъ и гуляютъ въ головѣ, какъ волны въ морѣ, потомъ вырастаютъ въ намѣренія, зажгутъ всю кровь въ немъ, задвигаются мускулы его, напрягутся жилы, намѣренія преображаются въ стремленія: онъ, движимый нравственною силою, въ одну минуту быстро измѣнитъ двѣ-три позы, съ блистающими глазами привстанетъ до половины на постели, про-



тянетъ руку и вдохновенно озирается кругомъ... Вотъ, вотъ, стремленіе осуществится, обратится въ подвигъ... и тогда, Господи! Какихъ чудесъ, какихъ благихъ послѣдствій могли бы ожидать отъ такого высокаго усилія!..

Но, смотришь, промелькнетъ утро, день уже клонится къ вечеру, а съ нимъ клонятся къ покою и утомленные силы Обломова: бури и волненія смирятся въ душѣ, голова отрезвляется отъ думъ, кровь медленнѣе пробирается по жиламъ. Обломовъ тихо, задумчиво переворачивается на спину и, устремивъ печальный взглядъ въ окно, къ небу, съ грустью провожаетъ глазами солнце, великолѣпно садящееся за чей-то четырехъ-этажный домъ.

И сколько, сколько разъ онъ провожалъ такъ солнечный закатъ!

На утро опять жизнь, опять волненія, мечты! Онъ любитъ вообразить себя иногда какимъ-нибудь непобѣдимымъ полководцемъ, передъ которымъ не только Наполеонъ, но и Ерусланъ Лазаревичъ ничего не значить; выдумаетъ войну и причину ея: у него хлынуть, напримѣръ, народы изъ Африки въ Европу, или устроить онъ новыя крестовыя походы, и воюетъ, рѣшаетъ участь народовъ, разоряетъ города, щадитъ, казнить, оказываетъ подвиги добра и великодушія.

Или изберетъ онъ арену мыслителя, великаго художника: всѣ поклоняются ему; онъ пожинаетъ лавры; толпа гоняется за нимъ, восклицая:—Посмотрите, посмотрите, вотъ идетъ Обломовъ, нашъ знаменитый Илья Ильичъ!

Въ горькія минуты онъ страдаетъ отъ заботъ, переворачивается съ боку на бокъ, ляжетъ лицомъ внизъ, иногда даже совсѣмъ потеряется; тогда онъ встанетъ съ постели на колѣни, и начнетъ молиться жарко, усердно, умоляя небо отвратить какъ-нибудь угрожающую бурю.

Потомъ, сдавъ попеченіе о своей участи небесамъ, дѣ-

лается покоенъ и равнодушенъ ко всему на свѣтѣ, а буря тамъ какъ себѣ хочетъ.

Такъ пускалъ онъ въ ходъ свои нравственные силы, такъ волновался часто по цѣлымъ днямъ, и только тогда развѣ очнется, съ глубокимъ вздохомъ, отъ обаятельной мечты, или отъ мучительной заботы, когда день склонится къ вечеру и солнце огромнымъ шаромъ станетъ великолѣпно опускаться за четырехъ-этажный домъ.

Тогда онъ опять проводитъ его задумчивымъ взглядомъ и печальной улыбкой, и мирно опочіетъ отъ волненій.

Никто не зналъ и не видалъ этой внутренней жизни Ильи Ильича: всѣ думали, что Обломовъ такъ-себѣ, только лежитъ, да кушаетъ на здоровье, и что больше отъ него нечего ждать; что едвали у него вяжутся и мысли въ головѣ. Такъ о немъ и толковали вездѣ, гдѣ его знали.

О способностяхъ его, объ этой внутренней волканической работѣ пылкой головы, гуманнаго сердца зналъ подробно и могъ бы свидѣтельствовать Штольцъ, но Штольца почти никогда не было въ Петербургѣ.

Одинъ Захаръ, обращающійся всю жизнь около своего барина, зналъ еще подробнѣе весь его внутренній бытъ; но онъ былъ убѣжденъ, что они съ бариномъ дѣло дѣлаютъ и живутъ нормально, какъ должно, и что иначе жить не слѣдуетъ.

## VII.

Захару было за пятьдесятъ лѣтъ. Онъ былъ уже не прямой потомокъ тѣхъ русскихъ Калемовъ, рыцарей лакейской, безъ страха и упрека, исполненныхъ преданности къ господамъ до самозабвенія, которые отличались всѣми добродѣтелями и не имѣли никакихъ пороковъ.

Этотъ рыцарь былъ и со страхомъ, и съ упрекомъ. Онъ

принадлежалъ двумъ эпохамъ, и обѣ положили на него печать свою. Отъ одной перешла къ нему, по наслѣдству, безграничная преданность къ дому Обломовыхъ, а отъ другой, позднѣйшей, утонченность и развращеніе нравовъ.

Страстно преданный барину, онъ, однакожь, рѣдкій день въ чемъ-нибудь не солжетъ ему. Слуга стараго времени удерживалъ, бывало, барина отъ расточительности и не-воздержанія, а Захаръ самъ любилъ выпить съ пріятелями на барскій счетъ; прежній слуга былъ цѣломудренъ, какъ евнухъ, а этотъ все бѣгалъ къ кумѣ подозрительнаго свойства. Тотъ крѣпче всякаго сундука сбережетъ барскія деньги, а Захаръ наровитъ усчитать у барина, при какой-нибудь издержкѣ, гривенникъ, и непременно присвоить себѣ лежащую на столѣ мѣдную гривну или пятакъ. Точно такъ же, если Илья Ильичъ забудетъ потребовать сдачи отъ Захара, она уже къ нему обратно никогда не поступитъ.

Важнѣе суммъ онъ не кралъ, можетъ-быть, потому, что потребности свои измѣрялъ гривнами и гривенниками, или боялся быть замѣченнымъ, но во всякомъ случаѣ, не отъ избытка честности.

Старинный Калѣбъ умереть скорѣе, какъ отлично-выдрессированная охотничья собака, надъ съѣстнымъ, которое ему поручать, нежели тронуть; а этотъ такъ и выглядываетъ, какъ бы съѣсть и выпить и то, чего не поручаютъ: тотъ заботился только о томъ, чтобъ баринъ кушалъ больше, и тосковалъ, когда онъ не кушаетъ; а этотъ тоскуетъ, когда баринъ съѣдаетъ до тла все, что ни положить на тарелку.

Сверхъ-того, Захаръ и сплетникъ. Въ кухнѣ, въ лавочкѣ, на сходкахъ у воротъ, онъ каждый день жалуется, что житья нѣтъ, что этакого дурнаго барина еще и не слыхано: и капризенъ-то онъ, и скупъ, и сердитъ, и что не угодишь

ему ни въ чемъ, что, словомъ, лучше умереть, чѣмъ жить у него.

Это Захаръ дѣлалъ не изъ злости и не изъ желанія повредить барину, а такъ, по привычкѣ, доставшейся ему по наслѣдству отъ дѣда его и отца—обругать барина при всякомъ удобномъ случаѣ.

Онъ иногда, отъ скуки, отъ недостатка матеріала для разговора, или чтобъ внушить болѣе интереса слушающей его публикѣ, вдругъ распускалъ про барина какую-нибудь небывальщину.

— Мой-то повадился вонъ все къ той вдовѣ ходить, хрипѣлъ онъ тихо, по довѣренности; вчера писалъ записку къ ней.

Или объявить, что баринъ его такой картежникъ и пьяница, какого свѣтъ не производилъ; что всѣ ночи напролетъ до утра бьется въ карты и пьетъ горькую.

А ничего не бывало: Илья Ильичъ ко вдовѣ не ходитъ, по ночамъ мирно почиваетъ, картъ въ руки не беретъ.

Захаръ неопрятенъ. Онъ брѣтся рѣдко и хотя моетъ руки и лицо, но, кажется, больше дѣлаетъ видъ, что моетъ; да и никакимъ мыломъ не отмоешь. Когда онъ бываетъ въ банѣ, то руки у него изъ черныхъ сдѣлаются только, часа на два, красными, а потомъ опять черными.

Онъ очень неловокъ: станетъ ли отворять ворота или двери, отворяетъ одну половинку, другая затворяется, побѣжить къ той, эта затворяется.

Съ разу онъ никогда не подымаетъ съ пола платка, или другой какой-нибудь вещи, а нагнется всегда раза три, какъ-будто ловить ее, и ужъ развѣ въ четвертый поднимаетъ, и то еще иногда уронить опять.

Если онъ несетъ чрезъ комнату кучу посуды, или другихъ вещей, то съ перваго же шага верхнія вещи начинаютъ дезертировать на полъ. Сначала полетитъ одна; онъ



вдругъ сдѣлаетъ позднее и бесполезное движеніе, чтобъ помѣшать ей упасть, и уронить еще двѣ. Онъ глядитъ, разиня ротъ отъ удивленія на падающія вещи, а не на тѣ, которыя остаются на рукахъ, и оттого держитъ подносъ косо, а вещи продолжаютъ падать, — и такъ иногда онъ принесетъ на другой конецъ комнаты одну рюмку или тарелку, а иногда, съ бранью и проклятіями, броситъ самъ и послѣднее, что осталось въ рукахъ.

Проходя по комнатѣ, онъ задѣнетъ то ногой, то бокомъ за столъ, за стулъ, не всегда попадаетъ прямо въ отворенную половину двери, а ударится плечомъ о другую, и обругаетъ при этомъ обѣ половинки, или хозяина дома, или плотника, который ихъ дѣлалъ.

У Обломова въ кабинетѣ переломаны или перебиты почти всѣ вещи, особенно мелкія, требующія осторожнаго обращенія съ ними, — и все по милости Захара. Онъ свою способность брать въ руки вещь прилагаетъ ко всѣмъ вещамъ одинаково, не дѣлая никакого различія въ способѣ обращенія съ той или другой вещью.

Велятъ, на примѣръ, снять со свѣчи, или налить въ стаканъ воды: онъ употребитъ на это столько силы, сколько нужно, чтобъ отворить ворота.

Не дай Богъ, когда Захаръ воспламенится усердіемъ угодить барину и вздумаетъ все убрать, вычистить, установить, живо, разомъ привести въ порядокъ! Бѣдамъ и убыткамъ не бывало конца: едвали непріятельскій солдатъ, ворвавшись въ домъ, нанесетъ столько вреда. Начиналась ломка, паденье разныхъ вещей, битье посуды, опрокидыванье стульевъ; кончалось тѣмъ, что надо было его выгнать изъ комнаты, или онъ самъ уходилъ, съ бранью и съ проклятіями.

Къ счастью, онъ очень рѣдко воспламенялся такимъ усердіемъ.



Все это происходило, конечно, оттого, что онъ получилъ воспитаніе и пріобрѣталъ манеры не въ тѣснотѣ и полумракѣ роскошныхъ, прихотливо-убранныхъ кабинетовъ и будуаровъ, гдѣ чортъ знаетъ чего не наставлено, а въ деревнѣ, на покоѣ, просторѣ и вольномъ воздухѣ.

Тамъ онъ привыкъ служить, не стѣсняя своихъ движеній ничемъ, около массивныхъ вещей: обращался все больше съ здоровыми и солидными инструментами, какъ-то, съ лопатой, ломомъ, желѣзными дверными скобками и такими стульями, которыхъ съ мѣста не своротишь.

Иная вещь, подсвѣчникъ, лампа, транспарантъ, преспанье, стоитъ года три, четыре на мѣстѣ—ничего; чуть онъ возьметъ ее, смотришь — сломалась.

— Ахъ, скажетъ онъ иногда при этомъ Обломову съ удивленіемъ.—Посмотрите-ка, сударь, какая диковина: взялъ только въ руки вотъ эту штучку, а она и развалилась!

Или вовсе ничего не скажетъ, а тайкомъ поставитъ поскорѣй опять на свое мѣсто и послѣ увѣрить барина, что это онъ самъ разбилъ; а иногда оправдывается, какъ видѣли въ началѣ разсказа, тѣмъ, что и вещь должна же имѣть конецъ, хоть будь она желѣзная, что не вѣкъ ей жить.

Въ первыхъ двухъ случаяхъ еще можно было спорить съ нимъ, но когда онъ, въ крайности, вооружался послѣднимъ аргументомъ, то уже всякое противорѣчіе было бесполезно, и онъ оставался правымъ безъ аппеляціи.

Захаръ начерталъ себѣ, однажды навсегда, опредѣленный кругъ дѣятельности, за который добровольно никогда не переступалъ.

Онъ утромъ ставилъ самоваръ, чистилъ сапоги и то платье, которое баринъ спрашивалъ, но отнюдь не то, которое не спрашивалъ, хоть виси оно десять лѣтъ.

Потомъ онъ мелъ—не всякій день однакожъ—середину комнаты, не добираясь до угловъ, и обтиралъ пыль только

съ того стола, на которомъ ничего не стояло, чтобъ не снимать вещей.

Затѣмъ онъ уже считалъ себя въ правѣ дремать на лежанкѣ, или болтать съ Анисьей въ кухнѣ и съ дворней у воротъ, ни о чемъ не заботясь.

Если ему приказывали сдѣлать что-нибудь сверхъ этого, онъ исполнялъ приказаніе неохотно, послѣ споровъ и убѣжденій въ бесполезности приказанія, или невозможности исполнить его.

Никакими средствами нельзя было заставить его внести новую постоянную статью въ кругъ начертанныхъ имъ себѣ занятій.

Если ему велятъ вычистить, вымыть какую-нибудь вещь, или отнести то, принести это, онъ, по обыкновенію, съ ворчаньемъ исполнялъ приказаніе; но еслибъ кто захотѣлъ, чтобъ онъ потомъ дѣлалъ то же самое постоянно самъ, то этого уже достигнуть было невозможно.

На другой, на третій день и такъ далѣе, нужно было бы приказывать то же самое вновь, и вновь входить съ нимъ въ непріятныя объясненія.

Не смотря на все это, то-есть, что Захаръ любилъ выпить, посплетничать, бралъ у Обломова пятаки и гривны, ломалъ и билъ разныя вещи и лѣнился, все-таки выходило, что онъ былъ глубоко преданный своему барину слуга.

Онъ бы не задумался сгорѣть или утонуть за него, не считая этого подвигомъ, достойнымъ удивленія или какихъ-нибудь наградъ. Онъ смотрѣлъ на это, какъ на естественное, иначе быть немогущее дѣло, или, лучше сказать, никакъ не смотрѣлъ, а поступалъ такъ, безъ всякихъ умозрѣній.

Теорій у него на этотъ предметъ не было никакихъ. Ему никогда не приходило въ голову подвергать анализу свои

чувства и отношенія къ Ильѣ Ильичу; онъ не самъ выдумалъ ихъ; они перешли отъ отца, дѣда, братьевъ, дворянъ, среди которой онъ родился и воспитался, и обратились въ плоть и кровь.

Захаръ умеръ бы вмѣсто барина, считая это своимъ неизбежнымъ и природнымъ долгомъ, и даже не считая ничѣмъ, а просто бросился бы на смерть, точно такъ же, какъ собака, которая, при встрѣчѣ съ звѣремъ въ лѣсу, бросается на него, не разсуждая, отчего должна броситься она, а не ея господинъ.

Но зато, еслибъ понадобилось, на примѣръ, просидѣть всю ночь подлѣ постели барина, не смыкая глазъ, и отъ этого бы зависѣло здоровье, или даже жизнь барина, Захаръ непремѣнно бы заснулъ.

Наружно онъ не выказывалъ нетолько подобострастія къ барину, но даже былъ грубоватъ, фамиллярень въ общеніи съ нимъ, сердился на него, не шутя, за всякую мелочь, и даже, какъ сказано, злословилъ его у воротъ; но все-таки этимъ только на-время заслонялось, а отнюдь не умалялось кровное, родственное чувство преданности его, не къ Ильѣ Ильичу собственно, а ко всему, что носитъ имя Обломова, что близко, мило, дорого ему.

Можетъ-быть, даже это чувство было въ противорѣчіи съ собственнымъ взглядомъ Захара на личность Обломова, можетъ-быть, изученіе характера барина внушало другія убѣжденія Захару. Вѣроятно, Захаръ, еслибъ ему объяснили о степени привязанности его къ Ильѣ Ильичу, сталъ бы оспаривать это.

Захаръ любилъ Обломовку, какъ кошка свой чердакъ, лошадь—стойло, собака — кануру, въ которой родилась и выросла. Въ сферѣ этой привязанности у него выработались уже свои особенныя, личныя впечатлѣнія.

На примѣръ, обломовскаго кучера онъ любилъ больше,

нежели повара, скотницу Варвару больше ихъ обоихъ, а Илью Ильича меньше ихъ всѣхъ; но все-таки обломовскій поваръ для него былъ лучше и выше всѣхъ другихъ поваровъ въ мірѣ, а Илья Ильичъ выше всѣхъ помѣщиковъ.

Тараску, буфетчика, онъ терпѣть не могъ; но этого Тараску онъ не промѣнялъ бы на самого хорошаго человѣка въ цѣломъ свѣтѣ, потому только, что Тараска былъ обломовскій.

Онъ обращался фамиллярно и грубо съ Обломовымъ, точно такъ же, какъ шаманъ грубо и фамиллярно обходится съ своимъ идоломъ: онъ и обметаетъ его, и уронить, иногда, можетъ-быть, и ударить съ досадой, но все-таки въ душѣ его постоянно присутствуетъ сознаніе превосходства натуры этого идола надъ своей.

Малѣйшаго повода довольно было, чтобъ вызвать это чувство изъ глубины души Захара и заставить его смотрѣть съ благоговѣніемъ на барина, иногда даже удариться, отъ умиленія, въ слезы. Боже сохрани, чтобъ онъ поставилъ другаго какого-нибудь барина, не только даже выше, наравнѣ съ своимъ! Боже сохрани, еслибъ это вздумалъ сдѣлать и другой!

Захаръ на всѣхъ другихъ господъ и гостей, приходившихъ къ Обломову, смотрѣлъ нѣсколько—свысока и служилъ имъ, подавалъ чай и проч., съ какимъ-то снисхожденіемъ, какъ-будто давалъ имъ чувствовать честь, которою они пользуются, находясь у его барина. Отказывалъ имъ грубовато: — Баринъ-де почиваетъ, говорилъ онъ, надменно оглядывая пришедшаго съ ногъ до головы.

Иногда, вмѣсто сплетней и злословія, онъ вдругъ принимался неумѣренно возвышать Илью Ильича по лавочкамъ и на сходкахъ у воротъ, и тогда не было конца восторгамъ. Онъ вдругъ начиналъ вычислять достоинства барина, умъ,



ласковость, щедрость, доброту; и если у барина его не доставало качествъ для панегирика, онъ занималъ у другихъ и придавалъ ему знатность, богатство, или необычайное могущество.

Если нужно было пострадать дворника, управляющаго домомъ, даже самого хозяина, онъ стращалъ всегда баринъ: — Вотъ постой, я скажу барину, говорилъ онъ съ угрозой:—будетъ ужо тебѣ!—Сильнѣе авторитета онъ и не подозрѣвалъ на свѣтѣ.

Но наружныя сношенія Обломова съ Захаромъ были всегда какъ-то враждебны. Они, живучи вдвоемъ, надоѣли другъ другу. Короткое, ежедневное сближеніе человѣка съ человѣкомъ не обходится ни тому, ни другому даромъ: много надо, и съ той и съ другой стороны, жизненнаго опыта, логики и сердечной теплоты, чтобъ, наслаждаясь только достоинствами, не колоть и не колотиться взаимными недостатками.

Илья Ильичъ зналъ уже одно необъятное достоинство Захара—преданность къ себѣ, и привыкъ къ ней, считая также, съ своей стороны, что это не можетъ и не должно быть иначе; привыкши же къ достоинству однажды навсегда, онъ уже не наслаждался имъ, а между тѣмъ не могъ, и при своемъ равнодушіи къ всему, сносить терпѣливо безчисленныхъ мелкихъ недостатковъ Захара.

Если Захаръ, питая въ глубинѣ души къ барину преданность, свойственную стариннымъ слугамъ, разнился отъ нихъ современными недостатками, то и Илья Ильичъ, съ своей стороны, цѣня внутренно преданность его, не имѣлъ уже къ нему того дружескаго, почти родственнаго расположенія, какое питали прежніе господа къ слугамъ своимъ. Онъ позволялъ себѣ иногда крупно браниться съ Захаромъ.

Захару онъ тоже надоѣдалъ собой. Захаръ, отслуживъ



въ молодости лакейскую службу въ барскомъ домѣ, былъ произведенъ въ дядьки къ Ильѣ Ильичу и съ тѣхъ поръ началъ считать себя только предметомъ роскоши, аристократическою принадлежностью дома, назначенною для поддержанія полноты и блеска старинной фамиліи, а не предметомъ необходимости. Отъ этого онъ, одѣвъ барченка утромъ и раздѣвъ его вечеромъ, остальное время ровно ничего не дѣлалъ.

Лѣнивый отъ природы, онъ былъ лѣнивъ еще и по своему лакейскому воспитанію. Онъ важничалъ въ дворнѣ, не давалъ себѣ труда ни поставить самоваръ, ни подмести полъ. Онъ или дремалъ въ прихожей, или уходилъ болтать въ людскую, въ кухню; не то, такъ по цѣлымъ часамъ, скрестивъ руки на груди, стоялъ у воротъ и съ сонною задумчивостью посматривалъ на всѣ стороны.

И послѣ такой жизни на него вдругъ навалили тяжелую обузу выносить на плечахъ службу цѣлаго дома! Онъ и служи барину, и мети, и чисть, онъ и на побѣгушкахъ! Отъ всего этого въ душу его залегла угрюмость, а въ нравѣ проявилась грубость и жесткость; отъ этого онъ ворчалъ всякій разъ, какъ голосъ барина заставлялъ его покидать лежанку.

Несмотря, однакожь, на эту наружную угрюмость и дикость, Захаръ былъ довольно - мягкаго и добраго сердца. Онъ любилъ даже проводить время съ ребятишками. На дворѣ, у воротъ, его часто видѣли съ кучей дѣтей. Онъ ихъ мирить, дразнить, устраиваетъ игры, или просто сидитъ съ ними, взявъ одного на одно колѣно, другаго на другое, а сзади шею его обовьетъ еще какой-нибудь шалунъ руками, или треплетъ его за бакенбарды.

И такъ Обломовъ мѣшалъ Захару жить, тѣмъ, что требовалъ поминутно его услугъ и присутствія около себя, тогда какъ сердце, сообщительный нравъ, любовь къ бездѣй-

ствію и вѣчная, никогда-неумолкающая потребность жевать влекли Захара то къ кумѣ, то въ кухню, то въ лавочку, то къ воротамъ.

Давно знали они другъ друга и давно жили вдвоемъ. Захаръ нянчилъ маленькаго Обломова на рукахъ, а Обломовъ помнитъ его молодымъ, проворнымъ, прожорливымъ и лукавымъ парнемъ.

Старинная связь была не истребима между ними. Какъ Илья Ильичъ не умѣлъ ни встать, ни лечь спать, ни быть причесаннымъ и обутомъ, ни отобѣдать безъ помощи Захара, такъ Захаръ не умѣлъ представить себѣ другаго барина, кромѣ Ильи Ильича, другаго существованія, какъ одѣвать, кормить его, грубить ему, лукавить, лгать и въ то же время внутренно благоговѣть передъ нимъ.

### VIII.

Захаръ, заперевъ дверь за Тарантьевымъ и Алексѣевымъ, когда они ушли, не сѣлся на лежанку, ожидая, что баринъ сейчасъ позоветъ его, потому что слышалъ, какъ тотъ собирался писать. Но въ кабинетѣ Обломова все было ихъ, какъ въ могилѣ.

Захаръ заглянулъ въ щель — что жъ? Илья Ильичъ лежалъ себѣ на диванѣ, опершись головой на ладонь; передъ нимъ лежала книга. Захаръ отворилъ дверь.

— Вы чего лежите-то опять? спросилъ онъ.

— Не мѣшай; видишь читаю! отрывисто сказалъ Обломовъ.

— Пора умываться да писать, говорилъ неотвязчивый Захаръ.

— Да, въ самомъ дѣлѣ пора, очнулся Илья Ильичъ. — Сейчасъ: ты поди. Я подумаю.

— И когда это онъ успѣлъ опять лечь-то! ворчалъ Захаръ, прыгая на печку: — Проворенъ!

Обломовъ успѣлъ, однакожь, прочитать пожелтѣвшую отъ времени страницу, на которой чтеніе прервано было съ мѣсяцъ назадъ. Онъ положилъ книгу на мѣсто и зѣвнулъ, потомъ погрузился въ неотвязчивую думу „о двухъ несчастіяхъ“.

— Какая скука! шепталъ онъ, то вытягивая, то поджимая ноги.

Его клонило къ нѣгѣ и мечтамъ; онъ, обращалъ глаза къ небу, искалъ своего любимого свѣтила, но оно было на самомъ зенитѣ, и только обливало ослѣпительнымъ блескомъ известковую стѣну дома, за который закатывалось по вечерамъ въ виду Обломова. „Нѣтъ, прежде дѣло“, строго подумалъ онъ, „а потомъ...“

Деревенское утро давно прошло, и петербургское было на исходѣ. До Ильи Ильича долеталъ со двора смѣшанный шумъ человѣческихъ и нечеловѣческихъ голосовъ: пѣнье кочующихъ артистовъ, сопровождаемое большею частію лаемъ собакъ. Приходили показывать и звѣря морского, приносили и предлагали на разные голоса всевозможные продукты

Онъ легъ на спину и заложилъ обѣ руки подъ голову. Илья Ильичъ занялся разработкою плана имѣнія. Онъ быстро пробѣжалъ въ умѣ нѣсколько серьезныхъ, коренныхъ статей объ оброкѣ, о запалкѣ, придумалъ новую мѣру, построже, противъ лѣни и бродяжничества крестьянъ, и перешелъ къ устройству собственнаго житья-бытья въ деревнѣ.

Его занимала постройка деревенскаго дома; онъ съ удовольствіемъ остановился нѣсколько минутъ на расположеніи комнатъ, опредѣлилъ длину и ширину столовой, бильярдной, подумалъ и о томъ, куда будетъ обращенъ окнами его кабинетъ; даже вспомнилъ о мебели и коврахъ.

Послѣ этого расположилъ флигеля дома, сообразивъ чи-

сло гостей, которое намѣревался принимать, отвелъ мѣсто для конюшенъ, сараевъ, людскихъ и разныхъ другихъ службъ.

Наконецъ, обратился къ саду: онъ рѣшилъ оставить всѣ старыя липовыя и дубовыя деревья такъ, какъ они есть, а яблони и груши уничтожить и на мѣсто ихъ посадить акаціи; подумалъ-было о паркѣ, но, сдѣлавъ въ умѣ примѣрно смѣту издержкамъ, нашель, что дорого и, отложивъ это до другаго времени, перешель къ цвѣтникамъ и оранжереямъ.

Тутъ мелькнула у него соблазнительная мысль о будущихъ фруктахъ до-того живо, что онъ вдругъ перенесся на нѣсколько лѣтъ впередъ въ деревню, когда ужъ имѣніе устроено по его плану и когда онъ живетъ тамъ безвыѣздно.

Ему представилось, какъ онъ сидитъ въ лѣтній вечеръ на террасѣ, за чайнымъ столомъ, подъ непроницаемымъ для солнца навѣсомъ деревьевъ, съ длинной трубкой, и лѣниво втягиваетъ въ себя дымъ, задумчиво наслаждаясь открывающимся изъ-за деревьевъ видомъ, прохладой, тишиной; а вдали желтѣютъ поля, солнце опускается за знакомый березнякъ и румянитъ гладкій, какъ зеркало, прудъ; съ полей восходитъ паръ; становится прохладно, наступаютъ сумерки; крестьяне толпами идутъ домой.

Праздная двѣрня сидитъ у воротъ; тамъ слышатся веселые голоса, хохоть, балалайка, дѣвки играютъ въ горѣлки; кругомъ его самого рѣзвятся его малютки, лѣзутъ къ нему на колѣни, вѣшаются ему на шею; за самоваромъ сидитъ... царица всего окружающаго, его божество... женщина! жена! А между-тѣмъ въ столовой, убранной съ изящной простотой, ярко заблистали привѣтные огоньки, накрывался большой круглый столъ; Захаръ, произведенный въ мажордомы, съ совершенно-сѣдыми бакенбардами, накрываетъ



столь, съ пріятнымъ звономъ разставляетъ хрусталь и раскладываетъ серебро, поминутно роняя на полъ то стаканъ, то вилку; садятся за обильный ужинъ; тутъ сидитъ и товарищъ его дѣтства, неизмѣнный другъ его, Штольцъ, и другія, всѣ знакомыя лица; потомъ отходятъ ко сну...

Лицо Обломова вдругъ облилось румянцемъ счастья: мечта была такъ ярка, жива, поэтична, что онъ мгновенно повернулся лицомъ къ подушкѣ. Онъ вдругъ почувствовалъ смутное желаніе любви, тихаго счастья, вдругъ зажаждалъ полей и холмовъ своей родины, своего дома, жены и дѣтей...

Полежавъ ничкомъ минутъ пять, онъ медленно опять повернулся на спину. Лило его сіяло кроткимъ, трогательнымъ чувствомъ: онъ былъ счастливъ.

Онъ, съ наслажденіемъ, медленно вытянулъ ноги, отчего панталоны его засучились немного вверхъ, но онъ и не замѣчалъ этого маленькаго безпорядка. Услужливая мечта носила его, легко и вольно, далеко въ будущемъ.

Теперь его поглотила любимая мысль: онъ думалъ о маленькой колоніи друзей, которые поселятся въ деревенькахъ и фермахъ, въ пятнадцати или двадцати верстахъ вокругъ его деревни, какъ попеременно будутъ каждый день съѣзжаться другъ къ другу въ гости, обѣдать, ужинать, танцевать; ему видятся все ясные дни, ясныя лица, безъ заботъ и морщинъ, смѣющіяся, круглыя, съ яркимъ румянцемъ, съ двойнымъ подбородкомъ и неувядающимъ аппетитомъ; будетъ вѣчное лѣто, вѣчное веселье, сладкая ѣда, да сладкая лѣнь...

— Боже, Боже! произнесъ онъ отъ полноты счастья и очнулся.

А тутъ раздался со двора въ пять голосовъ:—Картофеля! Песку, песку не надо ли? Уголья! Уголья!.. Пожертвуйте, милосердные господа, на построеніе храма Госпо-



дня!—А изъ сосѣдняго, вновь-строющагося дома раздавался стукъ топоровъ, крикъ рабочихъ.

— Ахъ! горестно вслухъ вздохнулъ Илья Ильичъ: „Что за жизнь! Какое безобразіе этотъ столичный шумъ! Когда же настанетъ райское, желанное житъе? Когда въ поля, въ родныя рощи?“ думалъ онъ. „Лежать бы теперь на травѣ, подъ деревомъ, да глядѣть сквозь вѣтки на солнышко и считать, сколько птичекъ перебываетъ на вѣткахъ. А тутъ тебѣ на траву то обѣдъ, то завтракъ принесетъ какая-нибудь краснощекая прислужница, съ голыми, круглыми и мягкими локтями и съ загорѣлой шеей; потупляетъ, плутовка, взглядъ и улыбается... Когда же настанетъ эта пора?..“

А планъ! А староста, а квартира? вдругъ раздалось въ памяти его.

— Да, да! торопливо заговорилъ Илья Ильичъ:—сейчасъ, сію минуту!

Обломовъ быстро приподнялся и сѣлъ на диванѣ, потомъ спустилъ ноги на полъ, попалъ разомъ въ обѣ туфли и посидѣлъ такъ; потомъ всталъ совсѣмъ и постоялъ задумчиво минуты двѣ.

— Захаръ, Захаръ! закричалъ онъ громко, поглядывая на столъ и на чернильницу.

— Что еще тамъ? слышалось вмѣстѣ съ прыжкомъ.

— Какъ только ноги-то таскаютъ меня? хриплымъ шопотомъ прибавилъ Захаръ.

— Захаръ! повторилъ Илья Ильичъ задумчиво, не спуская глазъ со стола.—Вотъ что, братецъ... началъ онъ, указывая на чернильницу, но, не кончивъ фразы, впалъ опять въ раздумье.

Тутъ руки стали у него вытягиваться кверху, колѣни подгибаться, онъ началъ потягиваться, зѣвать...

— Тамъ оставался у насъ, заговорилъ онъ, все потяги-

ваясь, съ разстановкой—сыръ, да... дай мадеры; до обѣда долго, такъ я позавтракаю немного...

— Гдѣ это онъ оставался? сказалъ Захаръ:—не оставалось ничего...

— Какъ не оставалось? перебилъ Илья Ильичъ: — Я очень-хорошо помню: вотъ какой кусокъ былъ...

— Нѣтъ, нѣту! Никакого куска не было! упорно твердилъ Захаръ.

— Былъ! сказалъ Илья Ильичъ.

— Не былъ, отвѣчалъ Захаръ.

— Ну, такъ купи.

— Пожалуйте денегъ.

— Вонъ мелочь тамъ, возьми.

— Да тутъ только рубль сорокъ, а надо рубль шесть гривенъ.

— Тамъ еще мѣдныя были.

— Я не видалъ! сказалъ Захаръ, переминаясь съ ноги на ногу.—Серебро было, вонъ оно и есть, а мѣдныхъ не было!

— Были: вчера мнѣ разнощикъ самому въ руки далъ.

— Онъ при мнѣ далъ, сказалъ Захаръ:—я видѣлъ, что мелочь давалъ, а мѣди не видалъ...

„Ужъ не Тарантьевъ ли взялъ?“ подумалъ нерѣшительно Илья Ильичъ: „Да нѣтъ, тотъ бы и мелочь взялъ“.

— Такъ что жъ тамъ есть еще? спросилъ онъ.

— А ничего не было. Вонъ вчерашней ветчины нѣтъ ли, надо у Анисьи спросить, сказалъ Захаръ.—Принести, что ли?

— Принеси, что есть. Да какъ это не было?

— Такъ не было! сказалъ Захаръ и ушелъ. А Илья Ильичъ медленно и задумчиво прохаживался по кабинету.

— Да, много хлопотъ, говорилъ онъ тихонько. Вонъ хоть бы въ планѣ—пропасть еще работы!.. А сыръ-то вѣдь

оставался, прибавилъ онъ задумчиво:—сѣлъ этотъ Захаръ, да и говорить что не было! И куда это запропастились мѣдныя деньги? говорилъ онъ, шаря на столѣ рукой.

Черезъ четверть часа Захаръ отворилъ дверь подносомъ, который держалъ въ обѣихъ рукахъ, и, войдя въ комнату, хотѣлъ ногой притворить дверь, но промахнулся и ударилъ по пустому мѣсту: рюмка упала, а вмѣстѣ съ ней еще пробка съ графина и булка.

— Ни шагу безъ этого! сказалъ Илья Ильичъ. — Ну, хоть подними же, что уронилъ; а онъ еще стоитъ да любитъся!

Захаръ, съ подносомъ въ рукахъ, наклонился-было поднять булку, но присѣвъ, вдругъ увидѣлъ, что обѣ руки заняты и поднять нечѣмъ.

— Ну-ка, подними! съ насмѣшкой говорилъ Илья Ильичъ.—Что жъ ты? Зачѣмъ дѣло стало?

— О, чтобъ вамъ пусто было, проклятыя! съ яростью разразился Захаръ, обращаясь къ уроненнымъ вещамъ:—Гдѣ это видано завтракать передъ самымъ обѣдомъ?

И, поставивъ подносъ, онъ поднималъ съ пола что уронилъ; взявъ булку, онъ дунулъ на нее и положилъ на столъ.

Илья Ильичъ принялся завтракать, а Захаръ остановился въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ него, поглядывая на него стороной и намѣреваясь, повидимому, что-то сказать.

Но Обломовъ завтракалъ, не обращая на него ни малѣйшаго вниманія.

Захаръ кашлянулъ раза два.

Обломовъ все ничего.

— Управляющій опять сейчасъ присылалъ, робко заговорилъ, наконецъ, Захаръ:—подрядчикъ былъ у него, говорить: нельзя ли взглянуть на нашу квартиру? Насчетъ передѣлки-то все...

Илья Ильичъ кушалъ, не отвѣчая ни слова.

— Илья Ильичъ, помолчавъ, еще тише сказалъ Захаръ.

Илья Ильичъ сдѣлалъ видъ, что онъ не слышитъ.

— На будущей недѣлѣ велятъ съѣзжать, просипѣлъ Захаръ.

Обломовъ выпилъ рюмку вина и молчалъ.

— Какъ же намъ быть-то, Илья Ильичъ? почти шопотомъ спросилъ Захаръ.

— А я тебѣ запретилъ говорить мнѣ объ этомъ, строго сказалъ Илья Ильичъ и, привставъ, подошелъ къ Захару.

Тотъ попятился отъ него.

— Какой ты ядовитый человѣкъ, Захаръ! прибавилъ Обломовъ съ чувствомъ.

Захаръ обидѣлся.

— Вотъ, сказалъ онъ:—ядовитый! Что я за ядовитый? Я никого не убилъ.

— Какъ же не ядовитый! повторилъ Илья Ильичъ:—ты отравляешь мнѣ жизнь.

— Я не ядовитый! твердилъ Захаръ.

— Что ты ко мнѣ пристаешь съ квартирой?

— Что жъ мнѣ дѣлать-то?

— А мнѣ что дѣлать?

— Вы хотѣли вѣдь написать къ домовому хозяину?

— Ну и напишу; погоди; нельзя же вдругъ!

— Вотъ бы теперь и написали.

— Теперь, теперь! Еще у меня поважнѣе есть дѣло. Ты думаешь, что это дрова рубить? тяпъ да ляпъ? Вонъ, говорилъ Обломовъ, поворачивая сухое перо въ чернильницѣ—и чернилъ-то нѣтъ! Какъ я стану писать?

— А я вотъ сейчасъ квасомъ разведу, сказалъ Захаръ и, взявъ чернильницу, проворно пошелъ въ переднюю, а Обломовъ началъ искать бумаги.

— Да никакъ и бумаги-то нѣтъ! говорилъ онъ самъ съ собою, роясь въ ящикѣ и ощупывая столъ:—Да и такъ нѣтъ! Ахъ, этотъ Захаръ: житья нѣтъ отъ него!

— Ну, какъ же ты не ядовитый человѣкъ? сказалъ Илья Ильичъ вошедшему Захару:—ни за чѣмъ не посмотришь? Какъ же въ домѣ бумаги не имѣть?

— Да что это, Илья Ильичъ, за наказаніе! Я христіанинъ: что жъ вы ядовитымъ-то браните? Далось: ядовитый! Мы при старомъ баринѣ родились и выросли, онъ и щенкомъ изволилъ бранить, и за уши дралъ, а этакого слова не слыхивали, выдумокъ не было! Долго ли до грѣха? Вотъ бумага, извольте.

Онъ взялъ съ этажерки и подалъ ему полъ-листа сѣрой бумаги.

— На этомъ развѣ можно писать? спросилъ Обломовъ бросивъ бумагу:—Я этимъ на ночь стаканъ закрывалъ, чтобъ туда не попало что-нибудь... ядовитое.

Захаръ отвернулся и смотрѣлъ въ стѣну.

— Ну, да нужды нѣтъ: подай сюда, я начерно напишу, а Алексѣевъ уже перепишетъ.

Илья Ильичъ сѣлъ къ столу и быстро вывелъ: „Милостивый государь!“...

— Какія скверныя чернила! сказалъ Обломовъ:—Въ другой разъ у меня держи ухо востро, Захаръ, и дѣлай свое дѣло какъ слѣдуетъ!

Онъ подумалъ немного и началъ писать.

„Квартира, которую я занимаю во второмъ этажѣ дома, въ которомъ вы предположили произвести нѣкоторыя перестройки, вполне соотвѣтствуетъ моему образу жизни и пріобрѣтенной, вслѣдствіе долгаго пребыванія въ семь домѣ, привычкѣ. Извѣстясь черезъ крѣпостного моего человѣка, Захара Трофимова, что вы приказали сообщить мнѣ, что занимаемая мною квартира...”



Обломовъ остановился и прочиталъ написанное.

— Нескладно сказалъ онъ: тутъ два раза сряду *что*, а тамъ два раза *который*.

Онъ пошепталъ и переставилъ слова: вышло что *который* относится къ этажу—опять неловко. Кое-какъ переправилъ и началъ думать, какъ бы избѣжать два раза *что*.

Онъ, то зачеркнетъ, то опять поставитъ слово. Раза три переставлялъ *что*, но выходило или бессмыслица, или соѣдство съ другимъ *что*.

— И не отвяжешься отъ этого другаго-то *что*! сказалъ онъ съ нетерпѣніемъ.—Э! да чортъ съ нимъ совсѣмъ, съ письмомъ-то! Ломать голову изъ такихъ пустяковъ! Я отвыкъ дѣловыя письма писать. А вотъ ужъ третій часъ въ исходѣ.

— Захаръ, на вотъ тебѣ.—Онъ разорвалъ письмо на четыре части и бросилъ на полъ.

— Видѣлъ? спросилъ онъ.

— Видѣлъ, отвѣчалъ Захаръ, подбирая бумажки.

— Такъ не приставай больше съ квартирой. А это что у тебя!

— А счета-то.

— Ахъ, ты, Господи! Ты совсѣмъ измучишь меня! Ну, сколько тутъ, говори скорѣй!

— Да вотъ мяснику 86 р. 54 к.

Илья Ильичъ всплеснулъ руками.

— Ты съ ума сошелъ? Одному мяснику такую кучу денегъ?

— Не платили мѣсяца три, такъ и будетъ куча! Вотъ оно тутъ записано, не украли!

— Ну, какъ же ты не ядовитый? сказалъ Обломовъ: — На миллионъ говядины купилъ! Во что это въ тебя идетъ? Добро бы въ прокъ.

— Не я съѣлъ! огрызался Захаръ.

— Нѣтъ! Не ѣлъ?

— Что жъ вы мнѣ хлѣбомъ-то попрекаете? Вотъ, смотрите!

И онъ соваль ему счеты.

— Ну, еще кому? говорилъ Илья Ильичъ, отталкивая съ досадою замасленные тетрадки.

— Еще 121 р., 18 к. хлѣбнику, да зеленьщику.

— Это разореніе! Это ни на что непохоже! говорилъ Обломовъ, выходя изъ себя.—Что ты, корова, что ли, чтобъ столько зелени сжевать...

— Нѣтъ! Я ядовитый человѣкъ! съ горечью замѣтилъ Захаръ, повернувшись совсѣмъ стороною къ барину:—Какъ бы не пускали Михея Андреича, такъ бы меньше выходило! прибавилъ онъ.

— Ну, сколько жъ это будетъ всего, считай! говорилъ Илья Ильичъ и самъ началъ считать.

Захаръ дѣлалъ ту же выкладку по пальцамъ.

— Чортъ-знаетъ, что за вздоръ выходитъ: всякій разъ разное! сказалъ Обломовъ.—Ну, сколько у тебя? двѣсти, что ли?

— Вотъ, погодите, дайте срокъ! говорилъ Захаръ, зажмуриваясь и ворча:—Восемь десятковъ, да десять десятковъ—восемнадцать, да два десятка...

— Ну, ты никогда такъ не кончишь, сказалъ Илья Ильичъ:—поди-ка къ себѣ, а счеты подай мнѣ завтра, да позаботься о бумагѣ и чернилахъ... Этакая куча денегъ! Говорилъ, чтобъ понемножку платить—нѣтъ, норовить все вдругъ... народецъ!

— Двѣсти-пять рублей семьдесятъ-двѣ копейки, сказалъ Захаръ, сосчитавъ.—Денегъ пожалуйста.

— Какъ же, сейчасъ! Еще погоди: я повѣрю завтра...

— Воля ваша, Илья Ильичъ, они просятъ...

— Ну, ну, отстань! Сказалъ завтра, такъ завтра и по-

лучишь. Иди къ себѣ, а я займусь: у меня поважнѣе есть работа.

Илья Ильичъ усѣлся на стулѣ, подобралъ подѣ себя ноги и не успѣлъ задуматься, какъ раздался звонокъ.

Явился низенькій человекъ, съ умѣреннымъ брюшкомъ, съ бѣлымъ лицомъ, румяными щеками и лысиной, которую съ затылка, какъ бахрама, окружали черные густые волосы. Лысина была кругла, чиста и такъ лоснилась, какъ-будто была выточена изъ слоновой кости. Лицо гостя отличалось заботливо-внимательнымъ ко всему, на что онъ ни глядѣлъ, выраженіемъ, сдержанностью во взглядѣ, умѣренностью въ улыбкѣ и скромно-оффиціальнымъ приличіемъ.

Одѣтъ онъ былъ въ покойный фракъ, отворявшійся широко и удобно, какъ ворота, почти отъ одного прикосновенія. Бѣлье на немъ такъ и блистало бѣлизной, какъ-будто подѣ-стать лысинѣ. На указательномъ пальцѣ правой руки надѣтъ былъ большой массивный перстень съ какимъ-то темнымъ камнемъ.

— Докторъ! Какими судьбами? воскликнулъ Обломовъ протягивая одну руку гостю, а другою подвигая стулъ.

— Я соскучился, что вы все здоровы, не зовете, самъ зашелъ, отвѣчалъ докторъ шутливо: — Нѣтъ, прибавилъ онъ потомъ серьезно:—я былъ вверху, у вашего сосѣда, да и зашелъ провѣдать.

— Благодарю. А что сосѣдъ?

— Что: недѣли три-четыре, а, можетъ-быть, до осени дотянетъ, а потомъ... водяная въ груди: конецъ извѣстный. Ну, вы что?

Обломовъ печально потрянулъ головой.

— Плохо, докторъ. Я самъ подумывалъ посовѣтоваться съ вами. Не знаю, что мнѣ дѣлать. Желудокъ почти не ва-

рять, подъ ложечкой тяжесть, изжога замучила, дыханье тяжело... говорилъ Обломовъ съ жалкой миной.

— Дайте руку, сказалъ докторъ, взялъ пульсъ, и закрылъ на минуту глаза.—А кашель есть? спросилъ онъ.

— По ночамъ, особенно когда поужинаю.

— Гм! Біеніе сердца бываетъ? Голова болитъ?

И докторъ сдѣлалъ еще нѣсколько подобныхъ вопросовъ, потомъ наклонилъ свою лысину и глубоко задумался. Черезъ двѣ минуты, онъ вдругъ приподнялъ голову и рѣшительнымъ голосомъ сказалъ:

— Если вы еще года два-три проживете въ этомъ климатѣ, да будете все лежать, ѣсть жирное и тяжелое—вы умрете ударомъ.

Обломовъ встрепенулся.

— Что жъ мнѣ дѣлать? Научите, ради Бога! спросилъ онъ.

— То же, что другіе дѣлаютъ: ѣхать за границу.

— За границу! съ изумленіемъ повторилъ Обломовъ.

— Да; а что?

— Помилуйте, докторъ, за границу! Какъ это можно?

— Отчего же невозможно?

Обломовъ, молча обвелъ глазами себя, потомъ свой кабинетъ и машинально повторилъ:

— За границу!

— Что жъ вамъ мѣшаетъ?

— Какъ что? Все...

— Что жъ все? Денегъ, что ли нѣтъ?

— Да, да, вотъ денегъ-то въ-самомъ-дѣлѣ нѣтъ, живо заговорилъ Обломовъ, обрадовавшись этому, самому естественному препятствію, за которое онъ могъ спрятаться совсѣмъ съ головой. — Вы посмотрите-ка, что мнѣ староста пишетъ... Гдѣ письмо, куда я его дѣвалъ? Захаръ!

— Хорошо, хорошо, заговорилъ докторъ:—это не мое

дѣло; мой долгъ сказать вамъ, что вы должны измѣнить образъ жизни, мѣсто, воздухъ, занятіе—все, все.

— Хорошо, я подумаю сказалъ Обломовъ.—Куда же мнѣ ѣхать и что дѣлать? спросилъ онъ.

— Поѣзжайте въ Киссингенъ, или въ Эмсъ, началъ докторъ:—тамъ проживете іюнь и іюль; пейте воды; потомъ отправляйтесь въ Швейцарію или въ Тироль: лечиться виноградомъ. Тамъ проживете сентябрь и октябрь...

— Чортъ-знаетъ что, въ Тироль! едва-слышно прошепталь Илья Ильичъ.

— Потомъ куда-нибудь въ сухое мѣсто, хоть въ Египеть...

„Вона“! подумаль Обломовъ.

— Устраняйте заботы и огорченія...

— Хорошо вамъ говорить, замѣтилъ Обломовъ:—вы не получаете отъ старосты такихъ писемъ...

— Надо тоже избѣгать мыслей, продолжалъ докторъ.

— Мыслей?

— Да, умственного напряженія.

— А планъ устройства имѣнія? Помилуйте, развѣ я осиновый чурбанъ?..

— Ну, тамъ какъ хотите. Мое дѣло только остеречь васъ. Страстей тоже надо беречься: онѣ вредятъ леченію. Надо стараться развлекать себя верховой ѣздой, танцами, умѣреннымъ движеніемъ на чистомъ воздухѣ, пріятными разговорами, особенно съ дамами, чтобъ сердце билось слегка и только отъ пріятныхъ ощущеній.

Обломовъ слушалъ его, повѣся голову.

— Потомъ? спросилъ онъ.

— Потомъ отъ чтенія, писанья—Боже васъ сохрани! Наймите виллу, окнами на югъ, побольше цвѣтовъ, чтобъ около были музыка да женщины...

— А пищу какую?



— Пищи мясной и вообще животной избѣгайте, мучнистой и студенистой тоже. Можете кушать легкій бульйонъ, зелень; только берегитесь: теперь холера почти вездѣ бродить, такъ надо осторожниѣе... Ходить можете часовъ восемь въ сутки. Заведите ружье...

— Господи!... простоналъ Обломовъ.

— Наконецъ, заключилъ докторъ:—къ зимѣ поѣзжайте въ Парижъ, и тамъ, въ вихрѣ жизни, развлекайтесь не задумываясь: изъ театра на балъ, въ маскарадъ, за городъ съ визитами, чтобъ около васъ друзья, шумъ смѣхъ...

— Не нужно ли еще чего-нибудь? спросилъ Обломовъ, съ худо-скрытой досадой.

Докторъ задумался...

— Развѣ попользоваться морскимъ воздухомъ: сядьте въ Англіи на пароходъ, да прокатитесь до Америки...

Онъ всталъ и сталъ прощаться.

— Если вы все это исполните въ точности... говорилъ онъ...

— Хорошо, хорошо, непременно исполню, ѣдко отвѣчала Обломовъ, провожая его.

Докторъ ушелъ, оставивъ Обломова въ самомъ жалкомъ положеніи. Онъ закрылъ глаза, положилъ обѣ руки на голову, сжался на стулѣ въ комокъ и такъ сидѣлъ, никуда не глядя, ничего не чувствуя.

Сзади его послышался робкій зовъ.

— Илья Ильичъ!

— Ну? откликнулся онъ.

— А что жъ управляющему-то сказать?

— О чемъ?

— А насчетъ того, чтобъ переѣхать?

— Ты опять объ этомъ? съ изумленіемъ спросилъ Обломовъ.

— Да какъ же, батюшка, Илья Ильичъ, быть-то мнѣ?

Сами разсудите: и такъ жизнь-то моя горька, я въ гробъ гляжу...

— Нѣтъ, ты, видно, въ гробъ меня хочешь вогнать своимъ переѣздомъ, сказалъ Обломовъ.—Послушай-ка, что говоритъ докторъ!

Захаръ не нашель что сказать, только вздохнулъ такъ, что концы шейнаго платка затрепетали у него на груди.

— Ты рѣшился уморить, что ли, меня? спросилъ опять Обломовъ:—Я надоѣлъ тебѣ—а? Ну, говори же?

— Христось съ вами! Живите на здоровье! Кто вамъ зла желаетъ? ворчалъ Захаръ въ совершенномъ смущеніи отъ трагическаго оборота, который начинала принимать рѣчь.

— Ты! сказалъ Илья Ильичъ:—Я запретилъ тебѣ заикаться о переѣздѣ, а ты, не проходить дня, чтобъ пять разъ не напомнилъ мнѣ: вѣдь это разстроиваетъ меня—пойми ты. И такъ здоровье мое никуда не годится.

— Я думалъ, сударь, что... отчего, молъ, думалъ, не переѣхать? дрожащимъ отъ душевной тревоги голосомъ говорилъ Захаръ.

— Отчего не переѣхать! Ты такъ легко судишь объ этомъ! говорилъ Обломовъ, оборачиваясь съ креслами къ Захару. — Да ты вникнулъ ли хорошенько, что значитъ переѣхать—а? Вѣрно, не вникнулъ?

— И такъ не вникнулъ! смиренно отвѣчалъ Захаръ, готовый во всемъ согласиться съ бариномъ, лишь бы не доводить дѣла до патетическихъ сценъ, которыя были для него хуже горькой рѣдьки.

— Не вникнулъ, такъ слушай, да и разбери, можно переѣзжать, или нѣтъ. Что значитъ переѣхать? Это значитъ: баринъ уйди на цѣлый день, да такъ одѣтый съ утра и ходи...

— Что жъ, хоть бы и уйти? замѣтилъ Захаръ:—Отчего

жъ и не отлучиться на цѣлый день? Вѣдь нездорово сидѣть дома. Вонъ вы какіе нехорошіе стали! Прежде вы были какъ огурчикъ, а теперь, какъ сидите, Богъ-знаетъ на что похожи. Походили бы по улицамъ, посмотрѣли бы на народъ, или на другое что...

— Полно вздоръ молоть, а слушай! сказалъ Обломовъ.— Ходить по улицамъ!

— Да, право, продолжалъ Захаръ съ большимъ жаромъ.— Вонъ, говорятъ, какое-то неслыханное чудовище привезли: его бы поглядѣли. Въ тѣатръ, или маскарадъ бы пошли, а тутъ бы безъ васъ и переѣхали.

— Не болтай пустяковъ! Славно ты заботишься о барскомъ покоѣ! По-твоему, шатайся цѣлый день—тебѣ нужны нѣтъ, что я пообѣдаю ни вѣсть-гдѣ и какъ, и не прилягу послѣ обѣда?... Безъ меня они тутъ перевезутъ! Не догляди, такъ и перевезутъ—черепки. Знаю я, съ возрастающей убѣдительностью говорилъ Обломовъ:—что значитъ перевозка! Это значитъ ломка, шумъ; всѣ вещи свалятъ въ кучу на полу: тутъ и чемоданъ, и спинка дивана, и картины, и чубуки, и книги, и склянки какія-то, которыхъ въ другое время и не видать, а тутъ, чортъ-знаетъ, откуда возьмутся! Смотри за всѣмъ, чтобъ не растеряли, да не переломали... половина тутъ, другая на возу, или на новой квартирѣ: захочется покурить, возьмешь трубку, а табакъ ужъ уѣхалъ... Хочешь сѣсть, да не на что; до чего ни дотронулся—выпачкался; все въ пыли; вымыться нечѣмъ, и ходи, вонъ, съ такими руками, какъ у тебя...

— У меня руки чисты, замѣтилъ Захаръ, показывая какія-то двѣ подошвы вмѣсто рукъ.

— Ну, ужъ не показывай только! сказалъ Илья Ильичъ, отворачиваясь.—А захочется пить, продолжалъ Обломовъ: — взялъ графинъ, да стакана нѣтъ...

— Можно и изъ графина напиться! добродушно прибавилъ Захаръ.

— Вотъ у васъ все такъ: можно и не мести, и пыли не стирать, и ковровъ не выколачивать. А на новой квартирѣ, продолжалъ Илья Ильичъ, увлекаясь самъ живо представившейся ему картиной переѣзда:—дня въ три не разберутся, все не на своемъ мѣстѣ: картины у стѣнъ, на полу, галоши на постели, сапоги въ одномъ узлѣ съ чаемъ да съ помадой. То, глядишь, ножка у кресла сломана, то стекло на картинѣ разбито, или диванъ въ пятнахъ. Чего ни спросишь—нѣтъ, никто не знаетъ гдѣ, или потеряно, или забыто на старой квартирѣ: бѣги туда...

— Въ ину пору разъ десять взадъ и впередъ сбѣгаешь, перебилъ Захаръ.

— Вотъ видишь ли! продолжалъ Обломовъ.—А встанешь на новой квартирѣ утромъ, что за скука! Ни воды, ни угольевъ нѣтъ, а зимой такъ холодомъ насидишься, настудятъ комнаты, а дровъ нѣтъ; поди бѣгай, занимай...

— Еще какихъ сосѣдей Богъ дастъ, замѣтилъ опять Захаръ: — отъ иныхъ не то, что вязанки дровъ — ковш воды не допросишься.

— То-то же! сказалъ Илья Ильичъ:—Переѣхалъ — къ вечеру, кажется бы, и конецъ хлопотамъ: нѣтъ, еще провозишься недѣли двѣ. Кажется, все разставлено... смотришь, что-нибудь да осталось: сторы привѣсить, картинки приколотить — душу всю вытянетъ, жить не захочется... А издержекъ, издержекъ...

— Прошлый разъ, восемь лѣтъ назадъ, рублевъ двѣсти стало—какъ теперь помню, подтвердилъ Захаръ.

— Ну, вотъ, шутка! говорилъ Илья Ильичъ.—А какъ дико жить сначала на новой квартирѣ! Скоро ли привыкнешь? Да я ночей пять не усну на новомъ мѣстѣ; меня тоска загрызетъ, какъ встану да увижу, вонъ, вмѣсто этой

вывѣски токаря, другое что-нибудь, напротивъ, или вонъ ежели изъ окна не выглянетъ эта стриженная старуха передъ обѣдомъ, такъ мнѣ и скучно... Видишь ли ты самъ теперь, до чего доводилъ барина — а? спросилъ съ упрекомъ Илья Ильичъ.

— Вижу, прошепталъ смиренно Захаръ.

— Зачѣмъ же ты предлагалъ мнѣ переѣхать? Станетъ ли человѣческихъ силъ вынести все это?

— Я думалъ, что другіе, молъ, не хуже насъ, да переѣзжаютъ, такъ и намъ можно... сказалъ Захаръ.

— Что? Что? вдругъ съ изумленіемъ спросилъ Илья Ильичъ, приподнимаясь съ креселъ:—Что ты сказалъ?

Захаръ вдругъ смутился, не зная, чѣмъ онъ могъ подать барину поводъ къ патетическому восклицанію и жесту. Онъ молчалъ.

— Другіе не хуже! съ ужасомъ повторилъ Илья Ильичъ:—Вотъ ты до чего договорился! Я теперь буду знать, что я для тебя все равно, что "другой"!

Обломовъ поклонился иронически Захару и сдѣлалъ въ высшей степени оскорбленное лицо.

— Помилуйте, Илья Ильичъ, развѣ я равняю васъ съ кѣмъ-нибудь?..

— Съ глазъ долой! повелительно сказалъ Обломовъ, указывая рукой на дверь: — Я тебя видѣть не могу. А! "другіе?", Хорошо!

Захаръ съ глубокимъ вздохомъ удалился къ себѣ.

— Эка жизньъ, подумаешь! ворчалъ онъ, садясь на лежанку.

— Боже мой! стоналъ тоже Обломовъ:—Вотъ хотѣлъ посвятить утро дѣльному труду, а тутъ разстроили на цѣлый день! И кто же? свой собственный слуга, преданный, испытанный, а что сказалъ! И какъ это онъ могъ?

Обломовъ долго не могъ успокоиться; онъ ложился,



вставалъ, ходилъ по комнатѣ и опять ложился. Онъ въ низведеніи себя Захаромъ до степени *другихъ* видѣлъ нарушение правъ своихъ на исключительное предпочтеніе Захаромъ особы барина всѣмъ и каждому.

Онъ вникалъ въ глубину этого сравненія и разбиралъ, что такое *другіе* и что онъ самъ, въ какой степени возможна и справедлива эта параллель и какъ тяжела обида, нанесенная ему Захаромъ; наконецъ, сознательно ли оскорбилъ его Захаръ, то-есть, убѣжденъ ли онъ былъ, что Илья Ильичъ все-равно, что “другой,” или такъ это сорвалось у него съ языка, безъ участія головы. Все это задѣло самолюбіе Обломова и онъ рѣшился показать Захару разницу между нимъ и тѣми, которыхъ разумѣлъ Захаръ, подъ именемъ “другихъ,” и дать почувствовать ему всю гнустность его поступка.

— Захаръ! протяжно и торжественно кликнулъ онъ.

Захаръ услышавъ этотъ зовъ не прыгнулъ, по обыкновенію, съ лежанки, стуча ногами, не заворчалъ; онъ медленно сползъ съ печки и пошелъ задѣвая за все и руками, и боками, тихо, нехотя, какъ собака, которая, по голосу господина, чувствуетъ, что проказа ея открыта и что зовутъ ее на расправу.

Захаръ отворилъ вполовину дверь, но войти не рѣшался.

— Войди! сказалъ Илья Ильичъ.

Хотя дверь отворялась свободно, но Захаръ отворялъ такъ, какъ-будто нельзя было пролѣзть, и оттого только завязъ въ двери, но не вошелъ.

Обломовъ сидѣлъ на краю постели.

— Поди сюда! настойчиво сказалъ онъ.

Захаръ съ трудомъ высвободился изъ двери, но тотчасъ притворилъ ее за собой и прислонился къ ней плотно спиной.

— Сюда! говорилъ Илья Ильичъ, указывая пальцемъ мѣсто подлѣ себя. Захаръ сдѣлалъ полшага и остановился за двѣ сажени отъ указаннаго мѣста.

— Еще! говорилъ Обломовъ.

Захаръ сдѣлалъ видъ, что будто шагнулъ, а самъ только качнулся, стукнулъ ногой и остался на мѣстѣ.

Илья Ильичъ, видя, что ему никакъ не удастся на этотъ разъ подманить Захара ближе, оставилъ его тамъ, гдѣ онъ стоялъ и смотрѣлъ на него нѣсколько времени молча, съ укоризной.

Захаръ, чувствуя неловкость отъ этого безмольнаго созерцанія его особы, дѣлалъ видъ, что не замѣчаетъ барина, и болѣе, нежели когда-нибудь, стороной стоялъ къ нему, и даже не кидалъ въ эту минуту своего односторонняго взгляда на Илью Ильича.

Онъ упорно сталъ смотрѣть налѣво, въ другую сторону: тамъ увидалъ онъ давно-знакомый ему предметъ—бахрому изъ паутины около картинъ, и въ паукъ — живой упрекъ своему нерадѣнію.

— Захаръ! тихо, съ достоинствомъ произнесъ Илья Ильичъ.

Захаръ не отвѣчалъ; онъ, кажется, думалъ: „Ну, чего тебѣ? Другаго, что ли, Захара? Вѣдь я тутъ стою“, и перенесъ взглядъ свой, мимо барина, съ лѣва на право; тамъ тоже напомнило ему о немъ самомъ зеркало, подернутое, какъ кисеей, густою пылью: сквозь нея дико, изподлобья смотрѣлъ на него, какъ изъ тумана, собственный его же, угрюмый и некрасивый ликъ.

Онъ съ неудовольствіемъ отвратилъ взглядъ отъ этого грустнаго, слишкомъ знакомаго ему предмета, и рѣшился на минуту остановить его на Ильѣ Ильичѣ. Взгляды ихъ встрѣтились.

Захаръ не вынесъ укора, написаннаго въ глазахъ бари-

на, и потупилъ свои внизъ, подъ ноги: тутъ опять, въ ковръ, пропитанномъ пылью и пятнами, онъ прочелъ печальный аттестатъ своего усердія къ господской службѣ.

— Захаръ! съ чувствомъ повторилъ Илья Ильичъ.

— Чего изволите? едва-слышно прошепталъ Захаръ и чуть-чуть вздрогнулъ, предчувствуя патетическую рѣчь.

— Дай мнѣ квасу! сказалъ Илья Ильичъ.

У Захара отлегло отъ сердца; онъ, съ радости, какъ мальчишка, проворно бросился въ буфетъ и принесъ квасу.

— Что, каково тебѣ? кротко спросилъ Илья Ильичъ, отпивъ изъ стакана и держа его въ рукахъ:—Вѣдь не хорошо?

Видъ дикости на лицѣ Захара мгновенно смягчился блеснувшимъ въ чертахъ его лучомъ раскаянія. Захаръ почувствовалъ первые признаки проснушагося въ груди и подступившаго къ сердцу благоговѣйнаго чувства къ барину, и онъ вдругъ сталъ смотрѣть прямо ему въ глаза.

— Чувствуешь ли ты свой проступокъ? спросилъ Илья Ильичъ.

„Что это за „проступокъ“ за такой“? думалъ Захаръ съ горестью: „что-нибудь жалкое; вѣдь нехотя заплачешь, какъ онъ станетъ этакъ-то пропекать“.

— Что жъ, Илья Ильичъ, началъ Захаръ съ самой низкой ноты своего діапазона: — я ничего не сказалъ, кроме того, что, молъ...

— Нѣтъ, ты погоди? перебилъ Обломовъ: — Ты понимаешь ли, что ты сдѣлалъ? На вотъ, поставь стаканъ на столъ и отвѣчай!

Захаръ ничего не отвѣчалъ и рѣшительно не понималъ что онъ сдѣлалъ, но это не помѣшало ему съ благоговѣніемъ посмотреть на барина; онъ даже понурилъ немного голову, сознавая свою вину.

— Какъ же ты не ядовитый человѣкъ? говорилъ Обломовъ.

Захаръ все молчалъ, только крупно мигнулъ раза три.

— Ты огорчилъ барина! съ разстановкой произнесъ Илья Ильичъ и пристально смотрѣлъ на Захара, наслаждаясь его смущеніемъ.

Захаръ не зналъ куда дѣваться отъ тоски.

— Вѣдь огорчилъ? спросилъ Илья Ильичъ.

— Огорчилъ! шепталъ, растерявшись совсѣмъ, Захаръ отъ этого новаго *жалкаго* слова. Онъ металъ взгляды направо, на лѣво и прямо, ища въ чемъ-нибудь спасенія, и опять замелькали передъ нимъ и паутина, и пыль, и собственное отраженіе, и лицо барина.

„Хоть бы сквозъ землю провалиться! Эхъ, смерть нейдетъ!“ подумалъ онъ, видя, что не избѣжать ему патетической сцены, какъ ни вертись. И такъ онъ чувствовалъ, что мигаетъ чаще-и-чаще, и вотъ, того и гляди, брызнуть слезы.

Наконецъ, онъ отвѣчалъ барину извѣстной пѣсней, только въ прозѣ.

— Чѣмъ же я огорчилъ васъ, Илья Ильичъ? почти плача сказалъ онъ.

— Чѣмъ? повторилъ Обломовъ. — Да ты подумалъ ли что такое *другой*?

Онъ остановился, продолжая глядѣть на Захара.

— Сказать ли тебѣ, что это такое?

Захаръ повернулся, какъ медвѣдь въ берлогѣ, и вздохнулъ на всю комнату.

— *Другой* — кого ты разумѣешь — есть голь окаянная, грубый, необразованный человѣкъ, живетъ грязно, бѣдно, на чердакѣ; онъ и выпится себѣ на войлокѣ гдѣ-нибудь на дворѣ. Что этакому сдѣлается? Ничего. Трескается-то онъ картофель, да селедку: Нужда мечетъ его изъ угла въ уголъ,

онъ и бѣгаетъ день деньской. Онъ, пожалуй, и переѣдетъ на новую квартиру. Вонъ, Лягаевъ, возьметъ линейку подъ мышку, да двѣ рубашки въ носовой платокъ, и идетъ... „Куда, молъ, ты“? — „Переѣзжаю“ говоритъ. Вотъ это такъ „другой“! А я, по-твоему, „другой“—а?

Захаръ взглянулъ на барина, переступилъ съ ноги на ногу и молчалъ.

— Что такое *другой*? продолжалъ Обломовъ: — Другой есть такой человѣкъ, который самъ себѣ сапоги чистить, одѣвается самъ, хоть иногда и бариномъ смотритъ, да вретъ, онъ и не знаетъ, что такое прислуга; послать некого--самъ сбѣгаетъ зачѣмъ нужно; и дрова въ печкѣ самъ помѣшаетъ, иногда и пыль оботретъ...

— Изъ нѣмцевъ много этакихъ, угрюмо сказалъ Захаръ.

— То-то же! А я? Какъ ты думаешь, я „другой“?

— Вы совсѣмъ-другой! жалобно сказалъ Захаръ, все непонимавшій, что хочетъ сказать баринъ.— Богъ знаетъ, что это напустило такое на васъ...

— Я совсѣмъ другой — а? погоди, ты посмотри, что ты говоришь! Ты разбери-ка, какъ „другой“-то живетъ? „Другой“ работаетъ безъ усталости, бѣгаетъ, суетится, продолжалъ Обломовъ: — не поработаетъ, такъ и не поѣстъ. „Другой“ кланяется, „другой“ проситъ, унижается... А я? Ну-ка, рѣши: какъ ты думаешь, „другой“ я—а?

— Да полно вамъ, батюшка, томить-то меня жалкими словами! умолялъ Захаръ:— Ахъ, ты Господи!

— Я „другой“! Да развѣ я мечусь, развѣ работаю? Мало ѣмъ, что ли? Худощавъ или жалокъ на видъ? Развѣ не достаетъ мнѣ чего-нибудь? Кажется, подать, сдѣлать—есть кому! Я ни разу не натянулъ себѣ чулокъ на ноги, какъ живу, слава Богу! Стану ли я беспокоиться? Изъ чего мнѣ? И кому я это говорю? Не ты ли съ дѣтства ходилъ за мной? Ты все это знаешь, видѣлъ, что я воспитанъ нѣжно что,



я ни холода, ни голода никогда не терпѣлъ, нужды не зналъ, хлѣба себѣ не зарабатывалъ и вообще чернымъ дѣломъ не занимался. Такъ какъ же это у тебя достало духу равнять меня съ другими? Развѣ у меня такое здоровье, какъ у этихъ „другихъ“? Развѣ я могу все это дѣлать и перенести?

Захаръ потерялъ рѣшительно всякую способность понять рѣчь Обломова; но губы у него вздулись отъ внутренняго волненія; патетическая сцена гремѣла, какъ туча, надъ головой его. Онъ молчалъ.

— Захаръ! повторилъ Илья Ильичъ.

— Чего изволите? чуть слышно прошипѣлъ Захаръ.

— Дай еще квасу.

Захаръ принесъ квасу, и когда Илья Ильичъ, напившись, отдалъ ему стаканъ, онъ, было, проворно пошелъ къ себѣ.

— Нѣтъ, нѣтъ, ты постой! заговорилъ Обломовъ: — Я спрашиваю тебя: какъ ты могъ такъ горько оскорбить барина, котораго ты ребенкомъ носилъ на рукахъ, которому вѣкъ служишь и который благодѣтельствуетъ тебѣ?

Захаръ не выдержалъ: слово *благодѣтельствуетъ* доказало его! Онъ началъ мигать чаще и чаще. Чѣмъ меньше понималъ онъ, что говорилъ ему въ патетической рѣчи Илья Ильичъ, тѣмъ грустнѣе становилось ему.

— Виноватъ, Илья Ильичъ, началъ онъ сипѣть съ раскаяніемъ:—это я по глупости, право по глупости...

И Захаръ, не понимая, что онъ сдѣлалъ, не зналъ, какой глаголъ употребить въ концѣ своей рѣчи.

— А я, продолжалъ Обломовъ голосомъ оскорбленнаго и неопѣнненнаго по достоинству человѣка: — еще забочусь день и ночь, тружусь, иногда голова горитъ, сердце замираетъ, по ночамъ не спишь, ворочаешься, все думаешь, какъ бы лучше... а о комъ? Для кого? Все для васъ, для

крестьянъ; стало быть, и для тебя. Ты, можетъ быть, думаешь, глядя, какъ я иногда покроюсь совсѣмъ одѣяломъ съ головой, что я лежу какъ пень, да сплю; нѣтъ, не сплю я, а думаю все крѣпкую думу, чтобъ крестьяне не потерпѣли ни въ чемъ нужды, чтобъ не позавидовали чужимъ, чтобъ не плакались на меня Господу Богу на страшномъ судѣ, а молились бы, да поминали меня добромъ. Неблагодарные! съ горькимъ упрекомъ заключилъ Обломовъ.

Захаръ тронулся окончательно послѣдними *жалкими* словами. Онъ началъ понемногу всхлипывать; сипѣнье и хрипѣнье слились въ этотъ разъ въ одну, невозможную ни для какого инструмента ноту, развѣ только для какого нибудь китайскаго гонга, или индѣйскаго там-тама.

— Батюшка, Илья Ильичъ! умоляльонъ:— Полно вамъ! Что вы, Господь съ вами, такое несете! Ахъ ты, Мать Пресвятая Богородица! Какая бѣда вдругъ стряслась неожиданно-негаданно...

— А ты, продолжалъ, не слушая его Обломовъ: — ты бы постыдился выговорить-то! Вотъ какую змѣю отогрѣлъ на груди!

— Змѣя! произнесъ Захаръ, всплеснувъ руками, и такъ приударилъ плачемъ, какъ будто десятка два жуковъ влетѣли и зажуужжали въ комнатѣ.— Когда же я змѣю поминалъ? говорилъ онъ среди рыданій: — Да я и во снѣ-то не вижу ее, поганую!

Оба они перестали понимать другъ друга, а наконецъ каждый и себя.

— Да какъ это языкъ поворотился у тебя? продолжалъ Илья Ильичъ:—А я еще въ планѣ моемъ опредѣлилъ ему особый домъ, огородъ, отсыпной хлѣбъ, назначилъ жалованье! Ты у меня и управляющій, и мажордомъ, и повѣренный по дѣламъ! Мужики тебѣ въ поясъ; всѣ тебѣ: Захаръ Трофимычъ, да Захаръ Трофимычъ! А онъ все еще

недоволенъ, въ „другіе“ пожаловалъ! Вотъ и награда! Славно барина честить!

Захаръ продолжалъ всхлипывать и Илья Ильичъ былъ самъ растроганъ. Увѣщевая Захара, онъ глубоко проникся въ эту минуту сознаниемъ благодарностей, оказанныхъ имъ крестьянамъ, и послѣдніе упреки досказалъ дрожащимъ голосомъ, со слезами на глазахъ.

— Ну, теперь иди съ Богомъ! сказалъ онъ примирительнымъ тономъ Захару. — Да постой, дай еще квасу! Въ горлѣ совсѣмъ пересохло: самъ бы догадался — слышишь, баринъ хрипитъ? До чего довелъ!

— Надѣюсь, что ты понялъ свой проступокъ, говорилъ Илья Ильичъ, когда Захаръ принесъ квасу: — и впередъ не станешь сравнивать барина съ другими. Чтобъ загладить свою вину, ты какъ-нибудь уладь съ хозяиномъ, чтобъ мнѣ не переѣзжать. Вотъ какъ ты бережешь покой барина: разстроилъ совсѣмъ и лишилъ меня какой-нибудь новой, полезной мысли. А у кого отнял? У себя же; для васъ я посвятилъ всего себя, для васъ вышелъ въ отставку, сижу взаперти... Ну, да Богъ съ тобой! Вонъ, три часа бьетъ! Два часа только до обѣда, что успѣешь сдѣлать въ два часа? — Ничего. А дѣла куча. Такъ и быть, письмо отложу до слѣдующей почты, а планъ набросаю завтра. Ну, я теперь прилягу немного: измучился совсѣмъ; ты опусти сторы да затвори меня поплотнѣе, чтобъ не мѣшали; можетъ быть, я съ часикъ и усну; а въ половинѣ пятого разбуди.

Захаръ началъ закупоривать барина въ кабинетъ; онъ, сначала покрылъ его самого и подоткнулъ одѣяло подъ него, потомъ опустилъ сторы, плотно заперъ всѣ двери и ушелъ къ себѣ.

— Чтобъ тебѣ издохнуть, лѣшій этакой! ворчалъ онъ, отирая слѣды слезъ и влѣзая на лежанку:—Право лѣшій!

Особый домъ, огородъ, жалованье! говорилъ Захаръ, понявшій только послѣднія слова. — Мастеръ жалкія-то слова говорить: такъ по сердцу точно ножемъ и рѣжетъ... Вотъ тутъ мой и домъ, и огородъ, тутъ и ноги протяну! говорилъ онъ, съ яростью ударяя по лежанкѣ: — Жалованье! Какъ не приберешь гривенъ да пятакѣвъ къ рукамъ, такъ и табаку не на что купить, и куму нечѣмъ поподчивать! Чтобъ тебѣ пусто было!.. Подумаешь, смерть-тонейдетъ!

Илья Ильичъ легъ на спину, но не вдругъ заснулъ. Онъ думалъ, думалъ, волновался, волновался...

— Два несчастья вдругъ! говорилъ онъ, завертываясь въ одѣяло совсѣмъ съ головой:—Прошу устоять!

Но въ-самомъ-то дѣлѣ, эти два *несчастья*, то-есть, зло-вѣщее письмо старосты и переѣздъ на новую квартиру, переставали тревожить Обломова и поступали уже только въ рядъ безпокойныхъ воспоминаній.

„До бѣдъ, которыми грозитъ староста, еще далеко“, думалъ онъ: „до тѣхъ-поръ многое можетъ перемѣниться: авось дожди поправятъ хлѣбъ; можетъ-быть, недоимки староста пополнить; бѣжавшихъ мужиковъ „водворять на мѣсто жительства“, какъ онъ пишетъ“.

„И куда это они ушли, эти мужики?“ думалъ онъ и углубился болѣе въ художественное разсмотрѣніе этого обстоятельства. „Поди, чай, ночью ушли, по сырости, безъ хлѣба. Гдѣ же они уснутъ? Неужели въ лѣсу? Вѣдь не сидится же! Въ избѣ хоть и скверно пахнетъ, да тепло по-крайней-мѣрѣ...“

„И что тревожиться?“ думалъ онъ. „Скоро и планъ подспѣетъ —чего жъ пугаться заранѣе? Эхъ, я...“

Мысль о переѣздѣ тревожила его нѣсколько - болѣе. Это было свѣжее, позднѣйшее *несчастье*; но въ успокоительномъ духѣ Обломова и для этого факта наступала



уже исторія. Хотя онъ смутно и предвидѣлъ неизбежность переѣзда, тѣмъ-болѣе, что тутъ вмѣшался Тарантьевъ, но онъ мысленно отдалялъ это тревожное событіе своей жизни хоть на недѣлю, и вотъ уже выиграна цѣлая недѣля спокойствія!

„А, *можетъ-быть*, еще Захаръ постарается такъ уладить, что и вовсе-ненужно будетъ переѣзжать, *авось* обойдутся: отложить до будущаго лѣта, или совсѣмъ отмѣнить перестройку: ну, *какъ-нибудь* да сдѣлаютъ! Нельзя же въ самомъ-дѣлѣ... переѣзжать“!..

Такъ онъ попеременно волновался и успокоивался, и наконецъ, въ этихъ примирительныхъ и успокоительныхъ словахъ *авось, можетъ-быть и какъ-нибудь* Обломовъ нашелъ и на этотъ разъ, какъ находилъ всегда, цѣлый ковчегъ надеждъ и утѣшеній, какъ въ ковчегѣ завѣта отцовъ нашихъ, и въ настоящую минуту онъ успѣлъ огрaдить себя ими отъ двухъ несчастій.

Уже легкое, пріятное онѣмѣніе пробѣжало по членамъ его и начало чуть-чуть туманить сномъ его чувства, какъ первые, робкіе морозцы туманятъ поверхность водъ; еще минута — и сознаніе улетѣло бы Богъ-вѣсть куда, но вдругъ Илья Ильичъ очнулся и открылъ глаза.

— А вѣдь я не умылся! Какъ же это? Да и ничего не сдѣлалъ, прошепталъ онъ: — Хотѣлъ изложить планъ на бумагу и не изложилъ, къ исправнику не написалъ, къ губернатору тоже, къ домовому хозяину началъ письмо и не кончилъ, счетовъ не повѣрилъ и денегъ не выдалъ — утро такъ и пропало!

Онъ задумался...

„Что жъ это такое? А *другой* бы все это сдѣлалъ“? мелькнуло у него въ головѣ: „Другой, другой... Что же это такое *другой*“?

Онъ углубился въ сравненіе себя съ „другимъ“. Онъ



началь думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсѣмъ-противоположная той, которую онъ далъ Захару о другомъ.

Онъ долженъ былъ признать, что другой успѣлъ бы написать всѣ письма, такъ что *который* и *что* ни разу не столкнулись бы между собою, другой и переѣхалъ бы на новую квартиру, и планъ исполнилъ бы, и въ деревню съѣздить бы...

“Вѣдь и я бы могъ все это...” думалось ему: “вѣдь я умѣю, кажется, и писать; писывалъ, бывало, не то-что письма, а помудренѣе этого! Куда же все это дѣлось? И переѣхать что за штука? Стоить захотѣть! “Другой”, и халата никогда не надѣваетъ, прибавилось еще къ характеристикѣ другаго; “другой”,... тутъ онъ зѣвнулъ... “почти не спить... другой тѣшится жизнью, вездѣ бываетъ, все видитъ, до всего ему дѣло... А я! я... не “другой”! уже съ грустью сказалъ онъ и впалъ въ глубокую думу. Онъ даже высвободилъ голову изъ-подъ одеяла.

Настала одна изъ ясныхъ сознательныхъ минутъ въ жизни Обломова.

Какъ страшно стало ему, какъ вдругъ въ душѣ его возникло живое и ясныхъ представленіе о человѣческой судьбѣ и назначеніи, и когда мелькнула параллель между этимъ назначеніемъ и собственной его жизнью, когда въ головѣ просыпались, одинъ за другимъ, и беспорядочно, пугливо носились, какъ птицы, пробужденныя внезапнымъ лучемъ солнца въ дремлющей развалинѣ, разные жизненные вопросы.

Ему грустно и больно стало за свою неразвитость, обстановку въ ростѣ нравственныхъ силъ, за тяжесть, мѣшающую всему; и зависть грызла его, что другіе такъ полно и широко живутъ, а у него какъ-будто тяжелый камень брошенъ на узкой и жалкой тропѣ его существованія.

Въ робкой душѣ его выработывалось мучительное сознание, что многія стороны его натуры не пробуждались совѣмъ, другія были чуть-чуть тронуты, и ни одна не разработана до конца.

А между-тѣмъ, онъ болѣзненно чувствовалъ, что въ немъ зарыто, какъ въ могилѣ, какое-то хорошее, свѣтлое начало, можетъ-быть, теперь уже умершее, или лежитъ оно, какъ золото, въ нѣдрахъ горы, и давно бы пора этому золоту быть ходячей монетой.

Но глубоко и тяжело заваленъ кладъ дрянью, наноснымъ соромъ. Кто-то будто укралъ и закопалъ въ собственной его душѣ принесенныя ему въ даръ міромъ и жизнью сокровища. Что-то помѣшало ему ринуться на поприще жизни и летѣть по нему на всѣхъ парусахъ ума и воли. Какой-то тайный врагъ наложилъ на него тяжелую руку въ началѣ пути и далеко отбросилъ отъ прямого человѣческаго назначенія...

И ужъ не выбраться ему, кажется, изъ глуши и дичи на прямую тропинку. Лѣсъ кругомъ его и въ душѣ все чаще и темнѣе; тропинка зарастаетъ болѣе и болѣе; свѣтлое сознание просыпается все рѣже, и только на мгновение будить спящія силы. Умъ и воля давно парализованы и, кажется, безвозвратно.

Событія его жизни умельчились до микроскопическихъ размѣровъ, но и съ тѣми событіями не справится онъ; онъ не переходитъ отъ одного къ другому, а перебрасывается ими, какъ съ волны на волну; онъ не въ силахъ одному противопоставить упругость воли, или увлечься разумомъ вслѣдъ за другимъ.

Горько становилось ему отъ этой тайной исповѣди передъ самимъ собою. Бесплодныя сожалѣнія о минувшемъ, жгучіе упреки совѣсти язвили его, какъ иглы, и онъ всѣми силами старался свергнуть съ себя бремя этихъ упре-

ковъ, найти виноватаго внѣ себя и на него обратить жало ихъ. Но на кого?..

— Это все... Захаръ! прошепталъ онъ.

Вспомнилъ онъ подробности сцены съ Захаромъ и лицо его вспыхнуло цѣлымъ пожаромъ стыда.

«Что еслибъ кто-нибудь слышалъ это?..», думалъ онъ, цѣпенѣя отъ этой мысли. «Слава Богу, что Захаръ не сѣумѣетъ пересказать никому; да и не повѣрятъ; слава Богу!»

Онъ вздыхалъ, проклиналъ себя, ворочался съ боку на бокъ, искалъ виноватаго и не находилъ. Охи и вздохи его достигли даже до ушей Захара.

— Экъ его тамъ съ квасу-то раздуваетъ! съ сердцемъ ворчалъ Захаръ.

«Отчего же это я такой?» почти со слезами спросилъ себя Обломовъ и спряталъ опять голову подъ одѣяло: «право?»

Поискавъ бесполезно враждебнаго начала, мѣшающаго ему жить какъ слѣдуетъ, какъ живутъ «другіе», онъ вздохнулъ, закрылъ глаза, и чрезъ нѣсколько минутъ дремота опять начала понемногу оковывать его чувства.

— И я бы тоже... хотѣлъ... говорилъ онъ, мигая съ трудомъ, что-нибудь такое... Развѣ природа ужъ такъ обидѣла меня... Да нѣтъ, слава Богу... жаловаться нельзя...

За этимъ послышался примирительный вздохъ. Онъ переходилъ отъ волненія къ нормальному своему состоянію, спокойствію и апатіи.

— Видно ужъ такъ судьба... Что жъ мнѣ тутъ дѣлать?.. едва шепталъ онъ, одолѣваемый сномъ.

«Яко двѣ тысячи поменѣе доходу...», сказалъ онъ вдругъ громко въ бреду. — Сейчасъ, сейчасъ, погоди... и очнулся вполонину.

— Однако... любопытно бы знать... отчего я... такой?... сказалъ онъ опять шопотомъ. Вѣки у него закрылись совсѣмъ.— Да, отчего?... Должно быть... это... оттого... силлся выговорить онъ и не выговорилъ.

Такъ онъ и не до думался до причины; языкъ и губы мгновенно замерли на полусловѣ и остались, какъ были полуоткрыты. Вмѣсто слова, слышался еще вздохъ, и вслѣдъ затѣмъ начало раздаваться ровное храпѣнье безмятежно-спящаго человѣка.

Сонъ остановилъ медленный и лѣнивый потокъ его мыслей и мгновенно перенесъ его въ другую эпоху, къ другимъ людямъ, въ другое мѣсто, куда перенесемся за нимъ и мы съ читателемъ въ слѣдующей главѣ.

## IX.

### СОНЪ ОБЛОМОВА.

Гдѣ мы? Въ какой благословенный уголокъ земли перенесъ насъ сонъ Обломова? Что за чудный край!

Нѣтъ, правда, тамъ моря, нѣтъ высокихъ горъ, скалъ и пропастей, ни дремучихъ лѣсовъ—нѣтъ ничего грандіознаго, дикаго и угрюмаго.

Да и зачѣмъ оно, это дикое и грандіозное? Море, напримеръ? Богъ съ нимъ! Оно наводитъ только грусть на человѣка: глядя на него хочется плакать. Сердце смущается робостью передъ необозримой пеленой водъ, и не на чемъ отдохнуть взгляду, измученному однообразіемъ безконечной картины.

Ревъ и бѣшеные раскаты валовъ не нѣжатъ слабого слуха: они все твердятъ свою, отъ начала міра одну и ту же пѣснь, мрачнаго и неразгаданнаго содержанія; и все слышится въ ней одинъ и тотъ же стонъ, однѣ и тѣ же жалобы будто обреченнаго на муку чудовища, да чьи-



то пронзительные, зловѣщіе голоса. Птицы не щебечутъ вокругъ; только безмолвныя чайки, какъ осужденныя, уныло носятся у побережья и кружатся надъ водой.

Безсиленъ ревъ звѣря передъ этими воплями природы, ничтоженъ и голосъ человѣка, и самъ человѣкъ такъ малъ, слабъ, такъ незамѣтно исчезаетъ въ мелкихъ подробностяхъ широкой картины! Отъ этого, можетъ - быть, такъ и тяжело ему смотрѣть на море.

Нѣтъ, Богъ съ нимъ, съ моремъ! Самая тишина и неподвижность его не раждаютъ отраднаго чувства въ душѣ: въ едва-замѣтномъ колебаніи водяной массы человѣкъ все видитъ ту же необъятную, хотя и спящую силу, которая подъ-часъ такъ ядовито издѣвается надъ его гордой волей и такъ глубоко хоронитъ его отважные замыслы, всѣ его хлопоты и труды.

Горы и пропасти созданы тоже не для увеселенія человѣка. Онѣ грозны, страшны, какъ выпущенные и устремленные на него когти и зубы дикаго звѣря; онѣ слишкомъ живо напоминаютъ намъ бранный составъ нашъ и держать въ страхѣ и тоскѣ за жизнь. И небо тамъ, надъ скалами и пропастями, кажется такимъ далекимъ и недосыгаемымъ, какъ будто оно отступилось отъ людей.

Не таковъ мирный уголокъ, гдѣ вдругъ очутился нашъ герой.

Небо тамъ, кажется, напротивъ, ближе жметъ къ землѣ, но не съ тѣмъ, чтобъ метать сильнѣе стрѣлы, а развѣ только, чтобъ обнять ее покрѣпче, съ любовью: оно распростерлось такъ невысоко надъ головой, какъ родительская надежная кровля, чтобъ уберечь, кажется, избранный уголокъ отъ всякихъ невзгодъ.

Солнце тамъ ярко и жарко свѣтитъ около полугода и потомъ удаляется оттуда не вдругъ, точно нѣхотя, какъ-будто оборачивается назадъ взглянуть еще разъ или два на



любимое мѣсто и подарить ему осенью, среди ненастья, ясный, теплый день.

Горы тамъ какъ-будто только модели тѣхъ страшныхъ гдѣ-то воздвигнутыхъ горъ, которыя ужасають воображеніе. Это рядъ отлогихъ холмовъ, съ которыхъ пріятно кататься, рѣзвясь, на спинѣ, или, сидя на нихъ, смотрѣть въ раздумьи на заходящее солнце.

Рѣка бѣжитъ весело, шая и играя; она, то разольется въ широкой прудъ, то стремится быстрой нитью, или при-смирѣетъ, будто задумавшись, и чуть-чуть ползетъ по камешкамъ, выпуская изъ себя по сторонамъ рѣзвые ручьи, подъ журчанье которыхъ сладко дремлетъ.

Весь уголокъ верстъ на пятнадцать или на двадцать вокругъ представлялъ рядъ живописныхъ этюдъ, веселыхъ, улыбающихся пейзажей. Песчаные и отлогіе берега свѣтлой рѣчки, подбирающійся съ холма къ водѣ мелкій кустарникъ, искривленный оврагъ съ ручьемъ на днѣ и березовая роща — все какъ-будто было нарочно прибрано одно къ одному и мастерски нарисовано.

Измученное волненіями или вовсе незнакомое съ ними сердце такъ и просится спрятаться въ этотъ забытый всѣми уголокъ и жить никому невѣдомымъ счастьемъ. Все сулить тамъ покойную, долговременную жизнь до желтизны волосъ, и незамѣтную, сну подобную смерть.

Правильно и невозмутимо совершается тамъ годовой кругъ.

По указанію календаря, наступить въ мартѣ весна, побѣгутъ грязные ручьи съ холмовъ, оттаетъ земля и задымится теплымъ паромъ; скинетъ крестьянинъ полушубокъ, выйдетъ въ одной рубашкѣ на воздухъ и, прикрывъ глаза рукой, долго любуется солнцемъ, съ удовольствіемъ пожимая плечами; потомъ онъ потянетъ опрокинутую вверхъ дномъ телегу, то за одну, то за другую оглоблю, или ос-

мотрять и ударить ногой праздной лежащую подъ навѣсомъ соху, готовясь къ обычнымъ трудамъ.

Не возвращаются внезапныя вьюги весной, не засыпаютъ поля и не ломаютъ снѣгомъ деревьевъ.

Зима, какъ неприступная, холодная красавица, выдерживаетъ свой характеръ вплоть до узаконенной поры тепла; не дразнить неожиданными оттепелями и не гнетъ въ три дуги неслыханными морозами; все идетъ обычнымъ, предписаннымъ природою общимъ порядкомъ.

Въ ноябрѣ начинается снѣгъ и морозъ, который къ Крещенью усиливается до-того, что крестьянинъ, выйдя на минуту изъ избы, воротится непременно съ инеемъ на бородѣ; а въ февралѣ чуткій носъ ужъ чувствуетъ въ воздухѣ мягкое вѣянье близкой весны.

Но лѣто, лѣто особенно-упоительно въ томъ краю. Тамъ надо искать свѣжаго, сухаго воздуха, напоеннаго—не лимономъ и не лавромъ, а просто запахомъ полыни, сосны и черемухи; тамъ искать ясныхъ дней, слегка-жгучихъ, но непалящихъ лучей солнца и почти въ теченіе трехъ мѣсяцевъ безоблачнаго неба.

Какъ пойдутъ ясные дни, то и длятся недѣли три-четыре; и вечеръ тепелъ тамъ, и ночь душна. Звѣзды такъ привѣтливо, такъ дружески мигаютъ съ небесъ.

Дождь ли пойдетъ—какой благотворный лѣтній дождь! Хлынетъ бойко, обильно, весело запрыгаетъ, точно крупныя и жаркія слезы внезапно- обрадованнаго человѣка; а только перестанетъ—солнце уже опять съ ясною улыбкой любви осматриваетъ и сушить поля и пригорки: и вся страна опять улыбается счастьемъ въ отвѣтъ солнцу.

Радостно привѣтствуетъ дождь крестьянинъ:—Дождичекъ вымочить, солнышко высушить! говорить онъ, подставляя съ наслажденіемъ подъ теплый ливень лицо, плечи и спину.

Грозы не страшны, а только благотворны тамъ: бывають постоянно въ одно и то же установленное время, не забывая почти никогда Ильина-дня, какъ-будто для того, чтобъ поддержать извѣстное преданіе въ народѣ. И число и сила ударовъ, кажется, всякій годъ одни и тѣ же, точно какъ-будто изъ казны отпускалась на годъ на весь край извѣстная мѣра электричества.

Ни страшныхъ бурь, ни разрушеній не слышать въ томъ краю.

Въ газетахъ ни разу никому не случилось прочесть чего-нибудь подобнаго объ этомъ благословенномъ Богомъ уголке. И никогда бы ничего и не было напечатано, и не слышали бы про этотъ край, еслибъ только крестьянская вдова Марина Кулькова, 28-ми лѣтъ, не родила заразъ четырехъ младенцевъ, о чемъ уже умолчать никакъ было нельзя.

Не наказывалъ Господь той стороны ни египетскими, ни простыми язвами. Никто изъ жителей не видалъ и не помнить никакихъ страшныхъ небесныхъ знаменій, ни шаровъ огненныхъ, ни внезапной темноты; не водится тамъ ядовитыхъ гадовъ; саранча не залетаетъ туда; нѣтъ ни львовъ рыкающихъ, ни тигровъ ревущихъ, ни даже медвѣдей и волковъ, потому-что нѣтъ лѣсовъ. По полямъ и по деревнѣ бродятъ только въ обилии коровы жующія, овцы блѣющія и куры кудахтающія.

Богъ-знаетъ, удовольствовался ли бы поэтъ или мечтатель природой мирнаго уголка. Эти господа какъ извѣстно, любятъ засматриваться на луну, да слушать щелканье соловьевъ. Любятъ они луну-кокетку, которая бы наряжалась въ палевыя облака, да сквозила таинственно черезъ вѣтви деревъ, или сыпала снопы серебряныхъ лучей въ глаза своимъ поклонникамъ.

А въ этомъ краю никто и не зналъ, что за луна такая— всѣ называли ее мѣсяцомъ. Она какъ-то добродушно, во

всѣ глаза смотрѣла на деревни и поле и очень походила на мѣдный, вычищенный тазъ.

Напрасно поэтъ сталъ бы глядѣть восторженными глазами на нее: она такъ же бы простодушно глядѣла и на поэта, какъ круглолицая деревенская красавица глядитъ въ отвѣтъ на страстные и краснорѣчивые взгляды городского волокиты.

Соловьевъ то же не слышать въ томъ краю, можетъ-быть, оттого, что не водилось тамъ тѣнистыхъ пріютовъ и розъ; но за-то какое обиліе перепеловъ! Лѣтомъ, при уборкѣ хлѣба, мальчишки ловятъ ихъ руками.

Да не подумаютъ, однакожъ, чтобъ перепела составляли тамъ предметъ гастрономической роскоши—нѣтъ, такое развращеніе не проникло въ нравы жителей того края: перепелъ—птица, уставомъ въ пищу не показанная. Она тамъ услаждаетъ людской слухъ пѣніемъ: оттого почти въ каждомъ дому подъ кровлей, въ нитяной клѣткѣ, виситъ перепелъ.

Поэтъ и мечтатель не остались бы довольны даже общимъ видомъ этой скромной и незатѣйливой мѣстности. Не удалось бы имъ тамъ видѣть какого-нибудь вечера въ швейцарскомъ или шотландскомъ вкусѣ, когда вся природа— и лѣсъ, и вода, и стѣны хижинъ, и песчаные холмы— все горитъ точно багровымъ заревомъ; когда по этому багровому фону рѣзко оттѣняется ѣдущая по песчаной, извилистой дорогѣ кавалькада мужчинъ, сопровождающихъ какой-нибудь лэди въ прогулкахъ къ угрюмой развалинѣ и поспѣшающихъ въ крѣпкій замокъ, гдѣ ихъ ожидаетъ эпизодъ о войнѣ двухъ розъ, рассказанный дѣдомъ, дикая коза на ужинѣ, да пропѣтая молодою миссъ, подъ звуки лютни, баллада—картины, которыми такъ богато населило наше воображеніе перо Вальтера Скотта.

Нѣтъ, этого ничего не было въ нашемъ краю.



Какъ все тихо, все сонно въ трехъ-четырехъ деревенькахъ, составляющихъ этотъ уголокъ! Онѣ лежали недалеко другъ отъ друга и были какъ-будто случайно брошены гигантской рукой и рассыпались въ разныя стороны, да такъ съ-тѣхъ-поръ и остались.

Какъ одна изба попала на обрывъ оврага, такъ и виситъ тамъ съ незапамятныхъ временъ, стоя одной половиной на воздухѣ и подпираясь тремя жердями. Три-четыре поколѣнія тихо и счастливо прожили въ ней.

Кажется, курицѣ страшно бы войти въ нее, а тамъ живетъ съ женой Онисимъ Сусловъ, мужчина солидный, который не устаетъ во весь ростъ въ своемъ жилищѣ.

Не всякій и съ умѣть войти въ избу къ Онисиму; развѣ только-что посѣтитель упроситъ ее *стать къ мѣсу задомъ, а къ нему передомъ*.

Крыльцо висѣло надъ оврагомъ, и чтобъ попасть на крыльцо ногой, надо было одной рукой ухватиться за траву, другой за кровлю избы и потомъ шагнуть прямо на крыльцо.

Другая изба прилѣпилась къ пригорку, какъ ласточкино гнѣздо; тамъ три очутились случайно рядомъ, а двѣ стоятъ на самомъ днѣ оврага.

Тихо и сонно все въ деревнѣ: безмолвныя избы отворены настежь; не видно ни души; однѣ мухи тучами летаютъ и жужжать въ духотѣ.

Войдя въ избу, напрасно станешь кликать громко: мертвое молчаніе будетъ отвѣтомъ: въ рѣдкой избѣ отзовется болѣзненнымъ стономъ, или глухимъ кашлемъ старуха, доживающая свой вѣкъ на печи, или появится изъ-за перегородки босой, длинноволосый, трехлѣтній ребенокъ, въ одной рубашонкѣ, молча, пристально поглядитъ на вошедшаго и робко спрячется опять.



Та же глубокая тишина и миръ лежатъ и на поляхъ; только кое-гдѣ, какъ муравей, гомозится на черной нивѣ палимый зноемъ пахарь, налегая на соху и обливаясь потомъ.

Тишина и невозмутимое спокойствіе царствуютъ и въ нравахъ людей въ томъ краю. Ни грабежей, ни убійствъ, никакихъ страшныхъ случайностей не бывало тамъ; ни сильныя страсти, ни отважныя предпріятія не волновали ихъ.

И какія бы страсти и предпріятія могли волновать ихъ? Всякій зналъ тамъ самого себя. Обитатели этого края далеко жили отъ другихъ людей. Ближайшія деревни и уѣздный городъ были въ верстахъ въ двадцати-пяти и тридцати.

Крестьяне въ извѣстное время возили хлѣбъ на ближайшую пристань къ Волгѣ, которая была ихъ Колхидой и Геркулесовыми Столпами, да разъ въ годъ ѣздили нѣкоторые на ярмарку, и болѣе никакихъ сношеній ни съ кѣмъ не имѣли.

Интересы ихъ были сосредоточены на нихъ самихъ, не перекрещивались и не соприкасались ни съ чьими.

Они знали, что въ восьмидесяти верстахъ отъ нихъ была „губернія“, т. е. губернский городъ, но рѣдкіе ѣзжали туда; потомъ знали, что подальше, тамъ, Саратовъ или Нижній; слыхали, что есть Москва и Питеръ, что за Питеромъ живутъ французы или нѣмцы, а далѣе уже начинался для нихъ, какъ для древнихъ, темный міръ, неизвѣстныя страны, населенныя чудовищами, людьми о двухъ головахъ, великанами; тамъ слѣдовалъ мракъ — и наконецъ, все оканчивалось той рыбой, которая держитъ на себѣ землю.

И какъ уголокъ ихъ былъ почти-непроѣзжій, то и неоткуда было почерпнуть новѣйшихъ извѣстій о томъ, что дѣлается на бѣломъ свѣтѣ: обозники съ деревянной посу-

дой жили только въ двадцати верстахъ и знали не больше ихъ. Не съ чѣмъ даже было сличить имъ своего житья-бытья: хорошо ли они живутъ, нѣтъ ли; богаты ли они, бѣдны ли; можно ли было чего еще пожелать, что есть у другихъ.

Счастливые люди жили, думая, что иначе и не должно и не можетъ быть, увѣренные, что и всѣ другіе живутъ точно также, и что жить иначе—грѣхъ.

Они бы и не повѣрили, еслибъ сказали имъ, что другіе какъ-нибудь иначе пахутъ, сѣютъ, жнутъ, продаютъ. Какія же страсти и волненія могли быть у нихъ?

У нихъ, какъ и у всѣхъ людей, были и заботы, и слабости, внося подати или оброка, лѣнь и сонъ; но все это обходилось имъ дешево, безъ волненій крови.

Въ послѣднія пять лѣтъ, изъ нѣсколькихъ сотъ душъ не умеръ никто, не-то-что насильственною, даже естественною смертию.

А если кто отъ старости, или отъ какой-нибудь застарѣлой болѣзни и почилъ вѣчнымъ сномъ, то тамъ долго послѣ того не могли надивиться такому необыкновенному случаю.

Между-тѣмъ, имъ нисколько не показалось удивительно, какъ это, напримѣръ, кузнецъ Тарасъ чуть-было собственноручно не запарился до смерти въ землянкѣ, до-того, что надо было отливать его водой.

Изъ преступленій одно, именно: кража гороху, моркови и рѣпы по огородамъ, было въ большомъ ходу, да однажды вдругъ исчезли два поросенка и курица—происшествіе, возмущившее весь околотокъ и приписанное единогласно проходившему наканунѣ обозу съ деревянной посудой на ярмарку. А-то вообще случайности всякаго рода были весьма-рѣдки.

Однажды, впрочемъ, еще найденъ былъ лежащій, за

околицей, въ канавѣ, у моста, видно, отставшій отъ проходившей въ городъ артели человѣкъ.

Мальчишки первые замѣтили его и съ ужасомъ прибѣжали въ деревню съ вѣстью о какомъ-то страшномъ змѣѣ, или оборотнѣ, который лежитъ въ канавѣ, прибавивъ, что онъ погнался за ними и чуть не съѣлъ Кузьку.

Мужики, поудалѣе вооружились вилами и топорами, и гурьбой пошли къ канавѣ.

— Куда васъ несетъ? унимали старики: — Аль шея-то крѣпка? Чего вамъ надо? Не замайте: васъ не гонять.

Но мужики пошли и сажень за пятьдесятъ до мѣста стали окликать чудовище разными голосами: отвѣта не было; они остановились; потомъ опять двинулись.

Въ канавѣ лежалъ мужикъ, опершись головой въ пригорокъ; около него валялись мѣшокъ и палка, на которой навѣшаны были двѣ пары лаптей.

Мужики не рѣшались ни подходить близко, ни трогать.

— Эй! Ты, братъ! кричали они поочереды, почесывая, кто затылокъ, кто спину:—Какъ тамъ тебя? Эй, ты! Что тебѣ тутъ?

Прохожій сдѣлалъ движеніе, чтобъ приподнять голову, но не могъ: онъ, повидимому, былъ нездоровъ или очень утомленъ.

Одинъ рѣшился-было тронуть его вилой.

— Не замай! Не замай! закричали многіе: — Почемъ знать; какой онъ: ишь, не баеъ ничего; можетъ-быть, какой-нибудь такой... Не замайте его, рябятя!

— Пойдемъ, говорили нѣкоторые: — право- слово, пойдемъ: что онъ намъ, дядя что ли? Только бѣды съ нимъ!

И всѣ ушли назадъ, въ деревню, рассказавъ старикамъ, что тамъ лежитъ нездѣшній, ничего не баеъ и, Богъ его вѣдаетъ, что онъ тамъ...

— Нездѣшній, такъ и не замайте! говорили старики,

сидя на завалинкѣ и положивъ локти на колѣнки:—Пусть его-себѣ! И ходить не-по-что было вамъ!

Таковъ былъ уголокъ, куда вдругъ перенесся во снѣ Обломовъ.

Изъ трехъ или четырехъ разбросанныхъ тамъ деревень, была одна Сосновка, другая Вавиловка, въ одной верстѣ другъ отъ друга.

Сосновка и Вавиловка были наслѣдственной отчиной рода Обломовыхъ и оттого извѣстны были подъ общимъ именемъ Обломовки.

Въ Сосновкѣ была господская усадьба и резиденція. Верстахъ въ пяти отъ Сосновки лежало сельцо Верхлѣво, тоже принадлежавшее нѣкогда фамиліи Обломовыхъ и давно перешедшее въ другія руки, и еще нѣсколько причисленныхъ къ этому же селу, кое-гдѣ разбросанныхъ избъ.

Село принадлежало богатому помѣщику, который никогда не показывался въ свое имѣніе: имъ завѣдывалъ управляющій изъ нѣмцевъ.

Вотъ и вся географія этого уголка.

Илья Ильичъ проснулся утромъ въ своей маленькой постелькѣ. Ему только семь лѣтъ. Ему легко, весело.

Какой онъ хорошенькій, красненькій, полный! Щечки такія кругленькія, что иной шалунъ надуется нарочно, а такихъ не сдѣлаетъ.

Няня ждетъ его пробужденія. Она начинаетъ натягивать ему чулочки; онъ не дается, шалитъ, болтаетъ ногами; няня ловитъ его, и оба они хохочутъ.

Наконецъ, удалось ей поднять его на ноги; она умываетъ его, причесываетъ головку и ведетъ къ матери.

Обломовъ, увидѣвъ давно-умершую мать, и во снѣ затрепеталъ отъ радости, отъ жаркой любви къ ней: у него, у соннаго, медленно выплыли изъ-подъ рѣсницъ и стали неподвижно двѣ теплыя слезы.



Мать осыпала его страстными поцѣлуями, потомъ осмотрѣла его жадными, заботливыми глазами, не мутны ли глазки, спросила, не болитъ ли что-нибудь, разспросила няньку, покойно ли онъ спалъ, не просыпался ли ночью, не метался ли во снѣ, не было ли у него жару? Потомъ взяла его за руку и подвела его къ образу.

Тамъ, ставъ на колѣни и обнявъ его одной рукой, подсказывала она ему слова молитвы.

Мальчикъ разсѣяннo повторялъ ихъ, глядя въ окно, откуда лилась въ комнату прохлада и запахъ сирени.

— Мы, маменька, сегодня пойдемъ гулять? вдругъ спрашивалъ онъ среди молитвы.

— Пойдемъ, душенька, торопливо говорила она, не отводя отъ иконы глазъ и спѣша договорить святыя слова.

Мальчикъ вяло повторялъ ихъ, но мать влагала въ нихъ всю свою душу.

Потомъ шли къ отцу, потомъ къ чаю.

Около чайнаго стола Обломовъ увидалъ живущую у нихъ престарѣлую тѣтку, восьмидесяти лѣтъ, непрерывно-ворчавшую на свою дѣвчонку, которая, трясая отъ старости головой, прислуживала ей, стоя за ея стуломъ. Тамъ и три пожилыя дѣвушки, дальнія родственницы отца его, и немного-помѣшанный деверь его матери, и помѣщикъ семи душъ, Чекменевъ, гостившій у нихъ, и еще какія-то старушки и старички.

Весь этотъ штатъ и свита дома Обломовыхъ подхватили Илью Ильича и начали осыпать его ласками и похвалами; онъ едва успѣвалъ утирать слѣды непрошенныхъ поцѣлуевъ.

Послѣ того начиналось кормленіе его булочками, сухариками, сливочками.

Потомъ мать, приласкавъ его еще, отпускала гулять въ садъ, по двору, на лугъ, съ строгимъ подтвержденіемъ нянь-



къ не оставлять ребенка одного, не допускать къ лошадямъ, къ собакамъ, къ козлу, не уходить далеко отъ дома, а главное, не пускать его въ оврагъ, какъ самое страшное мѣсто въ околоткѣ, пользовавшееся дурною репутаціей.

Тамъ нашли однажды собаку, признанною бѣшеною, потому только, что она бросилась отъ людей прочь, когда на нее собрались съ вилами и топорами, исчезла гдѣ-то за горой; въ оврагъ свозили падалъ; въ оврагѣ предполагались и разбойники, и волки, и разныя другія существа, которыхъ или въ томъ краю, или совсѣмъ на свѣтѣ не было.

Ребенокъ не дождался предостереженій матери: онъ ужь давно на дворѣ.

Онъ съ радостнымъ изумленіемъ, какъ-будто въ первый разъ, осмотрѣлъ и обѣжалъ кругомъ родительскій домъ, съ покривившимися на бокъ воротами, съ сѣвшей на серединѣ деревянной кровлей, на которой росъ нѣжный зеленый мохъ, съ шатающимся крыльцомъ, разными пристройками и настройками и съ запущеннымъ садомъ.

Ему страсть хочется взбѣжать на огибавшую весь домъ висячую галерею, чтобъ посмотреть оттуда на рѣчку; но галерея ветха, чуть-чуть держится, и по ней дозволяется ходить только „людямъ“, а господа не ходять.

Онъ не внималъ запрещеніямъ матери и уже направился было къ соблазнительнымъ ступенямъ, но на крыльцѣ показалась няня и кое-какъ поймала его.

Онъ бросился отъ нея къ сѣновалу, съ намѣреніемъ взобраться туда по крутой лѣстницѣ, и едва она успѣвала дойти до сѣновала, какъ ужь надо было спѣшить разрушать его замыслы влѣзть на голубятню, проникнуть на скотный дворъ и, чего Боже сохрани!—въ оврагъ.

— Ахъ ты, Господи, что за ребенокъ, за юла за такая! Да посидишь ли ты смирно, сударь? Стыдно! говорила нянька.

И цѣлый день, и всѣ дни, и ночи няни наполнены были суматохой, бѣготней: то пыткой, то живой радостью за ребенка, то страхомъ, что онъ упадетъ и расшибетъ носъ, то умилениемъ отъ его непритворной дѣтской ласки, или смутной тоской за отдаленную его будущность: этимъ только и билось сердце ея, этими волненіями подогрѣвалась кровь старухи, и поддерживалась кое-какъ ими сонная жизнь ея, которая безъ того, можетъ быть, угасла бы давнымъ-давно.

Не все рѣзвъ, однакожь, ребенокъ: онъ иногда вдругъ присмирѣетъ, сидя подлѣ няни, и смотритъ на все такъ пристально. Дѣтскій умъ его наблюдаетъ всѣ совершающіяся передъ нимъ явленія; они западаютъ глубоко въ душу его, потомъ растутъ и зрѣютъ вмѣстѣ съ нимъ.

Утро великолѣпное; въ воздухѣ прохладно; солнце еще невысоко. Отъ дома, отъ деревьевъ, и отъ голубятни, и отъ галлерей — отъ всего побѣжали далеко длинныя тѣни. Въ саду и на дворѣ образовались прохладные уголки, манящіе къ задумчивости и сну. Только въ дали поле съ рожью точно горитъ огнемъ, да рѣчка такъ блеститъ и сверкаетъ на солнцѣ, что глазамъ больно.

— Отчего это, няня, тутъ темно, а тамъ свѣтло, а уже будетъ и тамъ свѣтло? спрашивалъ ребенокъ.

— Оттого, батюшка, что солнце идетъ на встрѣчу мѣсяцу и не видитъ его, такъ и хмурится; а уже какъ завидитъ издали, такъ и просвѣтлѣетъ.

Задумывается ребенокъ и все смотреть вокругъ: видитъ онъ, какъ Антипъ поѣхалъ за водой, а по землѣ, рядомъ съ нимъ, шелъ другой Антипъ, вдесятеро больше настоящаго, и бочка казалась съ домъ величиной, а тѣнь лошади покрыла собой весь лугъ, тѣнь шагнула только два раза по лугу и вдругъ двинулась за гору, а Антипъ еще и со двора не успѣлъ съѣхать.

Ребенокъ тоже шагнулъ раза два, еще шагъ — и онъ уйдетъ за гору.

Ему хотѣлось бы къ горѣ, посмотрѣть, куда дѣлась лошадь. Онъ къ воротамъ, но изъ окна слышался голосъ матери.

— Няня! Не видишь, что ребенокъ выбѣжалъ на солнышко! Уведи его въ холодокъ; напечетъ ему головку — будетъ болѣть, тошно сдѣлается, кушать не станетъ. Онъ этакъ у тебя въ оврагъ уйдетъ.

— У! баловень! тихо ворчитъ нянька, утаскивая его на крыльцо.

Смотрить ребенокъ и наблюдаетъ острымъ и переимчивымъ взглядомъ, какъ и что дѣлаютъ взрослые, чему посвящаютъ они утро.

Ни одна мелочь, ни одна черта не ускользаетъ отъ пытливаго вниманія ребенка; неизгладимо врѣзывается въ душу картина домашняго быта; напитывается мягкій умъ живыми примѣрами и бессознательно чертитъ программу своей жизни по жизни, его окружающей.

Нельзя сказать, чтобъ утро пропадало даромъ въ домѣ Обломовыхъ. Стукъ ножей, рубившихъ котлеты и зелень въ кухнѣ, долеталъ даже до деревни.

Изъ людской слышалось шипѣнье веретена, да тихій, тоненькій голосъ бабы: трудно было распознать, плачетъ ли она, или импровизируетъ заунывную пѣсню безъ словъ.

На дворѣ, какъ только Антипъ воротился съ бочкой, изъ разныхъ угловъ поползли къ ней, съ ведрами, корытами и кувшинами, бабы, кучера.

А тамъ, старуха пронесетъ изъ амбара въ кухню чашку съ мукой да кучу яицъ; тамъ поваръ вдругъ выплеснетъ воду изъ окошка и обольетъ Арапку, которая цѣлое утро, не сводя глазъ, смотритъ въ окно, ласково вилая хвостомъ и облизываясь.

Самъ Обломовъ старикъ тоже не безъ занятій. Онъ цѣлое утро сидитъ у окна и неукоснительно наблюдаетъ за всѣмъ, что дѣлается на дворѣ.

— Эй, Игнашка? Что несешь, дуракъ? спроситъ онъ идущаго по двору человѣка.

— Несу ножи точить въ людскую, отвѣчаетъ тотъ, не взглянувъ на барина.

— Ну, неси, неси; да хорошенько, смотри, наточи!

Потомъ остановить бабу:

— Эй, баба! Баба! Куда ходила?

— Въ погребъ, батюшка, говорила она, останавливаясь, и, прикрывъ глаза рукой, глядѣла на окно:—молока къ столу достать.

— Ну, иди, иди! отвѣчалъ баринъ: — Да смотри, не пролей молоко-то.— А ты, Захарка, пострелёнокъ, куда опять бѣжишь? кричалъ потомъ: — Вотъ я тебѣ дамъ бѣгать! Ужъ, я вижу, что ты это въ третій разъ бѣжишь. Пошелъ назадъ, въ прихожую!

И Захарка шелъ опять дремать въ прихожую.

Придутъ ли коровы съ поля, старикъ первый позаботится, чтобъ ихъ напоили; завидитъ ли изъ окна, что дворняшка преслѣдуетъ курицу, тотчасъ приметъ строгія мѣры противъ безпорядковъ.

И жена его сильно занята: она часа три толкуетъ съ Аверкой, портнымъ, какъ изъ мужниной фуфайки перешить Илюшѣ курточку, сама рисуетъ мѣломъ и наблюдаетъ, чтобъ Аверка не укралъ сукна; потомъ перейдетъ въ дѣвичью, задастъ каждой дѣвкѣ, сколько сплести въ день кружевъ; потомъ позоветъ съ собою Настасью Ивановну, или Степаниду Агаповну, или другую изъ своей свиты прогулять по саду съ практической цѣлью: посмотреть, какъ наливается яблоко, не упало ли вчерашнее, которое ужъ созрѣло; тамъ привить, тамъ подрѣзать и т. п.



Но главною заботою была кухня и обѣдъ. Обѣ обѣдѣ совѣщались цѣлымъ домомъ; и престарѣлая тѣтка приглашалась къ совѣту. Всякій предлагалъ свое блюдо: кто супъ съ потрохами, кто лапшу, или желудокъ, кто рубцы, кто красную, кто бѣлую подливку къ соусу.

Всякій совѣтъ принимался въ соображеніе, обсуживался обстоятельно и потомъ принимался, или отвергался по окончательному приговору хозяйки.

На кухню посылались безпрестанно то Настасья Петровна, то Степанида Ивановна, напомнить о томъ, прибавить это, или отмѣнить то, отнести сахару, меду, вина для кушанья, и посмотреть, все ли положить поварь, что отпущено.

Забота о пищѣ была первая и главная жизненная забота въ Обломовкѣ. Какія телята утучнялись тамъ къ годовымъ праздникамъ! Какая птица воспитывалась! Сколько тонкихъ соображеній, сколько занятій и заботъ въ ухаживаньи за нею! Индѣйки и цыплята, назначаемые къ именинамъ и другимъ торжественнымъ днямъ, откармливались орѣхами; гусей лишали моціона, заставляли висѣть въ мѣшкѣ неподвижно за нѣсколько дней до праздника, чтобъ они заплыли жиромъ. Какіе запасы были тамъ вареній, соленій, печеній! Какіе меды, какіе квасы варились, какіе пироги пеклись въ Обломовкѣ!

И такъ до полудня все суенилось и заботилось, все жило такою полною, муравьиною, такою замѣтною жизнью.

Въ воскресенье и въ праздничные дни тоже не унимались эти трудолюбивые муравьи: тогда стукъ ножей на кухнѣ раздавался чаще и сильнѣе; баба совершала нѣсколько разъ путешествіе изъ амбара въ кухню съ двойнымъ количествомъ муки и яицъ; на птичьемъ дворѣ было болѣе стоновъ и кровопролитій. Пекли исполинскій пирогъ, который сами господа ѣли еще на другой день; на третій и



четвертый день остатки поступали въ дѣвичью; пирогъ доживалъ до пятницы, такъ-что одинъ совсѣмъ черствый конецъ, безъ всякой начинки, доставался, въ видѣ особой милости, Антипу, который, перекрестясь, съ трескомъ неустрашимо разрушалъ эту любопытную окаменѣлость, наслаждаясь болѣе сознаніемъ, что это господскій пирогъ, нежели самымъ пирогомъ, какъ археологъ, съ наслажденіемъ пьющій дрянное вино изъ черепка какой-нибудь тысячелѣтней посуды.

А ребенокъ все смотрѣлъ и все наблюдалъ своимъ дѣтскимъ, ничего-непропускающимъ умомъ. Онъ видѣлъ, какъ, послѣ полезно и хлопотливо-проведеннаго утра, наступалъ полдень и обѣдъ.

Полдень знойный; на небѣ ни облачка. Солнце стоитъ неподвижно надъ головой и жжетъ траву. Воздухъ пересталъ струиться и виситъ безъ движенія. Ни дерево, ни вода не шелохнутся; надъ деревней и полемъ лежитъ невозмутимая тишина — все какъ-будто вымерло. Звонко и далеко раздается человѣческій голосъ въ пустотѣ. Въ двадцати саженьяхъ слышно, какъ пролетитъ и прожужжитъ жукъ, да въ густой травѣ кто-то все храпитъ, какъ-будто кто-нибудь завалился туда и спитъ сладкимъ сномъ.

И въ домѣ воцарилась мертвая тишина. Наступилъ часъ всеобщаго послѣ обѣденнаго сна.

Ребенокъ видитъ, что и отецъ, и мать, и старая тѣтка, и свита—всѣ разбрелись по своимъ угламъ; а у кого не было его, тотъ шелъ на сѣноваль, другой въ садъ, третій искалъ прохлады въ сѣняхъ, а иной, прикрывъ лицо платкомъ отъ мухъ, засыпалъ тамъ, гдѣ сморила его жара и повалилъ громоздкій обѣдъ. И садовникъ растянулся подъ кустомъ, въ саду, подлѣ своей пашни, и кучеръ спалъ на конюшнѣ.

Илья Ильичъ заглянулъ въ людскую: въ людской всѣ ле-

гли въ-повалку, по лавкамъ, по полу и въ сѣняхъ, предоставивъ ребятишекъ самимъ себѣ; ребятишки ползаютъ по двору и роются въ песокъ. И собаки далеко залѣзли въ конуры, благо не на кого было лаять.

Можно было пройти по всему дому насквозь и не встрѣтить ни души; легко было обокрасть все кругомъ и свезти со двора на подводахъ: никто не помѣшалъ бы, еслибъ только водились воры въ томъ краю.

Это былъ какой-то всепоглощающій, ничѣмъ непобѣдимый сонъ, истинное подобіе смерти. Все мертво, только изъ всѣхъ угловъ несется разнообразное храпѣнье на всѣ тоны и лады.

Изрѣдка кто-нибудь вдругъ подниметъ со сна голову, посмотритъ безсмысленно, съ удивленіемъ, на обѣ стороны и перевернется на другой бокъ, или не открывая глазъ, плюнетъ съ-просонья и, почавкавъ губами, или поворчавъ что-то подъ-носъ себѣ, опять заснетъ.

А другой быстро, безъ всякихъ предварительныхъ приготовленій, вскочитъ обѣими ногами съ своего ложа, какъ-будто боясь потерять драгоцѣнныя минуты, схватитъ кружку съ квасомъ и, подувъ на плавающихъ тамъ мухъ, такъ, чтобъ ихъ отнесло къ другому краю, отчего мухи, до-тѣхъ поръ неподвижныя, сильно начинаютъ шевелиться, въ надеждѣ на улучшеніе своего положенія, промочить горло и потомъ падаетъ опять на постель, какъ подстрѣленный.

А ребенокъ все наблюдалъ да наблюдалъ.

Онъ съ няней послѣ обѣда опять выходилъ на воздухъ. Но и няня, несмотря на всю строгость наказовъ барыни и на свою собственную волю, не могла противиться обаянію сна. Она тоже заражалась этой господствовавшей въ Обломовкѣ повальной болѣзнью.

Сначала она бодро смотрѣла за ребенкомъ, не пускала далеко отъ себя, строго ворчала за рѣзвость, потомъ, чув-

ствуя симптомы приближавшейся заразы, начинала упрашивать не ходить за ворота, не затрогивать козла, не лазить на голубятню или галерею.

Сама она усаживалась гдѣ-нибудь въ холодкѣ: на крыльцѣ, на порогѣ погреба, или просто на травкѣ; повидимому съ тѣмъ, чтобъ вязать чулокъ и смотрѣть за ребенкомъ. Но вскорѣ она лѣниво унимала его, кивая головой.

„Влѣзеть, ахъ, того и гляди, влѣзетъ эта юла на галерею,“ думала она почти сквозь сонъ: „или еще... какъ бы въ оврагъ...“

Тутъ голова старухи клонилась къ колѣнямъ, чулокъ выпадалъ изъ рукъ; она теряла изъ виду ребенка и, открывъ немного ротъ, выпускала легкое храпѣнье.

А онъ съ нетерпѣніемъ дожидался этого мгновенія, съ которымъ начиналась его самостоятельная жизнь.

Онъ былъ какъ-будто одинъ въ цѣломъ мірѣ; онъ на цыпочкахъ убѣгалъ отъ няни, осматривалъ всѣхъ, кто гдѣ спитъ; остановится и осмотритъ пристально, какъ кто очнется, плюнетъ и промычитъ что-то во снѣ; потомъ, съ замирающимъ сердцемъ, взбѣгалъ на галерею, обѣгалъ по скрипучимъ доскамъ кругомъ, лазилъ на голубятню, забирался въ глушь сада, слушалъ, какъ жужжитъ жукъ, и далеко слѣдилъ глазами его полетъ въ воздухѣ; прислушивался, какъ кто-то все стрекочетъ въ травѣ, искалъ и ловилъ нарушителей этой тишины; поймаетъ стрекозу, оторветъ ей крылья и смотритъ, что изъ нея будетъ, или проткнетъ сквозь нея соломенку и слѣдитъ, какъ она летаетъ съ этимъ прибавленіемъ; съ наслажденіемъ, боясьдохнуть, наблюдаетъ за паукомъ, какъ онъ сосетъ кровь пойманной мухи, какъ бѣдная жертва бьется и жужжитъ у него въ лапахъ. Ребенокъ кончитъ чѣмъ, что убьетъ и жертву, и мучителя.

Потомъ онъ заберется въ канаву, роется, отыскиваетъ

какіе-то корешки, очищаетъ отъ коры и ѣсть въ сласть, предпочитая яблокамъ и варенью, которыя даетъ маменька.

Онъ выбѣжить и за ворота: ему бы хотѣлось въ березнякъ; онъ такъ близко кажется ему, что вотъ онъ въ пять минутъ добрался бы до него, не кругомъ, по дорогѣ, а прямо, черезъ канаву, плетни и ямы; но онъ боится: тамъ, говорятъ, и лѣшіе, и разбойники, и страшные звѣри.

Хочется ему и въ оврагъ сбѣгать: онъ всего саженьхъ въ пятидесяти отъ сада; ребенокъ ужъ прибѣгалъ къ краю, зажмурилъ глаза, хотѣлъ заглянуть, какъ въ кратеръ вулкана... но вдругъ передъ нимъ возстали всѣ толки и преданія объ этомъ оврагѣ: его объялъ ужасъ, и онъ, ни живъ, ни мертвъ, мчится назадъ и, дрожа отъ страха, бросился къ нянькѣ и разбудилъ старуху.

Она вспрянула отъ сна, поправила платокъ на головѣ, подобрала подъ него пальцомъ клочки сѣдыхъ волосъ и, притворяясь, что-будто не спала совсѣмъ, подозрительно поглядываетъ на Илюшу, потомъ на барскія окна, и начинаетъ дрожащими пальцами тыкать одну въ другую спицы чулка, лежавшаго у нея на колѣняхъ.

Между тѣмъ жара начала понемногу спадать; въ природѣ стало все поживѣе; солнце уже подвинулось къ лѣсу.

И въ домѣ мало-по-малу нарушалась тишина: въ одномъ углу гдѣ-то скрипнула дверь; слышались по двору чьи-то шаги; на сѣновалѣ кто-то чихнулъ.

Вскорѣ изъ кухни торопливо пронесъ человѣкъ, нагибаясь отъ тяжести, огромный самоваръ. Начали собираться къ чаю: у кого лицо измято и глаза заплавлены слезами; тотъ належалъ себѣ красное пятно на щекѣ и вискахъ; третій говорить со сна не своимъ голосомъ. Все это сопить, охаетъ, зѣваетъ, почесываетъ голову и разминается, едва приходя въ себя.



Обѣдъ и сонъ рождали неутолимую жажду. Жажда палить горло; выпивается чашекъ по двѣнадцати чаю, но это не помогаетъ: слышится оханье, стenanье; прибѣгаютъ къ брусничной, къ грушевой водѣ, къ квасу, а иные и къ врачебному пособию, чтобъ только залить засуху въ горлѣ.

Всѣ искали освобожденія отъ жажды, какъ отъ какого-нибудь наказанія Господня; всѣ мечутся, всѣ томятся, точно караванъ путешественниковъ въ аравійской степи, не находящій нигдѣ ключа воды.

Ребенокъ тутъ, подлѣ маменьки: онъ вглядывается въ странныя окружающія его лица, вслушивается въ ихъ сонный и вялый разговоръ. Весело ему смотрѣть на нихъ, любопытнѣе кажется ему всякій сказанный ими вздоръ.

Послѣ чая всѣ займутся чѣмъ-нибудь: кто пойдетъ къ рѣчкѣ и тихо бродить по берегу, толкая ногой камешки въ воду; другой сядетъ къ окну и ловить глазами каждое мимолетное явленіе: пробѣжитъ ли кошка по двору, пролетитъ ли галка, наблюдатель и ту, и другую преслѣдуетъ взглядомъ и кончикомъ своего носа, поворачивая голову то направо, то налево. Такъ иногда собаки любятъ сидѣть по цѣлымъ днямъ на окнѣ, подставляя голову подъ солнышко и тщательно оглядывая всякаго прохожаго.

Мать возьметъ голову Илюши, положить къ себѣ на колѣни и медленно расчесываетъ ему волосы, любясь мягкостью ихъ и заставляя любоваться и Настасью Ивановну, и Степаниду Тихоновну, и разговариваетъ съ ними о будущности Илюши, ставитъ его героемъ какой-нибудь созданной ею блистательной эпопеи. Тѣ сулятъ ему золотыя горы.

Но вотъ начинается смеркаться. На кухнѣ опять трещитъ огонь, опять раздается дробный стукъ ножей: готовится ужинъ.



Дворня собралась у воротъ: тамъ слышится балалайка, хохоть. Люди играютъ въ горѣлки.

А солнце ужъ опускалось за лѣсъ; оно бросало нѣсколько чуть-чуть теплыхъ лучей, которые прорѣзывались огненной полосой черезъ весь лѣсъ, ярко обливая золотомъ верхушки сосенъ. Потомъ лучи гасли одинъ за другимъ; послѣдній лучъ оставался долго; онъ, какъ тонкая игла, вонзился въ чащу вѣтвей; но и тотъ потухъ.

Предметы теряли свою форму; все сливалось сначала въ сѣрую, потомъ въ темную массу. Пѣніе птицъ постепенно ослабѣвало; вскорѣ онѣ совсѣмъ замолкли, кромѣ одной какой-то упрямой, которая, будто наперекоръ всѣмъ, среди общей тишины, одна монотонно чирикала съ промежутками, но все рѣже-и-рѣже, и та наконецъ свистнула слабо, незвучно, въ послѣдній разъ, встрепенулась, слегка пошевеливъ листья вокругъ себя... и заснула.

Все смолкло. Одни кузнечики взапуски трещали сильнѣе. Изъ земли поднялись бѣлые пары и разостлались по лугу и по рѣкѣ. Рѣка тоже присмирѣла; немного погодя, и въ ней вдругъ кто-то плеснулъ еще въ послѣдній разъ, и она стала неподвижна.

Запахло сыростью. Становилось все темнѣе и темнѣе. Деревья сгруппировались въ какихъ-то чудовищъ; въ лѣсу стало страшно: тамъ кто-то вдругъ заскрипитъ, точно одно изъ чудовищъ переходитъ съ своего мѣста на другое, и сухой сучокъ, кажется, хруститъ подъ его ногой.

На небѣ ярко сверкнула, какъ живой глазъ, первая звѣздочка, и въ окнахъ дома замелькали огоньки.

Настали минуты всеобщей, торжественной тишины природы, тѣ минуты, когда сильнѣе работаетъ творческій умъ, жарче кипятъ поэтическія думы, когда въ сердцѣ живѣе вспыхиваетъ страсть, или больнѣе ноетъ тоска, когда въ жестокой душѣ невозмутимѣе и сильнѣе зрѣетъ зерно преступ-

ной мысли, и когда... въ Обломовкѣ всѣ почиваютъ такъ крѣпко и покойно.

— Пойдемъ, мама, гулять, говоритъ Илюша.

— Что ты, Богъ съ тобой! Теперь гулять, отвѣчаетъ онъ: — сыро, ножки простудишь; и страшно: въ лѣсу теперь лѣшій ходитъ, онъ уноситъ маленькихъ дѣтей.

— Куда онъ уноситъ? Какой онъ бываетъ? Гдѣ живетъ? спрашиваетъ ребенокъ.

И мать давала волю своей необузданной фантазіи.

Ребенокъ слушалъ ее, открывая и закрывая глаза, пока, наконецъ, сонъ не сморитъ его совсѣмъ. Приходила нянька и, взявъ его съ колѣней матери, уносила соннаго, съ повисшей черезъ ея плечо головой, въ постель.

— Вотъ день-то и прошелъ, и слава Богу! говорили обломовцы, ложась въ постель, кряхтя и осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ: — Прожили благополучно; дай Богъ и завтра такъ! Слава тебѣ Господи! Слава тебѣ Господи!

Потомъ Обломову приснилась другая пора: онъ въ безконечный зимній вечеръ робко жметъ къ нянѣ, а она нашептываетъ ему о какой-то невѣдомой сторонѣ, гдѣ нѣтъ ни ночей, ни холода, гдѣ все совершаются чудеса, гдѣ текутъ рѣки меду и молока, гдѣ никто ничего круглый годъ не дѣлаетъ, а день-деньской только и знаютъ, что гуляютъ все добрые молодцы, такіе, какъ Илья Ильичъ, да красавицы, что ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ описать.

Тамъ есть и добрая волшебница, являющаяся у насъ иногда въ видѣ щуки, которая изберетъ себѣ какого-нибудь любимца, тихаго, безобиднаго, другими словами, какого-нибудь лѣнтя, котораго всѣ обижаютъ, да и осыпаетъ его, ни съ того, ни съ сего, разнымъ добромъ, а онъ знай кушаетъ себѣ да наряжается въ готовое платье, а потомъ женится на какой-нибудь неслыханной красавицѣ, Милитрисѣ Кирбитьевнѣ.

Ребенокъ, наостривъ уши и глаза, страстно впивался въ разсказъ.

Нянька, или преданіе такъ искусно избѣгали въ разсказѣ всего, что существуетъ на самомъ дѣлѣ, что воображеніе и умъ, проникшись вымысломъ, оставались уже у него въ рабствѣ до старости. Нянька съ добродушіемъ повѣствовала сказку о Емелѣ-дурачкѣ, эту злую и коварную сатиру на нашихъ прадѣдовъ, а, можетъ-быть, еще и на насъ самихъ.

Взрослый Илья Ильичъ хотя послѣ и узнаетъ, что нѣтъ медовыхъ и молочныхъ рѣкъ, нѣтъ добрыхъ волшебницъ, хотя и шутить онъ съ улыбкой надъ сказаніями няни, но улыбка эта не искренняя, она сопровождается тайнымъ вздохомъ: сказка у него смѣшалась съ жизнью, и онъ безсознательно груститъ подѣ-часъ, зачѣмъ сказка не жизнь, а жизнь не сказка.

Онъ невольно мечтаетъ о Милитрисѣ Кирбитьевнѣ; его все тянетъ въ ту сторону, гдѣ только и знаютъ, что гуляютъ, гдѣ нѣтъ заботъ и печалей; у него навсегда остается расположеніе полежать на печи, походить въ готовомъ, незаработанномъ платьѣ и поѣсть насчетъ доброй волшебницы.

И старикъ Обломовъ, и дѣдъ выслушивали въ дѣтствѣ тѣ же сказки, прошедшія въ стереотипномъ изданіи старины, въ устахъ нянекъ и дядекъ, сквозь вѣка и поколѣнія.

Няня между - тѣмъ ужъ рисуетъ другую картину воображенію ребенка.

Она повѣствуетъ ему о подвигахъ нашихъ Ахилловъ и Улиссовъ, объ удали *Ильи Муромца*, *Добрыни Никитича*, *Алеша Поповича*, о *Полканѣ-богатырѣ*, о *Колечикѣ* *прохожемѣ*, о томъ, какъ они странствовали по Руси, побивали несметныя полчища басурмановъ, какъ состязались въ томъ, кто однимъ духомъ выпьетъ чару зелена-вина и

не крикнетъ; потомъ говорила о злыхъ разбойникахъ, о спящихъ царевнахъ, окаменѣлыхъ городахъ и людяхъ; наконецъ, проходила къ нашей демонологіи, къ мертвецамъ, къ чудовищамъ и къ оборотнямъ.

Она съ простотою и добродушіемъ Гомера, съ тою же животрепещущею вѣрностью подробностей и рельефностью картинъ влагала въ дѣтскую память и воображеніе Илліаду русской жизни, созданную нашими гомеридами тѣхъ туманныхъ временъ, когда человѣкъ еще не ладилъ съ опасностями и тайнами природы и жизни, когда онъ трепеталъ и передъ оборотнемъ, и передъ лѣшимъ, и у Алеши Поповича искалъ защиты отъ окружавшихъ его бѣдъ, когда и въ воздухѣ, и въ водѣ, и въ лѣсу, и въ полѣ царствовали чудеса.

Страшна и невѣрна была жизнь тогдашняго человѣка; опасно было ему выйти за порогъ дома: его, того-гляди, запоретъ звѣрь, зарѣжетъ разбойникъ, отниметъ у него все злой татаринъ, или пропадетъ человѣкъ безъ вѣсти, безъ всякихъ слѣдовъ.

А то вдругъ явятся знаменія небесныя, огненные столпы да шары; а тамъ, надъ свѣжей могилой, вспыхнетъ огонекъ, или въ лѣсу кто-то прогуливается, будто съ фонаремъ, да страшно хохочетъ и сверкаетъ глазами въ темнотѣ.

И съ самымъ человѣкомъ творилось столько непонятнаго: живетъ-живетъ человѣкомъ долго и хорошо—ничего, да вдругъ заговорить такое непутное, или учнетъ кричать не своимъ голосомъ, или бродить сонный по ночамъ; другаго, ни съ того, ни съ сего, начнетъ коробить и бить о земь. А передъ тѣмъ, какъ сдѣлаться этому, только-что курица прокричала пѣтухомъ, да воронъ прокаркалъ надъ крышей.

Терялся слабый человѣкъ, съ ужасомъ озираясь въ жиз-



ни, и искалъ въ воображеніи ключа къ тайнствамъ окружающей его и своей собственной природы.

А, можетъ-быть, сонъ, вѣчная тишина вялой жизни и отсутствіе движенія и всякихъ дѣйствительныхъ страховъ, приключеній и опасностей заставляли человѣка творить, среди естественнаго міра, другой, несбыточный, и въ немъ искать разгула и потѣхи праздному воображенію, или разгадки обыкновенныхъ сдѣпленій обстоятельствъ и причинъ явленія внѣ самого явленія.

Ощупью жили бѣдныя предки наши; не, окрыляли и не сдерживали они своей воли, а потомъ наивно дивились или ужасались неудобству, злу, и допрашивались причинъ у нѣмыхъ неясныхъ іероглифовъ природы.

Смерть у нихъ приключалась отъ вынесеннаго передъ тѣмъ изъ дома покойника головой, а не ногами изъ воротъ; пожаръ — отъ того, что собака выла три noci подъ окномъ; и они хлопотали, чтобъ покойника выносили ногами изъ воротъ, а ѣли все то же, по стольку же, и спали попрежнему на голой травѣ; воющую собаку били, или сгоняли со двора, а искры отъ лучины все-таки сбрасывали въ трещину гнилаго пола.

И понынѣ русскій человѣкъ, среди окружающей его строгой, лишенной вымысла дѣйствительности, любитъ вѣрить соблазнительнымъ сказаніямъ старины, и долго, можетъ-быть, еще не отрѣшится ему отъ этой вѣры.

Слушая отъ няни сказки о нашемъ *золотомъ рунѣ* — *Жаръ - птица*, о преградахъ и тайникахъ волшебнаго замка, мальчикъ то бодрился, воображая себя героемъ подвига — и мурашки бѣгали у него по спинѣ, то страдалъ за неудачи храбреца.

Разсказъ лился за разсказомъ. Няня повѣствовала съ пыломъ, живописно, съ увлеченіемъ, мѣстами вдохновенно, потому-что сама вполонину вѣрила разсказамъ. Глаза



старухи искрились огнемъ; голова дрожала отъ волненія; голосъ возвышался до непривычныхъ нотъ.

Ребенокъ, объятый невѣдомымъ ужасомъ, жался къ ней со слезами на глазахъ.

Заходила ли рѣчь о мертвецахъ, поднимающихся въ полночь изъ могилъ, или о жертвахъ, томящихся въ неволѣ у чудовища, или о медвѣдѣ съ деревянной ногой, который идетъ по селамъ и деревнямъ отыскивать отрубленную у него натуральную ногу—волосы ребенка трещали на головѣ отъ ужаса; дѣтское воображеніе то застывало, то кипѣло; онъ испытывалъ мучительный, сладко болѣзненный процессъ; нервы напрягались, какъ струны.

Когда нянька мрачно повторяла слова медвѣдя: „Скрипи, скрипи, нога липовая; я по селамъ шель, по деревнѣ шель, всѣ бабы спятъ, одна баба не спитъ, на моей шкурѣ сидитъ, мое мясо варить, мою шерстку прядетъ“, и т. д. когда медвѣдь входилъ, наконецъ, въ избу и готовился схватить похитителя своей ноги, ребенокъ не выдерживалъ: онъ съ трепетомъ и визгомъ бросался на руки къ нянѣ; у него брызжутъ слезы испуга, и вмѣстѣ хохочетъ онъ отъ радости, что онъ не въ когтяхъ у звѣря, а на лежанкѣ, подлѣ няни.

Населилось воображеніе мальчика странными призраками; боязнь и тоска засѣли надолго, можетъ-быть на-всегда, въ душу. Онъ печально озирается вокругъ и все видитъ въ жизни вредъ, бѣду, все мечтаетъ о той волшебной сторонѣ, гдѣ нѣтъ зла, хлопотъ, печалей, гдѣ живетъ Милитриса Кирбитьевна, гдѣ такъ хорошо кормятъ и одѣваютъ даромъ...

Сказка не надъ одними дѣтьми въ Обломовкѣ, но и надъ взрослыми до конца жизни сохраняетъ свою власть. Всѣ въ домѣ и въ деревнѣ, начиная отъ барина, жены его и до дюжаго кузнеца Тараса—всѣ трепещутъ чего-то въ темный ве-

черь: всякое дерево превращается тогда въ великана, всякій кустъ—въ вертепъ разбойниковъ.

Стукъ ставни и завыванье вѣтра въ трубѣ заставляли блѣднѣть и мужчинъ, и женщинъ, и дѣтей. Никто въ Крещенье не выйдетъ послѣ десяти часовъ вечера одинъ за ворота; всякій въ ночь на Пасху побоится идти въ конюшню, опасаясь застать тамъ домового.

Въ Обломовкѣ вѣрили всему: и оборотнямъ, и мертвецамъ. Расскажутъ ли имъ, что конна сѣна разгуливала по полю—они не задумаются и повѣрятъ; пропуститъ ли кто-нибудь слухъ, что вотъ это не баранъ, а что-то другое, или, что такая-то Марѳа или Степанида — вѣдьма, они будутъ бояться и барана, и Марѳы: имъ и въ голову не придетъ спросить, отчего баранъ сталъ не бараномъ, а Марѳа сдѣлалась вѣдьмой, да еще накинутся и на того, кто бы вздумалъ усомниться въ этомъ — такъ сильна вѣра въ чудесное въ Обломовкѣ!

Илья Ильичъ и увидитъ послѣ, что просто устроенъ міръ, что не встаютъ мертвецы изъ могилъ, что великановъ, какъ только они заведутся, тотчасъ сажаютъ въ балаганъ, и разбойниковъ—въ тюрьму; но если пропадаетъ самая вѣра въ призраки, то остается какой-то осадокъ страха и безотчетной тоски.

Узналъ Илья Ильичъ, что нѣтъ бѣды отъ чудовищъ, а какія есть — едва знаетъ, и на каждомъ шагу все ждетъ чего-то страшнаго и боится. И теперь еще, оставшись въ темной комнатѣ, или увидя покойника, онъ трепещетъ отъ зловѣщей, въ дѣтствѣ зароненной въ душу тоски; смѣясь надъ страхами своими поутру, онъ опять блѣднѣетъ вечеромъ.

Далѣе, Илья Ильичъ вдругъ увидѣлъ себя мальчикомъ лѣтъ тринадцати или четырнадцати.

Онъ ужъ учился въ селѣ Верхлѣвѣ, верстахъ въ пяти отъ

Обломовки, у тамошняго управляющаго, нѣмца Штольца, который завелъ небольшой пансіонъ для дѣтей окрестныхъ дворянъ.

У него былъ свой сынъ, Андрей, почти однихъ лѣтъ съ Обломовымъ, да еще отдали ему одного мальчика, который почти никогда не учился, а больше страдалъ золотухой, все дѣтство проходилъ постоянно съ завязанными глазами или ушами, да плакалъ все втихомолку о томъ, что живетъ не у бабушки, а въ чужомъ домѣ, среди злодѣевъ, что, вотъ, его и приласкать-то некому, и никто любимаго пирожка не испечетъ ему.

Кромѣ этихъ дѣтей, другихъ еще въ пансіонѣ пока не было.

Нечего дѣлать, отецъ и мать посадили баловника Илюшу за книгу. Это стоило слезъ, воплей, капризовъ. Наконецъ отвезли.

Нѣмецъ былъ человѣкъ дѣльный и строгій, какъ почти всѣ нѣмцы. Можетъ-быть, у него Илюша и успѣлъ бы выучиться чему-нибудь хорошенько, еслибъ Обломовка была верстахъ въ пятистахъ отъ Верхлѣва. А то какъ выучиться? Обаяніе обломовской атмосферы, образа жизни и привычекъ простиралось и на Верхлѣво; вѣдь оно тоже было нѣкогда Обломовкой; тамъ, кромѣ дома Штольца, все дышало тою же первобытною лѣнью, простотою нравовъ, тишиною и неподвижностью.

Умъ и сердце ребенка исполнились всѣхъ картинъ, сценъ и нравовъ этого быта прежде, нежели онъ увидѣлъ первую книгу. А кто знаетъ, какъ рано начинается развитіе умственного зерна въ дѣтскомъ мозгу? Какъ услѣдить за рожденіемъ въ младенческой душѣ первыхъ понятій и впечатлѣній?

Можетъ-быть, когда дитя еще едва выговаривало слова, а можетъ быть, еще вовсе не выговаривало, даже не ходи-

ло, а только смотрѣло на все тѣмъ пристальнымъ нѣмымъ дѣтскимъ взглядомъ, который взрослые называютъ тупымъ, оно ужъ видѣло и угадывало значеніе и связь явленій окружающей его сферы, да только не признавалось въ этомъ ни себѣ, ни другимъ.

Можетъ-быть, Илюша ужъ давно замѣчаетъ и понимаетъ, что говорятъ и дѣлаютъ при немъ: какъ батюшка его, въ плисовыхъ панталонахъ, въ коричневой суконной ваточной курткѣ, день-деньской только и знаетъ, что ходитъ изъ угла въ уголъ, заложивъ руки назадъ, нюхаетъ табакъ и сморкается, а матушка переходитъ отъ кофе къ чаю, отъ чая къ обѣду; что родитель и не вздумаетъ никогда повѣрить, сколько копенъ скошено или сжато, и взыскать за упущеніе, а подай-ко ему не скоро носовой платокъ, онъ накричитъ о безпорядкахъ и поставитъ вверхъ дномъ весь домъ.

Можетъ-быть, дѣтскій умъ его давно рѣшилъ, что такъ, а не иначе слѣдуетъ жить, какъ живутъ около него взрослые. Да и какъ иначе прикажете рѣшить ему? А какъ жили взрослые въ Обломовкѣ?

Дѣлали ли они себѣ вопросъ: зачѣмъ дана жизнь? Богъ-вѣсть. И какъ отвѣчали на него? Вѣроятно никакъ: это казалось имъ очень просто и ясно.

Не слыхивали они о такъ-называемой многотрудной жизни, о людяхъ, носящихъ томительныя заботы въ груди, снующихъ зачѣмъ-то изъ угла въ уголъ по лицу земли, или отдающихъ жизнь вѣчному, нескончаемому труду.

Плохо вѣрили обломовцы и душевнымъ тревогамъ; не принимали за жизнь круговорота вѣчныхъ стремленій куда-то, къ чему-то; боялись, какъ огня, увлеченія страстей; и какъ въ другомъ мѣстѣ тѣло у людей быстро сгорало отъ вулканической работы внутренняго, душевнаго огня, такъ



душа обломовцевъ мирно, безъ помѣхи утопала въ мягкомъ тѣлѣ.

Не клеймила ихъ жизнь, какъ другихъ, ни преждевременными морщинами, ни нравственными разрушительными ударами и недугами.

Добрые люди понимали ее не иначе, какъ идеаломъ покоя и бездѣйствія, нарушаемаго по временамъ разными непріятными случайностями, какъ-то: болѣзнями, убытками, ссорами и, между прочимъ, трудомъ.

Они сносили трудъ какъ наказаніе, наложенное еще на праотцевъ нашихъ, но любить не могли, и гдѣ былъ случай, всегда отъ него избавлялись, находя это возможнымъ и должнымъ.

Они никогда не смущали себя никакими туманными умственными или нравственными вопросами: оттого всегда и цвѣли здоровьемъ и весельемъ, оттого тамъ жили долго; мужчины въ сорокъ лѣтъ походили на юношей; старики не боролись съ трудной, мучительной смертью, а, доживъ до невозможности, умирали какъ-будто украдкой. тихо застывая и незамѣтно испуская послѣдній вздохъ. Оттого и говорятъ, что прежде былъ крѣпче народъ.

Да, въ самомъ дѣлѣ крѣпче: прежде не торопились объяснять ребенку значенія жизни и готовить его къ ней, какъ къ чему-то мудреному и нешуточному; не томили его надъ книгами, которыя раждаютъ въ головѣ тьму вопросовъ, а вопросы гложутъ умъ и сердце и сокращаютъ жизнь.

Норма жизни была готова и преподана имъ родителями, а тѣ приняли ее, тоже готовую, отъ дѣдушки, а дѣдушка отъ прадѣдушки, съ завѣтомъ блюсти ея цѣлость и неприкосновенность, какъ огонь Весты. Какъ что дѣлалось при дѣдахъ и отцахъ, такъ дѣлалось при отцѣ Ильи Ильи-



ча, такъ, можетъ быть, дѣлается еще и теперь въ Обломовкѣ.

О чемъ же имъ было задумываться и чѣмъ волноваться, что узнавать, какихъ цѣлей добиваться?

Ничего не нужно: жизнь какъ покойная рѣка текла мимо ихъ; имъ оставалось только сидѣть на берегу этой рѣки и наблюдать неизбѣжныя явленія, которыя по очереди, безъ зову, представляли предъ cadaго изъ нихъ.

И вотъ воображенію спящаго Ильи Ильича начали, такъ же по очереди, какъ живыя картины, открываться сначала три главные акта жизни, разыгрывавшіеся какъ въ его семействѣ, такъ у родственниковъ и знакомыхъ: родины, свадьба, похороны.

Потомъ потянулась пестрая процессія веселыхъ и печальныхъ подраздѣленій ея: крестинъ, именинъ, семейныхъ праздниковъ, заговѣнья, розговѣнья, шумныхъ обѣдовъ, родственныхъ съѣздовъ, привѣтствій, поздравленій, официальныхъ слезъ и улыбокъ.

Все отправлялось съ такою точностью, такъ важно и торжественно.

Ему представлялись даже знакомыя лица и мины ихъ при разныхъ обрядахъ, ихъ заботливость и суета. Дайте имъ какое хотите щекотливое сватовство, какую хотите торжественную свадьбу, или именины—справятъ по всѣмъ правиламъ, безъ малѣйшаго упущенія. Кого гдѣ посадить, что и какъ подать, кому съ кѣмъ ѣхать въ церемоніи, примѣту ли соблюсти—во всемъ этомъ никто никогда не дѣлалъ ни малѣйшей ошибки въ Обломовкѣ.

Ребенка ли выходить не съумѣютъ тамъ? Стоитъ только взглянуть, какихъ розовыхъ и увѣсистыхъ купидоновъ носятъ и водятъ за собой тамошнія матери. Онѣ на томъ стоять, чтобъ дѣти были толстенькія, бѣленькія и здоровенькія.

Они отступятся отъ весны, знать ее не захотятъ, если не испекутъ въ началѣ ея жаворонка. Какъ имъ не знать и не исполнять этого?

Тутъ вся ихъ жизнь и наука, тутъ всѣ ихъ скорби и радости: оттого они и гонятъ отъ себя всякую другую заботу и печаль и не знаютъ другихъ радостей; жизнь ихъ кипила исключительно этими коренными и неизбѣжными событіями, которыя и задавали безконечную пищу ихъ уму и сердцу.

Они, съ бьющимся отъ волненія сердцемъ, ожидали обряда, пира, церемоніи, а потомъ, окрестивъ, женивъ, или похоронивъ человѣка, забывали самого человѣка и его судьбу и погружались въ обычную апатію, изъ которой выводилъ ихъ новый такой же случай — именины, свадьба и т. п.

Какъ-только раждался ребенокъ, первою заботою родителей было какъ можно точнѣе, безъ малѣйшихъ упущеній, справить надъ нимъ всѣ требуемые приличіемъ обряды, то-есть, задать послѣ крестинъ пиръ; затѣмъ начиналось заботливое ухаживанье за нимъ.

Мать задавала себѣ и нянѣ задачу: выходить здоровенькаго ребенка, беречь его отъ простуды, отъ глаза и другихъ враждебныхъ обстоятельствъ. Усердно хлопотали, чтобъ дитя было всегда весело и кушало много.

Только лишь поставятъ на ноги молодца, то-есть, когда нянька станетъ ему ненужна, какъ въ сердце матери закрадывается уже тайное желаніе пріискать ему подругу — тоже поздоровѣе, порумянѣе.

Опять настаетъ эпоха обрядовъ, пировъ, наконецъ свадьба; на этомъ и сосредоточивался весь пафосъ жизни.

Потомъ уже начинались повторенія: рожденіе дѣтей, обряды, пиры, пока похороны не измѣняютъ декораціи: но не надолго: одни лица уступаютъ мѣсто другимъ, дѣти ста-

новятся юношами и вмѣстѣ съ тѣмъ женихами, женятся, производятъ подобныхъ себѣ — и такъ жизнь по этой программѣ тянется непрерывной однообразною тканью, незамѣтно обрываясь у самой могилы.

На вязывались имъ, правда, порой и другія заботы, но обломовцы встрѣчали ихъ по большей части съ стоическою неподвижностью, и заботы, покружившись надъ головами ихъ, мчались мимо, какъ птицы, которыя, прилетятъ къ гладкой стѣнѣ и не найдя мѣстечка пріютиться, потрепещутъ напрасно крыльями около твердаго камня и летятъ далѣе.

Такъ, на примѣръ, однажды часть галереи съ одной стороны дома вдругъ обрушилась и погребла подъ развалинами своими насѣдку съ цыплятами: досталось бы и Аксиньѣ, женѣ Антипа, которая усѣлась-было подъ галереей съ донцомъ, да на ту пору, къ счастью своему, пошла за мочками.

Въ домѣ сдѣлался гвалтъ: всѣ прибѣжали, отъ мала до велика, и ужаснулись, представивъ себѣ, что, вмѣсто насѣдки съ цыплятами, тутъ могла прохаживаться сама барыня, съ Ильей Ильичемъ.

Всѣ ахнули и начали упрекать другъ друга въ томъ, какъ это давно въ голову не пришло: одному напомнить, другому — велѣть поправить, третьему — поправить.

Всѣ дались диву, что галерея обрушилась, а наканунѣ дивились, какъ это она такъ долго держится!

Начались заботы и толки, какъ поправить дѣло; пожалѣли о насѣдкѣ съ цыплятами и медленно разошлись по своимъ мѣстамъ, на строго запретивъ подводить къ галерей Илью Ильича.

Потомъ, недѣли черезъ три, велѣно было Андрюшкѣ, Петрушкѣ, Васькѣ обрушившіяся доски и перила оттащить

къ сараямъ, чтобъ онѣ не лежали на дорогѣ. Тамъ валялись онѣ до весны.

Старикъ Обломовъ всякій разъ, какъ увидить ихъ изъ окошка, такъ и озаботится мыслью о поправкѣ: призоветъ плотника, начнетъ совѣщаться, какъ лучше сдѣлать, новую ли галерею выстроить, или сломать и остатки; потомъ отпустить его домой, сказавъ:—Поди-себѣ, а я подумаю.

Это продолжалось до тѣхъ поръ, пока Васька, или Мотъка, донесъ барину, что, вотъ-де, когда онъ, Мотъка, сего утра лазилъ на остатки галереи, такъ углы совсѣмъ отстали отъ стѣнъ и, того-гляди, рухнуть опять.

Тогда призванъ былъ плотникъ на окончательное совѣщаніе, вслѣдствіе котораго рѣшено было подпереть пока старыми обломками остальную часть уцѣлѣвшей галереи, что и было сдѣлано къ концу того же мѣсяца.

— Э! Да галерея-то пойдетъ опять заново! сказалъ старикъ женѣ.—Смотри-ка, какъ Ѳедотъ красиво разставилъ бревна, точно колонны у предводителя въ дому! Вотъ теперь и хорошо: опять надолго!

Кто-то напомнилъ ему, что вотъ кстати бы ужъ и ворота исправить и крыльцо починить, а то, дескать, сквозъ ступеньки нетолько кошки, и свиньи пролѣзаютъ въ подвалъ.

— Да, да, надо, заботливо отвѣчалъ Илья Ивановичъ и шелъ тотчасъ осмотрѣть крыльцо.

— Въ самомъ дѣлѣ, видишь, вѣдь, какъ, совсѣмъ расшаталось, говорилъ онъ, качая ногами крыльцо, какъ колыбель.

— Да оно и тогда шаталось, какъ его сдѣлали, замѣтилъ кто-то.

— Такъ чтожъ, что шаталось? отвѣчалъ Обломовъ:— Да вотъ не развалилось же, даромъ что шестнадцать лѣтъ безъ поправки стоитъ. Славно тогда сдѣлалъ Лука!.. Вотъ



былъ плотникъ, такъ плотникъ... умеръ — царство ему небесное! Нынче избаловались: не сдѣлаютъ такъ.

И онъ обращалъ глаза въ другую сторону, а крыльцо, говорятъ, шатается и до-сихъ-поръ и все еще не развалилось.

Видно, въ-самомъ-дѣлѣ, славный былъ плотникъ этотъ Лука.

Надо, впрочемъ, отдать хозяевамъ справедливость: иной разъ въ бѣдѣ, или неудобствѣ, они очень беспокоятся, даже погорячатся и разсердятся.

Какъ, дескать, можно запускать или оставлять то и другое? Надо сейчасъ принять мѣры. И говорятъ только о томъ, какъ бы починить мостикъ, что-ли, черезъ канаву, или огородить въ одномъ мѣстѣ садъ, чтобъ скотина не портила деревьевъ, потому-что часть плетня въ одномъ мѣстѣ совсѣмъ лежала на землѣ.

Илья Ивановичъ простеръ свою заботливость даже до того, что, однажды, гуляя по саду, собственноручно приподнял, кряхтя и охая, плетень и велѣлъ садовнику поставить поскорѣй двѣ жерди: плетень, благодаря этой распорядительности Обломова, простоялъ такъ все лѣто, и только зимой снѣгомъ повалило его опять.

Наконецъ даже дошло до того, что на мостикъ настлали три новыя доски, тотчасъ же, какъ только Антипъ свалился съ него, съ лошадыю и съ бочкой въ канаву. Онъ еще не успѣлъ выздоровѣть отъ ушиба, а ужъ мостикъ отдѣланъ былъ за-ново.

Коровы и козы тоже немного взяли послѣ новаго паденія плетня въ саду: онѣ съѣли только смородинные кусты, да принялись обдирать десятую липу, а до яблонь и не дошли, какъ послѣдовало распоряженіе, врыть плетень какъ надо, и даже окопать канавкой.



Досталось же и двумъ коровамъ и козѣ, пойманнымъ на дѣлѣ: славно вздули бока!

Снится еще Ильѣ Ильичу большая темная гостиная въ родительскомъ домѣ, съ ясеневыми старинными креслами, вѣчно-покрытыми чехлами, съ огромнымъ, неуклюжимъ и жесткимъ диваномъ, обитымъ полинялымъ голубымъ барканомъ въ пятнахъ, и однимъ большимъ кожанымъ кресломъ.

Наступаетъ длинный зимній вечеръ.

Мать сидитъ на диванѣ, поджавъ ноги подъ себя, и лѣниво вяжетъ дѣтскій чулокъ, зѣвая и почесывая повременамъ спицей голову.

Подлѣ нея сидитъ Настасья Ивановна да Пелагея Игнатьевна и, уткнувъ носы въ работу, прилежно шьютъ что-нибудь къ празднику для Илюши, или для отца его, или для самихъ-себя.

Отецъ, заложивъ руки назадъ, ходитъ по комнатѣ взадъ и впередъ, въ совершенномъ удовольствіи, или присядеть въ кресло и, посидѣвъ немного, начнетъ опять ходить, внимательно прислушиваясь къ звуку собственныхъ шаговъ. Потомъ понюхаетъ табаку, высморкается и опять понюхаетъ.

Въ комнатѣ тускло горитъ одна сальная свѣчка, и то это допускалось только въ зимніе и осенніе вечера. Въ лѣтніе мѣсяцы всѣ старались ложиться и вставать безъ свѣчей, при дневномъ свѣтѣ.

Это частью дѣлалось по привычкѣ, частью изъ экономіи. На всякій предметъ, который производился не дома, а пріобрѣтался покупкою, обломовцы были до крайности скупы.

Они съ радушіемъ заколютъ отличную индѣйку, или дюжину цыплятъ къ пріѣзду гостя, но лишней изюменки въ кушанье не положатъ, и поблѣднѣютъ, какъ тотъ же гость самовольно вздумаетъ самъ налить себѣ въ рюмку вина.

Впрочемъ, такого разврата тамъ почти не случалось: это сдѣлаетъ развѣ сорванецъ какой-нибудь, погибшій въ общемъ мнѣніи человѣкъ; такого гостя и во дворъ не пустятъ.

Нѣтъ, не такіе нравы были тамъ: гость тамъ прежде троекратнаго потчиванья и не дотронется ни до чего. Онъ очень - хорошо знаетъ, что однократное потчиванье чаще заключаетъ въ себѣ просьбу отказаться отъ предлагаемаго блюда или вина, нежели отвѣдать его.

Не для всякаго зажгутъ и двѣ свѣчи: свѣчка покупалась въ городѣ на деньги, и береглась, какъ и всѣ покупныя вещи, подъ ключомъ самой хозяйки. Огарки бережно считались и прятались.

Вообще тамъ денегъ тратить не любили, и какъ ни необходима была вещь, но деньги за нея выдавались всегда съ великимъ соболѣзнованіемъ, и то если издержка была незначительна. Значительная же трата сопровождалась стопами, воплями и бранью.

Обломовцы соглашались лучше терпѣть всякаго рода неудобства, даже привыкали не считать ихъ неудобствами, чѣмъ тратить деньги.

Отъ этого и диванъ въ гостинной давнымъ-давно весь въ пятнахъ, отъ этого и кожанное кресло Ильи Ивановича только называется кожанымъ, а въ-самомъ-то дѣлѣ оно—не то мочальное, не то веревочное: кожи-то осталось только на спинкѣ одинъ клочокъ, а остальная ужъ пять лѣтъ какъ развалилась въ куски и слѣзла; оттого же, можетъ-быть, и ворота все кривы, и крыльцо шатается. Но заплатить за что-нибудь, хоть самонужнѣйшее, вдругъ двѣсти, триста, пятьсотъ рублей казалось имъ чуть не самоубійствомъ.

Услыхавъ, что одинъ изъ окрестныхъ молодыхъ помѣщиковъ ѣздилъ въ Москву и заплатилъ тамъ за дюжину рубашекъ триста рублей, двадцать-пять рублей за сапоги и со-

рокъ рублей за жилеть къ свадьбѣ, старикъ Обломовъ перекрестился и сказалъ съ выраженіемъ ужаса, скороговоркой, что „этакого молодца надо посадить въ острогъ“.

Вообще они глухи были къ политико - экономическимъ истинамъ о необходимости быстрого и живаго обращенія капиталовъ, объ усиленной производительности и мѣнѣ продуктовъ. Они, въ простотѣ души, понимали и приводили въ исполненіе единственное употребленіе капиталовъ — держать ихъ въ сундукѣ.

На креслахъ въ гостиной, въ разныхъ положеніяхъ сидятъ и сопятъ обитатели, или обычные посѣтители дома.

Между собесѣдниками по большей части царствуетъ глубокое молчаніе: всѣ видятся ежедневно другъ съ другомъ; умственные сокровища взаимно исчерпаны и извѣданы, а новостей извнѣ получается мало.

Тихо; только раздаются шаги тяжелыхъ, домашней работы сапогъ Ильи Ивановича, еще стѣнные часы въ футлярѣ глухо постукиваютъ маятникомъ, да порванная, время-отъ-времени, рукой, или зубами, нитка у Пелагеи Игнатьевны, или у Настасьи Ивановны нарушаетъ глубокую тишину.

Такъ иногда пройдетъ полчаса, развѣ кто-нибудь зѣвнетъ вслухъ и перекреститъ ротъ, примолвивъ: — Господи помилуй!

За нимъ зѣвнетъ сосѣдъ, потомъ слѣдующій, медленно, какъ-будто по командѣ, отворяетъ ротъ, и такъ далѣе, заразительная игра воздуха въ лёгкихъ обойдетъ всѣхъ, при чемъ иного прошибетъ слеза.

Или Илья Ивановичъ пойдетъ къ окну, взглянетъ туда и скажетъ съ нѣкоторымъ удивленіемъ: — Еще пять часовъ только, а ужъ какъ темно на дворѣ!

— Да, отвѣтитъ кто-нибудь: — объ эту пору всегда темно; длинные вечера наступаютъ.

А весной удивятся и обрадуются, что длинные дни наступают. А спросите-ка, зачѣмъ имъ эти длинные дни, такъ они и сами не знаютъ.

И опять замолчать.

А тамъ кто-нибудь станетъ снимать со свѣчи и вдругъ погасить—всѣ встрепаются:—Нечаянный гость! скажетъ непременно кто-нибудь.

Иногда на этомъ завяжется разговоръ.

— Кто жъ бы это гость? скажетъ хозяйка: — Ужъ не Настасья ли Оаддѣевна? Ахъ, дай-то Господи! Да, нѣтъ; она ближе праздника не будетъ. То-то бы радости! То-то бы обнялись да наплакались съ ней вдвоемъ! И къ заутренѣ и къ обѣднѣ бы вмѣстѣ... Да куда мнѣ за ней! Я даромъ-что моложе, а не выстоять мнѣ столько!

— А когда, бишь, она уѣхала отъ насъ? спросилъ Илья Ивановичъ:—Кажется, послѣ Ильина-дня?

— Что ты, Илья Иванычъ! Всегда перепутаешь! Она и семика не дождалась, поправила жена.

— Она, кажется, въ петровки здѣсь была, возражаетъ Илья Ивановичъ.

— Ты всегда такъ! съ упрекомъ скажетъ жена:—Споришь, только срамишься...

— Ну, какъ же не была въ петровки? Еще тогда все пироги съ грибами пекли: она любить...

— Такъ это Марья Онисимовна: она любить пироги съ грибами — какъ это не помнишь! Да и Марья Онисимовна не до Ильина-дня, а до Прохора и Никанора гостила.

Они вели счетъ времени по праздникамъ, по временамъ года, по разнымъ семейнымъ и домашнимъ случаямъ, не ссылаясь никогда ни на мѣсяцы, ни на числа. Можетъ-быть, это происходило частью и оттого, что, кромѣ самого Обломова, прочіе все путали и названія мѣсяцовъ, и порядокъ чиселъ.



— Замолчить побѣжденный Илья Ивановичъ, и опять все общество погрузится въ дремоту. Илюша, завалившись за спину матери, тоже дремлетъ, а иногда и совсѣмъ спитъ.

— Да, скажетъ потомъ какой-нибудь изъ гостей съ глубокимъ вздохомъ:—вотъ мужъ-то Марьи Онисимовны, покойникъ Василій Ѳомичъ, какой былъ, Богъ съ нимъ, здоровый, а умеръ! И шестидесяти лѣтъ не прожилъ:—жить бы такому сто лѣтъ!

— Всѣ умремъ, кому когда — воля Божья! возражаетъ Пелагея Игнатьевна со вздохомъ. — Кто умираетъ, а вотъ у Хлоповыхъ такъ не поспѣваютъ крестить: говорятъ, Анна Андревна опять родила—ужь это шестой.

— Одна ли Анна Андреевна! сказала хозяйка: — Вотъ какъ брата-то ея женять и пойдутъ дѣти—столько ли еще будетъ хлопотъ! И меньшіе подрастаютъ, тоже въ женихи смотрять; тамъ дочерей выдавай замужъ, а гдѣ женихи здѣсь? Нынче, вишь, вѣдь всѣ хотятъ приданого, да все деньгами...

— Что вы такое говорите? спросилъ Илья Ивановичъ, подойдя къ бесѣдовавшимъ.

— Да вотъ говоримъ, что...

И ему повторяютъ разсказъ.

— Вотъ жизнь-то человѣческая! поучительно произнесъ Илья Ивановичъ:—Одинъ умираетъ, другой родится, третій женится, а мы вотъ все старѣемся: не то, что годъ на годъ, день на день не приходится! Зачѣмъ это такъ? То ли бы дѣло, еслибъ каждый день, какъ вчера, вчера какъ завтра!... Грустно, какъ подумаешь...

— Старый старится, а молодой растетъ! соннымъ голосомъ кто-то сказалъ изъ угла.

— Надо Богу больше молиться, да не думать ни о чемъ! строго замѣтила хозяйка.



— Правда, правда, трусливо, скороговоркой отозвался Илья Ивановичъ, вздумавшій-было пофилософствовать, и пошелъ опять ходить взадъ и впередъ.

Долго опять молчать; скрипять только продѣваемые взадъ и впередъ иглой нитки. Иногда хозяйка нарушить молчаніе.

— Да, темно на дворѣ, скажетъ она. — Вотъ, Богъ дастъ, какъ дождемся святокъ, пріѣдутъ погостить свои, ужъ будетъ повеселѣе, и не видно, какъ будутъ проходить вечера. Вотъ еслибъ Маланья Петровна пріѣхала ужъ тутъ было бы проказъ-то! Чего она не затѣетъ! И олово лить, и воскъ топить, и за ворота бѣгать; дѣвокъ у меня всѣхъ съ пути собьетъ. Затѣетъ игры разныя... такая, право!

— Да, свѣтская дама! замѣтилъ одинъ изъ собесѣдниковъ:—Въ третьемъ году она и съ горъ выдумала кататься, вотъ какъ еще Лука Савичъ бровь расшибъ....

Вдругъ всѣ встрепенулись, посмотрѣли на Луку Савича и разразились хохотомъ.

— Какъ это ты, Лука Савичъ? Ну-ка, ну, расскажи! говоритъ Илья Ивановичъ и помираетъ со смѣху.

И всѣ продолжаютъ хохотать, и Илюша проснулся, и онъ хохочетъ.

— Ну, чего рассказывать! говоритъ смущенный Лука Савичъ:—Это все вонъ Алексѣй Наумычъ выдумалъ: ничего и не было совсѣмъ.

— Э! хоромъ подхватили всѣ: — Да какъ же ничего не было? Мы-то умерли развѣ?... А лобъ-то, лобъ-то, вонъ и до сихъ поръ рубецъ видѣнъ...

И захохотали.

— Да что вы смѣтаетесь? старается выговорить въ промежуткахъ смѣха Лука Савичъ:—Я бы... и не того... да все Васька, разбойникъ... салазки старыя подсунулъ... онъ и разѣхались подо мной... я и того...

Общій хохоть покрылъ его голосъ. Напрасно онъ силился досказать исторію своего паденія: хохоть разлился по всему обществу, проникъ до передней и до дѣвичьей, объѣлъ весь домъ, всѣ вспомнили забавный случай, всѣ хохочутъ долго, дружно, *несказанно*, какъ олимпійскіе боги. Только начнутъ умолкать, кто нибудь подхватитъ опять—и пошло писать.

Наконецъ, кое-какъ, съ трудомъ, успокоились.

— А что, нынче о святкахъ будешь кататься, Лука Савичъ? спросилъ, помолчавъ, Илья Ивановичъ.

Опять общій взрывъ хохота, продолжавшійся минутъ десять.

— Не велѣтъ ли Антипкѣ постомъ сдѣлать гору? вдругъ опять скажетъ Обломовъ:—Лука Савичъ, молю, охотникъ большой, не терпится ему...

Хохоть всей компаніи не далъ договорить ему.

— Да цѣлы ли тѣ... салазки-то? едва отъ смѣха выговорилъ одинъ изъ собесѣдниковъ.

Опять смѣхъ.

Долго смѣялись всѣ, наконецъ стали мало по малу затихать: иной утиралъ слезы, другой сморкался, третій кашлялъ неистово и плевалъ, съ трудомъ выговаривая:

— Ахъ, ты, Господи! Задушила мокрота совсѣмъ... насмѣшилъ тогда, ей-Богу! Такой грѣхъ! Какъ онъ спиной-то кверху, а полы кафтана врозь...

Тутъ слѣдовалъ окончательно послѣдній, самый продолжительный раскатъ хохота, и затѣмъ все смолкло. Одинъ вздохнулъ, другой зѣвнулъ вслухъ, съ приговоркой, и все погрузилось въ молчаніе.

Попрежнему слышалось, только качанье маятника, стукъ сапогъ Обломова, да легкій трескъ откушенной нитки.

Вдругъ Илья Ивановичъ остановился посреди комнаты съ встревоженнымъ видомъ, держась за кончикъ носа.

— Что это за бѣда? Смотрите-ка! сказалъ онъ: — Быть покойнику: у меня кончикъ носа все чешется...

— Ахъ, ты, Господи! всплеснувъ руками, сказала жена: — Какой же это покойникъ, коли кончикъ чешется? Покойникъ — когда переносъ чешется. Ну, Илья Ивановичъ какой ты, Богъ съ тобой, безпамятный! Вотъ, этакъ, скажешь въ людяхъ когда-нибудь, или при гостяхъ и — стыдно будетъ.

— А что жъ это значить, кончикъ-то чешется? спросилъ сконфуженный Илья Ивановичъ.

— Въ рюмку смотрѣть. А то, какъ это можно: покойникъ!

— Все путаю! сказалъ Илья Ивановичъ: — Гдѣ тутъ упомнить: то съ боку носъ чешется, то съ конца, то брови...

— Съ боку, подхватила Пелагея Ивановна: — означать вѣсти; брови чешутся — слезы; лобъ — кланяться; съ правой стороны чешется — мужчинѣ, съ лѣвой — женщинѣ; уши зачесутся значить къ дождю, губы — цѣловаться, усы — гостинцы ѣсть, локоть — на новомъ мѣстѣ спать, подошвы — дорога...

— Ну, Пелагея Ивановна, молодецъ! сказалъ Илья Ивановичъ: — А то еще когда масло дешево будетъ, такъ затылокъ, что ли, чешется...

Дамы начали смѣяться и перешептываться; нѣкоторые изъ мужчинъ улыбались; готовился опять взрывъ хохота, но въ эту минуту въ комнатѣ раздалось, въ одно время, какъ будто ворчанье собаки и шипѣнье кошки, когда онѣ собираются броситься другъ на друга. Это загудѣли часы.

— Э! Да ужъ девять часовъ! съ радостнымъ изумленіемъ произнесъ Илья Ивановичъ. — Смотри-ка, пожалуй, и не видать, какъ время прошло. Эй Васька! Ванька, Мотька!

Явились три заспанные фizioномii.

— Что жъ вы не накрываете на столъ! съ удивленiемъ и досадою спросилъ Обломовъ: — Нѣтъ, чтобъ подумать о господахъ? Ну, чего стоите? Скорѣй, водки!

— Вотъ отчего кончикъ носа чесался! живо сказала Пелагея Ивановна: — Будете пить водку и посмотрите въ рюмку.

Послѣ ужина, почмокавшись и перекрестивъ другъ друга, всѣ расходятся по своимъ постелямъ, и сонъ воцаряется надъ безпечными головами.

Видитъ Илья Ильичъ во снѣ не одинъ, не два такіе вечера, но цѣлыя недѣли, мѣсяцы и годы такъ проводимыхъ дней и вечеровъ.

Ничто не нарушало однообразiя этой жизни, и сами обломовцы не тяготились ею, потому, что и не представляли себѣ другаго житiя-бытiя; а еслибъ и смогли представить, то съ ужасомъ отвернулись бы отъ него.

Другой жизни и не хотѣли, и не любили бы они. Имъ бы жалъ было, еслибъ обстоятельства внесли перемѣны въ ихъ бытъ, какія бы то ни были. Ихъ загрызетъ тоска, если завтра не будетъ похоже на сегодня, а послѣ-завтра на завтра.

Зачѣмъ имъ разнообразіе, перемѣны, случайности, на которыя напрашиваются другіе? Пусть же другіе и расхлебываютъ эту чашу, а имъ, обломовцамъ ни до чего и дѣла нѣтъ. Пусть другіе живутъ, какъ хотятъ.

Вѣдь случайности, хоть бы и выгоды какія нибудь, безпокойны: онѣ требуютъ хлопотъ, заботъ, бѣготни, не посиди на мѣстѣ, торгуй, или пиши, словомъ, поворачивайся, шутка ли!

Они продолжали цѣлыя десятки лѣтъ сопѣть, дремать и зѣвать, или заливаться добродушнымъ смѣхомъ отъ дере-

венскаго юмора, или, собираясь въ кружокъ, рассказывали, что кто видѣлъ ночью во снѣ.

Если сонъ былъ страшный—всѣ задумывались, боялись, не шутя; если пророческій—всѣ непритворно радовались, или печалились, смотря по тому, горестное, или утѣшительное снилось во снѣ. Требовалъ ли сонъ соблюденія какойнибудь примѣты, тотчасъ для этого принимались дѣятельныя мѣры.

Не это, такъ играютъ въ дураки, въ свои козыри, а по праздникамъ съ гостями въ бостонъ, или раскладываютъ гран-пасьянсъ, гадаютъ на червоннаго короля, да на трефовую даму, предсказывая марьяжъ.

Иногда пріѣдетъ какаянибудь Наталья Оаддѣевна гостить на недѣлю, на двѣ. Сначала старухи переберутъ весь околотокъ, кто какъ живетъ, кто что дѣлаетъ; онѣ проникнутъ не только въ семейный бытъ, въ закулисную жизнь, но въ сокровенные помыслы и намѣренія каждаго, влѣзутъ въ душу, побранятъ, обсудятъ недостойныхъ, всего болѣе невѣрныхъ мужей, потомъ пересчитаютъ разные случаи: именины, крестины, родины, кто чѣмъ угощалъ, кого звалъ, кого нѣтъ.

Уставши отъ этого, начнутъ показывать обновки, платья салопы, даже юбки и чулки. Хозяйка похвастается какиминибудь полотнами, нитками, кружевами домашняго издѣлія.

Но истощится и это. Тогда пробавляются кофеями, чаями, вареньями. Потомъ уже переходятъ къ молчанію.

Сидятъ по-долгу, глядя другъ на друга, по временамъ тяжело о чемъ-то вздыхаютъ. Иногда котораянибудь и заплачетъ.

— Что ты, мать моя? спросить въ тревогѣ другая.

— Охъ, грустно, голубушка! отвѣчаетъ съ тяжкимъ



вздохомъ гостя:—Прогнѣвали мы Господа Бога, окаянные. Не бывать добру.

— Ахъ, не пугай, не стражай, родная! прерываетъ хозяйка.

— Да, да, продолжаетъ та: — Пришли послѣдніе дни: возстанетъ языкъ на языкъ, царство на царство... наступитъ свѣтопредставленіе! выговариваетъ, наконецъ, Наталья Ѡаддѣевна, и обѣ плачутъ горько.

Основанія никакого къ такому заключенію со стороны Натальи Ѡаддѣевны не было, никто ни на кого не возставалъ, даже кометы въ тотъ годъ не было, но у старухъ бываютъ иногда темныя предчувствія.

Изрѣдка развѣ это провожденіе времени нарушится какимъ нибудь нечаяннымъ случаемъ, когда, напримѣръ, всѣ угорятъ цѣлымъ домомъ отъ мало до велика.

Другихъ болѣзней почти и не слыхать было въ дому и деревнѣ; развѣ кто нибудь напорется на какой нибудь колъ въ темнотѣ, или свернется съ сѣновала, или съ крыши свалится доска да ударить по головѣ.

Но все это случалось рѣдко, и противъ такихъ нечаянностей употреблялись домашнія испытанныя средства: ушибленное мѣсто потрутъ бодягой, или зарей, дадутъ выпить святой водицы, или пошепчутъ—и все пройдетъ.

Но угаръ случался частенько. Тогда всѣ валяются въ повалку по постелямъ; слышится оханье, стоны; одинъ обложить голову огурцами и повяжется полотенцемъ, другой положить клюквы въ уши и нюхаетъ хрѣнъ, третій въ одной рубашкѣ уйдетъ на морозъ, четвертый просто валяется безъ чувствъ по полу.

Это случалось періодически одинъ или два раза въ мѣсяцъ, потому, что тепла даромъ въ трубу пускать не любили и закрывали печи, когда въ нихъ бѣгали еще такіе огоньки, какъ въ Робертъ-дьяволѣ. Ни къ одной лежанкѣ,

ни къ одной печкѣ нельзя было приложить руки: того и гляди вскочить пузырь.

Однажды только однообразіе ихъ быта нарушилось ужъ подлинно нечаяннымъ случаемъ.

Когда, отдохнувъ послѣ труднаго обѣда, всѣ собрались къ чаю, вдругъ пришелъ воротившійся изъ города обломовскій мужикъ, и ужъ онъ доставалъ, доставалъ изъ-за пазухи, наконецъ насилу досталъ скомканное письмо на имя Ильи Ивановича Обломова.

Всѣ обомлѣли; хозяйка даже измѣнилась немного въ лицѣ; глаза у всѣхъ устремились и носы вытянулись по направленію къ письму.

— Что за диковина! Отъ кого это? произнесла, наконецъ, барыня, опомнившись.

Обломовъ взялъ письмо и съ недоумѣніемъ ворочалъ его въ рукахъ, не зная, что съ нимъ дѣлать.

— Да ты гдѣ взял? спросилъ онъ мужика:—Кто тебѣ далъ?

— А на дворѣ, гдѣ я приставаѣ въ городѣ-то, слышь ты, отвѣчалъ мужикъ: — съ почты приходили два раза спрашивать, нѣтъ ли обломовскихъ мужиковъ: письмо слышь, къ барину есть.

— Ну?..

— Ну, я перва на перво притаился: солдатъ и ушелъ съ письмомъ-то. Да верхлѣвскій дьячокъ видалъ меня, онъ и сказалъ. Пришелъ въ-другорядъ. Какъ пришли въ-другорядъ-то, ругаться стали и отдали письмо, еще пятакъ взяли. Я спросилъ, что, молъ, дѣлать мнѣ съ нимъ, куда его дѣтъ? Такъ вотъ велѣли вашей милости отдать.

— А ты бы не бралъ, сердито замѣтила барыня.

— Я и то не бралъ. На что, молъ, намъ письмо-то, — намъ не надо. Намъ, молъ, не наказывали писемъ брать — я не смѣю: подите вы, съ письмомъ-то! Да пошелъ больно

ругаться солдатъ-то: хотѣлъ начальству жаловаться; я и взялъ.

— Дуракъ! сказала барыня.

— Отъ кого жъ бы это? задумчиво говорилъ Обломовъ, разсматривая адресъ: — Рука какъ-будто знакомая, право!

И письмо пошло ходить изъ рукъ въ руки. Начались толки и догадки: отъ кого и о чемъ оно могло быть? Всѣ, наконецъ, стали въ-тупикъ.

Илья Ивановичъ велѣлъ сыискать очки: ихъ отыскивали часа полтора. Онъ надѣлъ ихъ и уже подумывалъ-было вскрыть письмо.

— Полно, не распечатывай, Илья Иванычъ, съ боязнью остановила его жена: — кто его знаетъ, какое оно тамъ, письмо-то? можетъ-быть, еще страшное, бѣда какая-нибудь. Вишь, вѣдь, народъ-то нынче какой сталъ! Завтра или послѣзавтра успѣешь — не уйдетъ оно отъ тебя.

И письмо съ очками было спрятано подъ замокъ. Всѣ занялись чаемъ. Оно бы пролежало тамъ годы, еслибъ не было слишкомъ-необыкновеннымъ явленіемъ и не взволновало умы обломовцевъ. За чаемъ и на другой день у всѣхъ только и разговора было, что о письмѣ.

Наконецъ не вытерпѣли и на четвертый день, собравшись толпой, съ смущеніемъ распечатали. Обломовъ взглянулъ на подпись.

— „Радищевъ“, прочиталъ онъ. — Э! Да это отъ Филиппа Матвѣича!

— А! Э! Вотъ отъ кого! поднялось со всѣхъ сторонъ. — Да какъ это онъ еще живъ по сю пору? Поди ты, еще не умеръ! Ну, слава Богу! Что онъ пишетъ?

Обломовъ сталъ читать вслухъ. Оказалось, что Филиппъ Матвѣевичъ проситъ прислать ему рецептъ пива, которое особенно-хорошо варили въ Обломовкѣ.

— Послать, послать ему! заговорили всѣ:—Надо написать письмецо.

Такъ прошло недѣли двѣ.

— Надо, надо написать! твердилъ Илья Ивановичъ жень:—Гдѣ рецептъ-то?

— А гдѣ онъ? отвѣчала жена: — Еще надо съискать. Да погоди, что торопиться? Вотъ, Богъ дастъ, дождемся праздника, разговѣмся, тогда и напишешь; еще не уйдетъ...

— Въ-самомъ-дѣлѣ, о праздникѣ лучше напишу, сказалъ Илья Ивановичъ.

На праздникѣ опять зашла рѣчь о письмѣ. Илья Ивановичъ собрался совсѣмъ писать. Онъ удалился въ кабинетъ, надѣлъ очки и сѣлъ къ столу.

Въ домѣ воцарилась глубокая тишина; людямъ не велѣно было топать и шумѣть. — Баринъ пишетъ! говорили всѣ такимъ робко-почтительнымъ голосомъ, какимъ говорить, когда въ домѣ есть покойникъ.

Онъ только было вывелъ: „Милостивый государь“, медленно, криво, дрожащей рукой и съ такою осторожностью, какъ-будто дѣлалъ какое-нибудь опасное дѣло, какъ къ нему явилась жена.

— Искала, искала — нѣту рецепта, сказала она.— Надо еще въ спальнѣ въ шкапу поискать. Да какъ посылать письмо-то?

— Съ почтой надо, отвѣчалъ Илья Ивановичъ.

— А что туда стоитъ?

Обломовъ досталъ старый календарь.

— Сорокъ копеекъ, сказалъ онъ.

Вотъ, сорокъ копеекъ на пустяки бросать! замѣтила она:—Лучше подождемъ, не будетъ ли изъ города оказіи туда. Ты вели узнавать мужикамъ.

— И въ-самомъ-дѣлѣ, по оказіи-то лучше, отвѣчалъ

Илья Ивановичъ и, пощелкавъ перо объ столъ, всунуль въ чернильницу и снялъ очки.

— Право, лучше, заключилъ онъ: — еще не уйдетъ: успѣемъ послать.

Неизвѣстно, дождался ли Филиппъ Матвѣевичъ рецепта.

Илья Ивановичъ иногда возьметъ и книгу въ руки—ему все равно, какую-нибудь. Онъ и не подозрѣвалъ въ чтеніи существенной потребности, а считалъ его роскошью, такимъ дѣломъ, безъ котораго легко и обойтись можно, такъ точно, какъ можно имѣть картину на стѣнѣ, можно и не имѣть, можно пойти прогуляться, можно и не пойти: отъ этого ему все-равно, какая бы ни была книга; онъ смотрѣлъ на нее, какъ на вещь, назначенную для развлечения, отъ скуки и отъ-нечего-дѣлать.

— Давно не читалъ книги, скажетъ онъ, или иногда измѣнить фразу: — Дай-ка почитаю книгу, скажетъ, или просто, мимоходомъ, случайно увидить доставшуюся ему послѣ брата небольшую кучку книгъ и вынетъ, не выбирая, что попадется. Голиковъ ли попадется ему, *Новый-шій* ли *Сонникъ*, Хераскова *Россіяда*, или трагедіи Сумарокова, или, наконецъ, третьягодичныя вѣдомости—онъ все читаетъ съ равнымъ удовольствіемъ, приговаривая по-временамъ:

— Видишь, что вѣдь выдумалъ! Экой разбойникъ! Ахъ, чтобъ тебѣ пусто было!

Эти восклицанія относились къ авторамъ—званіе, которое въ глазахъ его не пользовалось никакимъ уваженіемъ; онъ даже усвоилъ себѣ и то полупрезрѣніе къ писателямъ, которое питали къ нимъ люди стараго времени. Онъ, какъ и многіе тогда, почиталъ сочинителя не иначе, какъ весельчакомъ, гулякой, пьяницей и потѣшникомъ, въ родѣ плясуна.



Иногда онъ изъ третьягодичныхъ газетъ почитаетъ и вслухъ, для всѣхъ, или такъ сообщаетъ имъ извѣстія.

— Вотъ изъ Гаги пишутъ, скажетъ онъ, — что е. в. король изволилъ благополучно возвратиться изъ кратковременнаго путешествія во дворецъ, и при этомъ поглядить черезъ очки на всѣхъ слушателей.

Или:

— Въ Вѣнѣ такой-то посланникъ вручилъ свои кредитивныя грамматы.

— А вотъ тутъ пишутъ, читалъ онъ еще, что сочиненія г-жи Жанлисъ перевели на російскій языкъ.

— Это все, чай, для того переводятъ, замѣчаетъ одинъ изъ слушателей, мелкопомѣстный помѣщикъ: — чтобъ у нашего брата, дворянина, деньги выманивать.

А бѣдный Илюша ѣздитъ да ѣздитъ учиться къ Штольцу. Какъ только онъ проснется въ понедѣльникъ, на него ужъ нападаетъ тоска. Онъ слышитъ рѣзкій голосъ Васьки, который кричитъ съ крыльца:

— Антипка! Закладывай пѣгую: барченка къ нѣмцу везти!

Сердце дрогнетъ у него. Онъ печальный приходитъ къ матери. Та знаетъ, отчего, и начинаетъ золотить пилюлю, втайнѣ вздыхая сама о разлукѣ съ нимъ на цѣлую недѣлю.

Не знаютъ чѣмъ и накормить его въ то утро, напекутъ ему булочекъ и крендельковъ, отпустятъ съ нимъ соленья, печенья, варенья, пастиль разныхъ и другихъ всякихъ сухихъ и мокрыхъ лакомствъ, и даже съѣстныхъ припасовъ. Все это отпускалось въ тѣхъ видахъ, что у нѣмца нежирно кормятъ.

— Тамъ не разѣшья, говорили обломовцы: — обѣдать-то дадутъ супу, да жаркого, да картофелю, къ чаю масла, а ужинать-то *моренъ фри* — носъ утри.

Впрочемъ, Ильѣ Ильичу снятся больше такіе понедѣльники, когда онъ не слышитъ голоса Васьки, приказывающаго закладывать пѣгашку, и когда мать встрѣчаетъ его за чаемъ съ улыбкой и съ пріятною новостью:

— Сегодня не поѣдешь; въ четвергъ большой праздникъ: стоитъ ли ѣздить взадъ и впередъ на три дня?

Или иногда вдругъ объявить ему сегодня родительская недѣля:—Не до ученья: блины будемъ печь.

А не то, такъ мать посмотритъ утромъ въ понедѣльникъ пристально на него, да и скажетъ:

— Что-то у тебя глаза несвѣжи сегодня. Здоровъ ли ты? и покачаетъ головой.

Лукавый мальчишка здоровѣхонекъ, но молчитъ.

— Посиди-ка ты эту недѣлку дома, скажетъ она:—а тамъ—что Богъ дастъ.

И всѣ въ домѣ были проникнуты убѣжденіемъ, что ученье и родительская суббота никакъ не должны совпадать вмѣстѣ, или что праздникъ въ четвергъ—неодолимая преграда къ ученю во всю недѣлю.

Развѣ только иногда слуга, или дѣвка, которымъ достанется за барченка, проворчатъ:

—У, баловень! Скоро ли провалишься къ своему нѣмцу?

Въ другой разъ вдругъ къ нѣмцу Антипка явится на знакомой пѣгашкѣ, среди или въ началѣ недѣли, за Ильей Ильичемъ.

— Приѣхала, дескать, Марья Савишна или Наталья Оаддѣевна гостить или Кузовковы со своими дѣтьми, такъ пожалуйста домой!

И недѣли три Илюша гоститъ дома, а тамъ, смотришь, до страстной недѣли ужъ недалеко, а тамъ, и праздникъ, а тамъ кто нибудь въ семействѣ почему-то рѣшить, что на ѳоминой недѣлѣ не учатся; до лѣта остается недѣли двѣ

—не стоит ѣздить, а лѣтомъ и самъ нѣмецъ отдыхаетъ, такъ ужь лучше до осени отложить.

Посмотришь, Илья Ильичъ и отгуляется въ полгода, и какъ выростетъ онъ въ это время! Какъ потолстѣетъ! Какъ спать славно! Не налюбуются на него въ домѣ, замѣчая, напротивъ, что, возвратясь въ субботу отъ нѣмца, ребенокъ худъ и блѣденъ.

— Долго ли до грѣха? говорили отецъ и мать:—Ученье-то не уйдетъ, а здоровья не купишь; здоровье дороже всего въ жизни. Вишь, онъ изъ ученья какъ изъ больницы воротится: жирокъ весь пропадаетъ, жиденъкій такой... да и шалунъ: все бы ему бѣгать!

— Да, замѣтитъ отецъ: — ученье-то не свой братъ: хоть кого въ бараній рогъ свернетъ!

И нѣжные родители продолжали пріискивать предлоги удерживать сына дома. За предлогами, и кромѣ праздниковъ, дѣло не ставало. Зимой казалось имъ холодно, лѣтомъ по жарѣ тоже не годится ѣхать, а иногда и дождь пойдетъ, осенью слякоть мѣшаетъ. Иногда Антипка что-то сомнителенъ покажется: пьянъ, не пьянъ, а какъ-то дико смотреть: бѣды бы не было, завязнетъ, или оборвется гдѣнибудь.

Обломовы старались, впрочемъ, придать какъ можно болѣе законности этимъ предлогамъ въ своихъ собственныхъ глазахъ, и особенно въ глазахъ Штольца, который не щадилъ и въ глаза, и за глаза, *доннерветтеровъ* за такое баловство.

Времена Простаковыхъ и Скотининыхъ миновались давно. Пословица: *ученье свѣтъ, а неученье тѣма*, бродила уже по селамъ и деревнямъ вмѣстѣ съ книгами, развозимыми букинистами.

Старики понимали выгоду просвѣщенія, но только внѣшнюю его выгоду. Они видѣли, что ужь всѣ начали

выходить въ люди, то есть пріобрѣтать чины, кресты и деньги не-иначе, какъ только путемъ ученья; что старымъ подъячимъ, заторѣлымъ на службѣ дѣльцамъ, состарѣвшимся въ давнишнихъ привычкахъ, кавычкахъ и крючкахъ, приходилось плохо.

Стали носиться зловѣщіе слухи о необходимости не-только знанія грамоты, но и другихъ, до тѣхъ поръ не-слыханныхъ въ томъ быту наукъ. Между титулярнымъ совѣтникомъ и коллежскимъ ассессоромъ разверзалась бездна, мостомъ черезъ которую служилъ какой-то дипломъ.

Старые служаки, чада привычки и питомцы взятокъ, стали исчезать. Многихъ, которые не успѣли умереть, выгнали за неблагонадежность, другихъ отдали подъ-судъ; самые счастливые были тѣ, которые, махнувъ рукой на новый порядокъ вещей, убрались по-добру да по-здорову въ благопріобрѣтенные углы.

Обломовы смекали это и понимали выгоду образованія, но только эту очевидную выгоду. О внутренней потребности ученья они имѣли еще смутное и отдаленное понятіе, и оттого имъ хотѣлось уловить для своего Илюши пока нѣкоторыя блестящія преимущества.

Они мечтали и о шитомъ мундирѣ для него, воображали его совѣтникомъ въ палатѣ, а мать даже и губернаторомъ; но всего этого хотѣлось бы имъ достигнуть какъ-нибудь подешевле, съ разными хитростями, обойти тайкомъ разбросанные по пути просвѣщенія и честей камни и преграды, не трудясь перескакивать черезъ нихъ, то-есть, напимѣръ, учиться слегка, не до изнуренія души и тѣла, не до утраты благословенной, въ дѣтствѣ пріобрѣтенной полноты, а такъ, чтобъ только соблюсти предписанную форму и добыть какъ-нибудь аттестатъ, въ которомъ бы сказано было, что Илюша *прошелъ всѣ науки и искусства*.



Вся эта обломовская система воспитанія встрѣтила сильную оппозицію въ системѣ Штольца. Борьба была съ обѣихъ сторонъ упорная. Штолецъ прямо открыто и настойчиво поражалъ соперниковъ, а они уклонялись отъ ударовъ вышесказанными и другими хитростями.

Побѣда не рѣшалась никакъ; можетъ-быть, нѣмецкая настойчивость и преодолѣла бы упрямство и закоснѣлость обломовцевъ, но нѣмецъ встрѣтилъ затрудненія на своей собственной сторонѣ, и побѣдѣ не суждено было рѣшиться ни на ту, ни на другую сторону. Дѣло въ томъ, что сынъ Штольца баловалъ Обломова, то подсказывая ему уроки, то дѣлая за него переводы.

Ильѣ Ильичу ясно видится и домашній бытъ его, и житіе у Штольца.

Онъ только-что проснется у себя дома, какъ у постели его уже стоитъ Захарка, въ послѣдствіи знаменитый камердинеръ его Захаръ Трофимычъ.

Захаръ, какъ, бывало, нянька, натягиваетъ ему чулки, надѣваетъ башмаки, а Илюша, уже четырнадцатилѣтній мальчикъ, только и знаетъ, что подставляетъ ему, лежа, то ту, то другую ногу; а чуть-что покажется ему не такъ, то онъ поддастъ Захаркѣ ногой въ носъ.

Если недовольный Захарка вздумаетъ пожаловаться, то получить еще отъ старшихъ колотушку.

Потомъ Захарка чешетъ голову, натягиваетъ куртку, осторожно продѣвая руки Ильи Ильича въ рукава, чтобъ не слишкомъ беспокоить его, и напоминаетъ Ильѣ Ильичу, что надо сдѣлать то, другое: вставши по утру, умыться и т. п.

Захочетъ ли чего-нибудь Илья Ильичъ, ему стоитъ только мигнуть—ужь трое-четверо слугъ кидаются исполнять его желаніе; уронить ли онъ что-нибудь, достать ли ему нужно вещь, да не достанетъ, — принести ли что,



сбѣгать ли зачѣмъ: ему иногда, какъ рѣзвому мальчику, такъ и хочется броситься и передѣлать все самому, а тутъ вдругъ отецъ и мать, да три тѣтки въ пять голосовъ и закричатъ:

— Зачѣмъ? Куда? А Васька, а Ванька, а Захарка на что? Эй! Васька! Ванька! Захарка! Чего вы смотрите, розини? Вотъ я васъ!..

И не удастся никакъ Ильѣ Ильичу сдѣлать что-нибудь самому для себя.

Послѣ онъ нашелъ, что оно и покойнѣе гораздо, и самъ выучился покрикивать: — Эй, Васька! Ванька! подай то, дай другое! Не хочу того, хочу этого! Сбѣгай, принеси!

Подъ-часть нѣжная заботливость родителей и надоѣдала ему.

Побѣжить ли онъ съ лѣстницы, или по двору, вдругъ вслѣдъ ему раздастся въ десять отчаянныхъ голосовъ: — Ахъ, ахъ! Поддержите, остановите! Упадетъ, расшибется... стой, стой!

Задумаетъ ли онъ выскочить зимой въ сѣни, или открыть форточку—опять крики: — Ай, куда? Какъ можно? Не бѣгай, не ходи, не отворяй: убьешься, простудишься...

И Илюша съ печалью оставался дома, лелѣемый, какъ экзотическій цвѣтокъ въ теплицѣ, и такъ же, какъ послѣдній подъ стекломъ, онъ росъ медленно и вяло. Ищущія проявленія силы обращались внутрь и никли, увядая.

А иногда онъ проснется такой бодрый, свѣжій, веселый; онъ чувствуетъ: въ немъ играетъ что-то, кипитъ, точно поселился бѣсенокъ какой-нибудь, который такъ и поддразниваетъ его, то влѣзть на крышу, то сѣсть на савраску да поскакать въ луга, гдѣ сѣно косятъ, или посидѣть на заборѣ верхомъ, или поддразнить деревенскихъ

собакъ; или вдругъ захочется пуститься бѣгомъ по деревнѣ, потомъ въ поле, по буеракамъ, въ березнякъ, да въ три скачка броситься на дно оврага, или увязаться за мальчишками играть въ снѣжки, попробовать свои силы.

Бѣсенокъ такъ и подмываетъ его: онъ крѣпится, крѣпится, наконецъ не вытерпитъ, и вдругъ, безъ картуза, зимой, прыгъ съ крыльца на дворъ, оттуда за ворота, захватилъ въ обѣ руки по кому снѣга и мчится къ кучѣ мальчишекъ.

Свѣжій вѣтеръ такъ и рѣжетъ ему лицо, за уши щиплетъ морозъ, въ ротъ и горло пахнуло холодомъ, а грудь охватило радостью — онъ мчится, откуда ноги взялись, самъ и визжитъ, и хохочетъ.

Вотъ и мальчишки: онъ бацъ снѣгомъ—мимо: сноровки нѣтъ; только хотѣлъ захватить еще снѣжку, какъ все лицо залѣпила ему цѣлая глыба снѣгу: онъ упалъ; и больно ему съ непривычки, и весело, и хохочетъ онъ, и слезы у него на глазахъ...

А въ домѣ гвалтъ:—Илюши нѣтъ! Крикъ, шумъ. На дворъ выскочилъ Захарка, за нимъ Васька, Митька, Ванька—все бѣгутъ, растерянные, по двору.

За ними кинулись, хватая ихъ за пятки, двѣ собаки, которыя, какъ извѣстно, не могутъ равнодушно видѣть бѣгущаго человека.

Люди съ криками, съ воплями, собаки съ лаемъ, мчатся по деревнѣ.

Наконецъ, набѣжали на мальчишекъ и начали чинить правосудіе: кого за волосы, кого за уши, иному подзатыльника; пригрозили и отцамъ ихъ.

Потомъ уже овладѣли барченкомъ, окутали его въ захваченный тулупъ, потомъ въ отцовскую шубу, потомъ

въ два одѣяла, и торжественно принесли на рукахъ домой.

Дома отчаялись уже видѣть его, считая погибшимъ; но при видѣ его живаго и невредимаго, радость родителей была неописанная. Возблагодарили Господа Бога, потомъ напоили его мятой, тамъ бузиной, къ вечеру еще малиной, и продержали дня три въ постели, а ему бы одно могло быть полезно: опять играть въ снѣжки...

## Х.

Только-что храпѣнье Ильи Ильича достигло слуха Захара, какъ онъ прыгнулъ осторожно, безъ шума, съ лежанки, вышелъ на цыпочкахъ въ сѣни, заперъ барина на замокъ и отправился къ воротамъ.

— А, Захаръ Трофимычъ: добро пожаловать! Давно васъ не видно! заговорили на разные голоса кучера, лакеи, бабы и мальчишки у воротъ.

— Что вашъ-то? Со двора, что ли, ушелъ? спросилъ дворникъ..

— Дрыхнетъ, мрачно сказалъ Захаръ.

— Что такъ? спросилъ кучеръ: — Рано бы, кажись, объ эту пору... нездоровъ, видно?

— Э, какое нездоровъ! Нарѣзался! сказалъ Захаръ такимъ голосомъ, какъ-будто и самъ убѣжденъ былъ въ этомъ. — Повѣрите ли? Одинъ выпилъ полторы бутылки мадеры, два штофа квасу, да вонъ теперь и завалился.

— Экъ! съ завистью сказалъ кучеръ.

— Что-жь это онъ нынче такъ подгулялъ? спросила одна изъ женщинъ.

— Нѣтъ, Татьяна Ивановна, отвѣчалъ Захаръ, бросивъ на нее свой односторонній взглядъ: — не то, что нынче: совсѣмъ никуда не годенъ сталъ — и говорить-то тошно!

— Видно, какъ моя! со вздохомъ замѣтила она.

— А что, Татьяна Ивановна, поѣдетъ она сегодня куда нибудь? спросилъ кучеръ: — мнѣ бы вонъ тутъ недалеко сходить?

— Куда ее унесетъ! отвѣчала Татьяна: — Сидить съ своимъ ненагляднымъ, да не налюбуются другъ на друга.

— Онъ къ вамъ частенько, сказалъ дворникъ: — надоѣлъ по ночамъ, проклятый: ужъ всѣ выйдутъ, и всѣ придутъ: онъ всегда послѣдній, да еще ругается, зачѣмъ парадное крыльцо заперто... Стану я для него тутъ караулить крыльцо-то!

— Какой дуракъ, братцы, сказала Татьяна: — такъ этакого поискать! Чего, чего не надарить ей? Она разрядится, точно пава, и ходитъ такъ важно; а кабы кто посмотрѣлъ, какія юбки, да какіе чулки носить, такъ срамъ посмотрѣть! Шеи по двѣ недѣли не моетъ, а лицо мажетъ... Иной разъ согрѣшишь, право, подумаешь: „Ахъ, ты убогая! надѣла бы ты платокъ на голову, да шла бы въ монастырь, на богомолье...“

Всѣ, кромѣ Захара, засмѣялись.

— Ай-да Татьяна Ивановна, мимо не попадетъ! говорили одобрительно голоса.

— Да право! продолжала Татьяна:—Какъ это господа пускаютъ съ собой этакую?...

— Куда это вы собрались? спросилъ ее кто-то: — Что это за узелъ у васъ?

— Платье несу къ портнихѣ; послала щеголиха-то моя: вишь широко! А какъ станемъ съ Дуняшей тушу-то стягивать, такъ руками послѣ дня три дѣлать ничего нельзя: всѣ обломаешь! Ну, мнѣ пора. Прощайте, пока.

— Прощайте, прощайте! сказали нѣкоторые.

— Прощайте, Татьяна Ивановна, сказалъ кучеръ. — Приходите-ка вечеромъ.

— Да не знаю какъ; можетъ, приду, а то такъ... ужь прощайте!

— Ну, прощайте, сказали всѣ.

— Прощайте... счастливо вамъ! отвѣчала она, уходя.

— Прощайте, Татьяна Ивановна! крикнулъ еще вслѣдъ кучеръ.

— Прощайте! звонко откликнулась она издали.

Когда она ушла, Захаръ какъ-будто ожидалъ своей очереди говорить. Онъ сѣлъ на чугунный столбикъ у воротъ и началъ болтать ногами, угрюмо и разсѣянно поглядывая на проходящихъ и проѣзжающихъ.

— Ну, какъ вашъ-то сегодня, Захаръ Трофимычъ? спросилъ дворникъ.

— Да какъ всегда: бѣсится съ жиру, сказалъ Захаръ:—а все за тебя, по твоей милости, перенесъ я горя-то немало: все на счетъ квартиры-то! Бѣсится: больно не хочется съѣзжать...

— Чтò я-то виноватъ? сказалъ дворникъ: — По-мнѣ живи-себѣ хоть вѣкъ; нешто я тутъ хозяинъ? Мнѣ велятъ... Кабы я былъ хозяинъ, а то я не хозяинъ...

— Что жъ онъ, ругается, что ли? спросилъ чей-то кучеръ.

— Ужъ такъ ругается, что какъ только Богъ даетъ силу переносить!

— Ну, что жъ? Это добрый баринъ, коли все ругается! сказалъ одинъ лакей, медленно, со скрипомъ открывая круглую табакерку, и руки всей компаніи, кромѣ Захаровыхъ, потянулись за табакомъ. Началось всеобщее нюханье, чиханье и плеванье.

— Коли ругается, такъ лучше, продолжалъ тотъ: — чѣмъ пуще ругается, тѣмъ лучше: по крайности не прибѣтъ, коли ругается. А вотъ, какъ я жилъ у одного:



ты еще не знаешь за что, а ужь онъ, смотришь, за волосы держитъ тебя.

Захаръ презрительно ожидалъ, пока этотъ кончилъ свою тираду и, обратившись къ кучеру, продолжалъ:

— Такъ вотъ опозорить тебѣ человѣка ни за что, ни про что, говорилъ онъ:—это ему ни почемъ!

— Неудобливъ видно? спросилъ дворникъ.

— И! прохрипѣлъ Захаръ значительно, зажмуривъ глаза: — Такъ неудобливъ, что бѣда! И то не такъ, и это не такъ, и ходить не умѣешь, и подать-то не смыслишь, и ломаешь-то все, и не чистишь, и крадешь, и съѣдаешь... Тѣфу, чтобъ тебѣ!.. Сегодня напустился—срамъ слушать! А за что? Кусочекъ сыру еще отъ той недѣли остался — собакѣ стыдно бросить—такъ нѣтъ, человѣкъ и не думай съѣсть! Спросилъ—„нѣтъ-моль“, и пошелъ: „Тебя, говорить, повѣсить надо, тебя, говорить, сварить въ горячей смолѣ надо, да щипцами калеными рвать; колъ осиновый, говорить, въ тебя вколотить надо!“ А самъ такъ и лѣзетъ, такъ и лѣзетъ... Какъ вы думаете, братцы? Намедни обварилъ я ему—кто его знаетъ какъ—ногу кипяткомъ, такъ вѣдь какъ заоралъ! Не отскочи я, такъ онъ бы толкнулъ меня въ грудь кулакомъ... такъ и наровить! Чисто толкнулъ бы...

Кучеръ покачалъ головой, а дворникъ сказалъ:—Вишь ты, бойкій баринъ: не даетъ повадки!

— Ну, коли еще ругаетъ, такъ это славный баринъ! Флегматически говорилъ все тотъ же лакей:—Другой хуже, какъ не ругается: глядитъ, глядитъ, да вдругъ тебя за волосы поймаетъ, а ты еще не смекнулъ, за что!

— Да даромъ, сказалъ Захаръ, не обративъ опять никакого вниманія на слова перебившаго его лакея:—нога еще и доселѣва не зажила: все мажетъ мазью; пусть-ка его!

— Характерный баринъ! сказалъ дворникъ.

— И не дай Богъ! продолжалъ Захаръ:—убьетъ когда-нибудь человѣка; ей-Богу, до смерти убьетъ! И вѣдь за всяку бездѣлицу норовитъ выругать лысымъ... ужь не хочется договаривать. А вотъ сегодня такъ новое выдумалъ: „ядовитый“ говоритъ! Поворачивается же языкъ-то!...

— Ну, это что? говорилъ все тотъ же лакей:—Коли ругается, такъ это слава Богу, дай Богъ такому здоровья... А какъ все молчить; ты идешь мимо, а онъ глядитъ, глядитъ да и вцѣпится, вонъ какъ тотъ, у котораго я жилъ. А ругается, такъ ничего...

— И подѣломъ тебѣ, замѣтилъ ему Захаръ съ злостью за непрошенныя возраженія:—я бы еще не-такъ тебя.

— Какъ же онъ ругаетъ „лысымъ“, Захаръ Трофимычъ, спросилъ казачокъ лѣтъ пятнадцати: — чортомъ, что ли?

Захаръ медленно поворотилъ къ нему голову и остановилъ на немъ мутный взглядъ.

— Смотри ты у меня! сказалъ онъ потомъ ѣдко: — Молодъ, братъ, востеръ очень! Я не посмотрю, что ты генеральскій: я-те за вихорь! Пошелъ-ка къ своему мѣсту!

Казачокъ отошелъ шага на два, остановился и глядѣлъ съ улыбкой на Захара.

— Что скалишь зубы-то? съ яростью захрипѣлъ Захаръ:—Погоди, попадешься, я-те уши-то направлю, какъ-разъ: будешь у меня скалить зубы!

Въ это время изъ подъѣзда выбѣжалъ огромный лакей, въ ливрейномъ фракѣ на-распашку, съ аксельбантами и въ штиблетахъ. Онъ подошелъ къ казачку, далъ ему сначала оплеуху, потомъ назвалъ дуракомъ.

— Что вы, Матвѣй Мосейчъ, за что это? сказалъ оза-

даченный и сконфуженный казачокъ, придерживаясь за щеку и судорожно мигая.

— А! Ты еще разговаривать? отвѣчалъ лакей:— Я за тобой по всему дому бѣгаю, а ты здѣсь!

Онъ взялъ его одной рукой за волосы, нагнулъ ему голову и три раза методически, ровно и медленно, ударилъ его по шеѣ кулакомъ.

— Баринъ пять разъ звонилъ, прибавилъ онъ въ видѣ правоученія: — а меня ругаютъ за тебя, щенка этакого! Пошелъ!

И онъ повелительно указывалъ ему рукой на лѣстницу. Мальчикъ постоялъ съ минуту въ какомъ-то недоумѣннѣ, мигнулъ раза два, взглянулъ на лакея, и видя, что отъ него больше ждать нечего, кромѣ повторенія того же самаго, встряхнулъ волосами и пошелъ на лѣстницу, какъ встрепанный.

Какое торжество для Захара!

— Хорошенько его, хорошенько, Матвѣй Мосейчъ! Еще, еще! приговаривалъ онъ, злобно радуясь.— Эхъ, мало! Ай-да Матвѣй Мосейчъ! Спасибо! А то востеръ больно... Вотъ тебѣ „лысый чортъ!“ Будешь впередъ зубоскалить?

Дворня хохотала, дружно сочувствуя и лакею, прибавшему казачка, и Захару, злобно-радовавшемуся этому. Только казачку никто не сочувствовалъ.

— Вотъ, вотъ этакъ же, ни дать, ни взять, бывало, мой прежній баринъ, началъ опять тотъ же лакей, что все перебивалъ Захара:—ты, бывало, думаешь какъ-бы повеселиться, а онъ вдругъ, словно угадаетъ, что ты думалъ, идетъ мимо, да и ухватить, вотъ, этакъ, вотъ какъ Матвѣй Мосейчъ Андрюшку. А это что, коли только ругается! Велика важность: „лысымъ чортомъ“ выругаетъ!

— Тебя бы, можетъ, ухватилъ и его баринъ, отвѣчалъ

ему кучеръ, указывая на Захара: — вишь у-те войлокъ какой на головѣ! А за что онъ ухватить Захара-то Трофимыча? Голова-то словно тыква... Развѣ вотъ за эти двѣ бороды-то, что на скулахъ-то, поймаешь: ну, тамъ есть за что!...

Всѣ захохотали, а Захаръ былъ какъ ударомъ пораженъ этой выходкой кучера, съ которымъ однимъ онъ и велъ до тѣхъ поръ дружескую бесѣду.

— А вотъ какъ я скажу барину-то, началъ онъ съ яростью хрипѣть на кучера:—такъ онъ найдетъ за что и тебя ухватить: онъ тебѣ бороду-то выгладить: вишь она у тебя въ сосулькахъ вся!

— Гораздъ же твой баринъ, коли будетъ чужимъ кучерамъ бороды гладить! Нѣтъ, вы заведите-ка своихъ, да въ тѣ поры и гладьте, а то больно торовать!

— Не тебя ли взять въ кучера, мазурика этакаго? захрипѣлъ Захаръ:—Такъ ты не стоишь, чтобъ тебя самого запрячь моему барину-то!

— Ну, ужъ баринъ! замѣтилъ язвительно кучеръ: — Гдѣ ты этакаго выкопалъ?

Онъ самъ и дворникъ, и цирюльникъ, и лакей, защитникъ системы ругательства, всѣ захохотали.

— Смѣйтесь, смѣйтесь, а я вотъ скажу барину-то! хрипѣлъ Захаръ.

— А тебѣ, сказалъ онъ, обращаясь къ дворнику:—надо бы унять этихъ разбойниковъ, а не смѣяться. Ты зачѣмъ приставленъ здѣсь?—Порядокъ всякій исправлять. А ты что? Я, вотъ, скажу барину-то; постой, будетъ тебѣ!

— Ну, полно, полно, Захаръ Трофимычъ! говорил дворникъ, стараясь успокоить его: —что онъ тебѣ сдѣлалъ?

— Какъ онъ смѣетъ такъ говорить про моего барина? возразилъ горячо Захаръ, указывая на кучера. — Да знаетъ ли онъ, кто мой баринъ-то? съ благоговѣніемъ спросилъ онъ. — Да тебѣ, говорилъ онъ, обращаясь къ кучеру: — и во снѣ не увидать такого барина: добрый, умница, красавецъ! А твой-то точно некормленная кляча! Срамъ по-смотреть, какъ выѣзжаете со двора на бурой кобылѣ: точно нищія! Ыдите-то рѣдкѣ съ квасомъ. Вонъ на тебѣ армячишка: дыръ-то не сосчитаешь!..

Надо замѣтить, что армякъ на кучерѣ былъ вовсе безъ дыръ.

— Да ужъ такого не съищешь, перебилъ кучеръ и выдернулъ проворно совсѣмъ наружу торчавшій изъ-подъ мышки Захара клочокъ рубашки.

— Полно, полно вамъ! твердилъ дворникъ, протягивая между нихъ руки.

— А! Ты платье мое драть! закричалъ Захаръ, вытаскивая еще больше рубашки наружу: — Пстой, я покажу барину! Вотъ, братцы, посмотрите, что онъ сдѣлалъ: платье мнѣ разорвалъ!..

— Да, я! говорилъ кучеръ, нѣсколько струсивъ: — Видно баринъ оттрепалъ...

— Оттреплеть этакій баринъ! говорилъ Захаръ: — Такая добрая душа; да это золото—а не баринъ, дай Богъ ему здоровья! Я у него, какъ въ царствіи небесномъ: ни нужды никакой не знаю, отъ-роду дуракомъ не назвалъ; живу въ добрѣ, въ покоѣ, ѣмъ съ его стола, уйду, куда хочу—вотъ что!.. А въ деревнѣ у меня особый домъ, особый огородъ, отсыпной хлѣбъ; мужики всѣ въ поясъ мнѣ! Я и управляющій, и можедомъ! А вы-то съ своимъ...

У него отъ злости не доставало голоса, чтобъ окончательно уничтожить своего противника. Онъ остановился на минуту, чтобъ собраться съ силами и придумать ядо-



витое слово, но не придумалъ, отъ избытка скопившейся желчи.

— Да, вотъ постой, какъ еще ты за платье-то раздѣлаешься: дадутъ тебѣ рвать!.. проговорилъ онъ наконецъ.

Задѣвши его барина, задѣли за-живое и Захара. Расшевелили и честолюбіе, и самолюбіе: преданность проснулась и высказалась со всей силой. Онъ готовъ былъ облить ядомъ желчи не только противника своего, но и его барина, и родню барина, который даже не зналъ, есть ли она, и знакомыхъ. Тутъ онъ съ удивительною точностью повторилъ всѣ клеветы и злословія о господахъ, почерпнутыя имъ изъ прежнихъ бесѣдъ съ кучеромъ.

— А вы-то съ бариномъ голь проклятая, жида, хуже нѣмца! говорилъ онъ: — Дѣдушка-то, я знаю, кто у васъ былъ: прикащикъ съ толкучаго. Вчера гости-то вышли отъ васъ вечеромъ, такъ я подумалъ, не мошенники ли какіе забрались въ домъ: жалость смотрѣть! Мать тоже на толкучемъ торговала крадеными да изношенными платьями.

— Полно, полно вамъ!.. унималъ дворникъ.

— Да! говорилъ Захаръ:—У меня-то, слава Богу! баринъ столбовой; пріятели-то генералы, графы да князья. Еще не всякаго графа посадить съ собой: иной придетъ да и настоится въ прихожей... Ходятъ все сочинители...

— Какіе это такіе, братецъ ты мой, сочинители? спросилъ дворникъ, желая прекратить раздоръ.—Чиновники, что ли, такіе?

— Нѣтъ, это такіе господа, которые сами выдумываютъ, что имъ понадобится, объяснилъ Захаръ.

— Что жъ они у васъ дѣлаютъ? спросилъ дворникъ.

— Что? Одинъ трубку спросить, другой хересу... сказалъ Захаръ, и остановился, замѣтивъ, что почти всѣ насмѣшливо улыбаются.

— А вы тутъ всѣ мерзавцы, сколько васъ ни-на-есть! скороговоркой сказалъ онъ, окинувъ всѣхъ одностороннимъ взглядомъ. — Дадутъ тебѣ чужое платье драть! Я пойду барину скажу! прибавилъ онъ и быстро пошелъ домой.

— Полно тебѣ! Пстой, пстой! кричалъ дворникъ:— Захаръ Трофимычъ! Пойдемъ въ полпивную, пожалуйста пойдёмъ...

Захаръ остановился на дорогѣ, быстро обернулся и, не глядя на дворню, еще быстрѣе ринулся на улицу. Онъ дошелъ, не оборачиваясь ни на кого, до двери полпивной, которая была напротивъ; тутъ онъ обернулся, мрачно окинулъ взглядомъ все общество и еще мрачнѣе махнулъ всѣмъ рукой, чтобъ шли за нимъ, и скрылся въ дверяхъ.

Всѣ прочіе тоже разбрелись: кто въ полпивную, кто домой; остался только одинъ лакей.

— Ну, что за бѣда, коли и скажетъ барину? самъ съ собой въ раздумѣ, флегматически, говорилъ онъ, открывая медленно табакерку:—Баринъ добрый, видно по всему, только обругаетъ! Это еще что, коли обругаетъ? А то, иной, глядитъ, глядитъ, да и за волосы...

## XI.

Въ началѣ пятаго часа Захаръ осторожно, безъ шума, отперъ переднюю и на цыпочкахъ пробрался въ свою комнату; тамъ онъ подошелъ къ двери барскаго кабинета и сначала приложилъ къ ней ухо, потомъ присѣлъ и приставилъ къ замочной скважинѣ глазъ.

Въ кабинетѣ раздавалось мѣрное храпѣнье.

— Спать, прошепталъ онъ, надо будить: скоро половина пятого.

Онъ кашлянулъ и вошелъ въ кабинетъ.

— Илья Ильичъ! А, Илья Ильичъ! началъ онъ тихо, стоя у изголовья Обломова.

Храпѣнье продолжалось.

— Экъ спать-то! сказалъ Захаръ:—словно каменщикъ.

— Илья Ильичъ!

Захаръ слегка тронулъ Обломова за рукавъ.

— Вставайте: пятого половина.

Илья Ильичъ только промычалъ въ отвѣтъ на это, но не проснулся.

— Вставайте же, Илья Ильичъ! Что это за срамъ! говорилъ Захаръ, возвышая голосъ.

Отвѣта не было.

— Илья Ильичъ! твердилъ Захаръ, потрогивая барина за рукавъ.

Обломовъ повернулъ немного голову и съ трудомъ открылъ на Захара одинъ глазъ, изъ котораго такъ и выглядывалъ параличъ.

— Кто тутъ? спросилъ онъ хриплымъ голосомъ.

— Да я. Вставайте!

— Поди прочь! проворчалъ Илья Ильичъ и погрузился опять въ тяжелый сонъ. Въмѣсто храпѣнья, сталъ раздаваться свистъ носомъ. Захаръ потянулъ его за полу.

— Чего тебѣ? грозно спросилъ Обломовъ, вдругъ открывъ оба глаза.

— Вы велѣли разбудить себя.

— Ну, знаю. Ты исполнилъ свою обязанность и пошелъ прочь! Остальное касается до меня...

— Не пойду, говорилъ Захаръ, потрогивая его опять за рукавъ.

— Ну же, не трогай! кротко заговорилъ Илья Ильичъ и, уткнувъ голову въ подушку, началъ-было храпѣть.

— Нельзя, Илья Ильичъ, говорилъ Захаръ: — я бы радъ-радѣхонекъ, да никакъ нельзя!

И самъ трогалъ барина.

— Ну, сдѣлай же такую милость, не мѣшай, убѣдительно говорилъ Обломовъ, открывая глаза.

— Да, сдѣлай вамъ милость, а послѣ сами же будете гнѣваться, что не разбудилъ...

— Ахъ, ты, Боже мой! Что это за человѣкъ! говорилъ Обломовъ. — Ну, дай хоть минутку соснуть; ну, что это такое, одна минута? Я самъ знаю...

Илья Ильичъ вдругъ смолкъ, внезапно пораженный сномъ.

— Знаешь ты дрыхнуть! говорилъ Захаръ, увѣренный, что баринъ не слышитъ. — Вишь дрыхнетъ, словно чурбанъ осиновый! Зачѣмъ ты на свѣтъ-то Божій родился?

— Да вставай же ты! говорятъ тебѣ... заревѣлъ-было Захаръ.

— Что? что? грозно заговорилъ Обломовъ, приподнимая голову.

— Что, молю, сударь, не встаете? мягко отозвался Захаръ.

— Нѣтъ, ты какъ сказалъ-то — а? Какъ ты смѣешь такъ—а?

— Какъ?

— Грубо говорить?

— Это вамъ во снѣ померещилось... ей-Богу, во снѣ.

— Ты думаешь, я сплю? Я не сплю, я все слышу...

А самъ ужъ опять спалъ.

— Ну говорилъ Захаръ въ отчаяніи:—ахъ, ты головешка! Что лежишь, какъ колода? Вѣдь, на тебя смотрѣть тошно. Поглядите, добрые люди!.. Тьфу!

— Вставайте, вставайте! вдругъ испуганнымъ голосомъ заговорилъ онъ: — Илья Ильичъ! Посмотрите-ка, что вокругъ васъ дѣлается...

Обломовъ быстро поднялъ голову, поглядѣлъ кругомъ и опять легъ, съ глубокимъ вздохомъ.

— Оставь меня въ покоѣ! сказалъ онъ важно: — Я велѣлъ тебѣ будить меня, а теперь отмѣняю приказаніе — слышишь ли? Я самъ проснусь, когда мнѣ вздумается.

Иногда Захаръ такъ и отстанетъ, сказавъ:—Ну, дрыхни, чортъ съ тобой!—А въ другой разъ, такъ настоятъ на своемъ, и теперь настоялъ.

— Вставайте, вставайте! во все горло заголосилъ онъ и схватилъ Обломова обѣими руками за полу и за рукавъ. Обломовъ, вдругъ, неожиданно вскочилъ на ноги и ринулся на Захара.

— Постой же, вотъ я тебя выучу, какъ тревожить барина, когда онъ почивать хочетъ! говорилъ онъ.

Захаръ со всѣхъ ногъ бросился отъ него, но на третьемъ шагу Обломовъ отрезвился совсѣмъ отъ сна и началъ потягиваться, зѣвая.

— Дай... квасу... говорилъ онъ въ промежуткахъ зѣвоты.

Тутъ же изъ-за спины Захара, кто-то разразился звонкимъ хохотомъ. Оба оглянулись.

— Штольцъ! Штольцъ! въ восторгѣ кричалъ Обломовъ, бросаясь къ гостю.

— Андрей Ивановичъ! осклабясь, говорилъ Захаръ.

Штольцъ продолжалъ покатываться со смѣха: онъ видѣлъ всю происходившую сцену.





## **ЧАСТЬ ВТОРАЯ.**



## I.

Штольцъ былъ нѣмецъ только вполовину, по отцу: мать его была русская; вѣру онъ исповѣдывалъ православную; природная рѣчь его была русская: онъ учился ей у матери и изъ книгъ, въ университетской аудиторіи и въ играхъ съ деревенскими мальчишками, въ толкахъ съ ихъ отцами и на московскихъ базарахъ. Нѣмецкій же языкъ онъ наслѣдовалъ отъ отца, да изъ книгъ.

Въ селѣ Верхлѣвѣ, гдѣ отецъ его былъ управляющимъ, Штольцъ выросъ и воспитывался. Съ восьми лѣтъ онъ сидѣлъ съ отцомъ за географической картой, разбиралъ по складамъ Гердера, Виланда, библейскіе стихи и подводилъ итоги безграмотнымъ счетамъ крестьянъ, мѣщанъ и фабричныхъ, а съ матерью читалъ священную исторію, училъ басни Крылова и разбиралъ по складамъ же Телемака.

Оторвавшись отъ указки, бѣжалъ разорять птичьи гнѣзда съ мальчишками, и нерѣдко, среди класса, или за молитвой, изъ кармана его раздавался пискъ галчатъ.

Бывало и то, что отецъ сидитъ въ послѣ-обѣденный часъ подъ деревомъ въ саду и куритъ трубку, а мать вяжетъ какую-нибудь фуфайку, или вышиваетъ по канвѣ: вдругъ съ улицы раздается шумъ, крики, и цѣлая толпа людей врывается въ домъ.

— Что такое? спрашиваетъ испуганная мать.

— Вѣрно, опять Андрея ведутъ, хладнокровно говоритъ отецъ.

Двери размахиваются и толпа мужиковъ, бабъ, мальчишекъ вторгается въ садъ. Въ самомъ дѣлѣ, привели Андрея—но въ какомъ видѣ: безъ сапогъ, съ разорваннымъ платьемъ и съ разбитымъ носомъ, или у него самого, или у другаго мальчишки.

Мать всегда съ безпокойствомъ смотрѣла, какъ Андрюша исчезалъ изъ дома на полсутки, и еслибъ только не положительное запрещеніе отца мѣшать ему, она бы держала его возлѣ себя.

Она его обмоетъ, перемѣнитъ бѣлье, платье, и Андрюша полсутки ходитъ такимъ чистенькимъ, благовоспитаннымъ мальчикомъ, а къ вечеру, иногда и къ утру, опять его кто-нибудь притащитъ выпачканнаго, растрепаннаго, неузнаваемаго, или мужики привезутъ на возу съ сѣномъ, или, наконецъ, съ рыбаками пріѣдетъ онъ на лодкѣ, заснувши на неводу.

Мать въ слезы, а отецъ ничего, еще смѣется.

— Добрый буршъ будетъ, добрый буршъ! скажетъ иногда.

— Помилуй, Иванъ Богданычъ, жаловалась она: — не проходить дня, чтобъ онъ безъ синяго пятна воротился, а намереніи носъ до крови разбилъ.

— Что за ребенокъ, если ни разу носу себѣ или другому не разбилъ? говорилъ отецъ со смѣхомъ.

Мать поплачетъ, поплачетъ, потомъ сядетъ за фортепьяно и забудется за Герцомъ: слезы каплютъ, одна за другой, на клавиши. Но вотъ приходитъ Андрюша, или его приведутъ; онъ начнетъ рассказывать такъ бойко, такъ живо, что разсмѣшитъ и ее, притомъ, онъ такой понятливый! Скоро онъ сталъ читать Телемака, какъ она сама, и играть съ ней въ четыре руки.

Однажды онъ пропалъ уже на недѣлю: мать выплакала глаза, а отецъ ничего—ходитъ по саду да курить.

— Вотъ, еслибъ Обломова сынъ пропалъ, сказалъ онъ на предложеніе жены, поѣхать, поискать Андрея:—такъ я бы поднялъ на ноги всю деревню и земскую полицію, а Андрей придетъ. О, добрый буршъ!

На другой день Андрея нашли преспокойно спящаго въ своей постели, а подъ кроватью лежало чье-то ружье и фунтъ пороху и дроби.

— Гдѣ ты пропадалъ? Гдѣ взялъ ружье? засыпала мать вопросами?—Что жъ молчишь?

— Такъ! только и было отвѣта.

Отецъ спросилъ: готовъ ли у него переводъ изъ Корне-лія Непота на нѣмецкій языкъ.

— Нѣтъ, отвѣчалъ онъ.

Отецъ взялъ его одной рукой за воротникъ, вывелъ за ворота, надѣлъ ему на голову фуражку и ногой толкнулъ сзади такъ, что спибъ съ ногъ.

— Ступай, откуда пришелъ, прибавилъ онъ, и приходи опять съ переводомъ, вмѣсто одной, двухъ главъ, а матери выучи роль изъ французской комедіи, что она задала: безъ этого не показывайся!

Андрей воротился черезъ недѣлю и принесъ и переводъ, и выучилъ роль.

Когда онъ подросъ, отецъ сажалъ его съ собой на рес-сорную тележку, давалъ возжи и велѣлъ везти на фабрику, потомъ въ поля, потомъ въ городъ, къ купцамъ, въ присутственныя мѣста, потомъ посмотреѣть какую-нибудь глину, которую возьметъ на палецъ, понюхаетъ, иногда лизнетъ, и сыну дастъ понюхать, и объяснить, какая она, на что годится. Не то, такъ отправятся посмотреѣть, какъ добываютъ поташъ, или деготь, топятъ сало.

Четырнадцати, пятнадцати лѣтъ, мальчикъ отправлялся частенько одинъ, въ тележкѣ, или верхомъ, съ сумкой у сѣдла, съ порученіями отъ отца въ городъ, и никогда не



случалось, чтобъ онъ забылъ что-нибудь, переиначилъ, не доглядѣлъ, далъ промахъ.

— *Recht gut, mein lieber Junge!* говорилъ отецъ, выслушавъ отчетъ и трепля его широкой ладонью по плечу, давалъ два, три рубля, смотря по важности порученія.

Мать послѣ долго отмываетъ копотъ, грязь, глину и сало съ Андрюши.

Ей не совсѣмъ нравилось это трудовое, практическое воспитаніе. Она боялась, что сынъ ея сдѣлается такимъ же нѣмецкимъ бюргеромъ, изъ какихъ вышелъ отецъ. На всю нѣмецкую націю она смотрѣла, какъ на толпу патентованныхъ мѣщанъ, не любила грубости, самостоятельности и кичливости, съ какими нѣмецкая масса предъявляетъ вездѣ свои тысячелѣтіемъ выработанныя бюргерскія права, какъ корова носитъ свои рога, не умѣя кстати ихъ спрятать.

На ея взглядъ во всей нѣмецкой націи не было и не могло быть ни одного джентльмена. Она въ нѣмецкомъ характерѣ не замѣчала никакой мягкости, деликатности, снисхожденія, ничего того, что дѣлаетъ жизнь такъ пріятною въ хорошемъ свѣтѣ, съ чѣмъ можно обойти какое-нибудь правило, нарушить общій обычай, не подчиниться уставу.

Нѣтъ, такъ и ломаютъ эти невѣжи, такъ и напираютъ на то, что у нихъ положено, что заберутъ себѣ въ голову, готовы хоть стѣну пробить лбомъ, лишь бы поступить по правиламъ.

Она жила гувернанткой въ богатомъ домѣ и имѣла случай быть за границей, проѣхала всю Германію и смѣшала всѣхъ нѣмцевъ въ одну толпу курящихъ коротенькія трубки и поплевывающихъ сквозь зубы прикащиковъ, мастеровыхъ, купцовъ, прямыхъ—какъ палка—офицеровъ съ солдатскими, и чиновниковъ—съ будничными лицами.

способныхъ только на черную работу, на труженическое добываніе денегъ, на пошлый порядокъ, скучную правильность жизни и педантическое отправление обязанностей: всѣхъ этихъ бюргеровъ, съ угловатыми манерами, съ большими грубыми руками, съ мѣщанской свѣжестью въ лицѣ и съ грубой рѣчью.

„Какъ ни наряди нѣмца“ думала она, „какую тонкую и бѣлую рубашку онъ ни надѣнетъ, пусть обуется въ лакированные сапоги, даже надѣнетъ желтыя перчатки, а все онъ скроенъ какъ-будто изъ сапожной кожи; изъ-подъ бѣлыхъ манжетъ все торчатъ жесткія и красноватыя руки, и изъ-подъ изящнаго костюма выглядываетъ, если не булочникъ, такъ буфетчикъ. Эти жесткія руки такъ и просятся приняться за шило, или много-много—что за смычокъ въ оркестрѣ“.

А въ сынѣ ей мерещился идеалъ барина, хотя выскочки, изъ чернаго тѣла, отъ отца-бюргера, но все-таки сына русской дворянки, все-таки бѣленькаго, прекрасно-сложеннаго мальчика, съ такими маленькими руками и ногами, съ чистымъ лицомъ, съ яснымъ, бойкимъ взглядомъ, такого, на какихъ она наглядѣлась въ русскомъ богатомъ домѣ, и тоже за границу, конечно, не у нѣмцевъ.

И вдругъ онъ будетъ чуть не самъ ворочать жернова на мельницѣ, возвращаться домой съ фабрикъ и полей, какъ отецъ его: въ салѣ, въ навозѣ, съ красно-грязными, загрѣбшими руками, съ волчьимъ аппетитомъ!

Она бросалась стричь Андрюшѣ ногти, завивать кудри, шить изящные воротнички и манишки; заказывала въ городѣ курточки; учила его прислушиваться къ задумчивымъ звукамъ Герца, пѣла ему о цвѣтахъ, о поэзіи жизни, шептала о блестящемъ призваніи, то воина, то писателя, мечтала съ нимъ о высокой роли, какая выпадаетъ инымъ на долю...

И вся эта перспектива должна сокрушиться отъ щелканья счетовъ, отъ разбиранья замасленныхъ расписокъ мужиковъ, отъ обращенія съ фабричными!

Она возненавидѣла даже тележку, на которой Андрюша ѣздилъ въ городъ, и клеенчатый плащъ, который подарилъ ему отецъ, и замшевыя зеленныя перчатки — всѣ грубые атрибуты трудовой жизни.

На бѣду, Андрюша отлично учился, и отецъ сдѣлалъ его репетиторомъ въ своемъ маленькомъ пансіонѣ.

Ну, пусть бы такъ; но онъ положилъ ему жалованье, какъ мастеровому, совершенно понѣмецки: по десяти рублей въ мѣсяцъ, и заставлялъ его расписываться въ книгѣ.

Утѣшся, добрая мать: твой сынъ выросъ на русской почвѣ—не въ будничной толпѣ, съ бюргерскими коровьими рогами, съ руками, ворочающими жернова. Вблизи была Обломовка: тамъ вѣчный праздникъ! Тамъ сбываютъ съ плечъ работу, какъ игу; тамъ баринъ не встаетъ съ зарей и не ходитъ по фабрикамъ, около намазанныхъ саломъ и масломъ колесъ и пружинъ.

Да и въ самомъ Верхлѣвѣ стоитъ, хотя большую часть года пустой, запертой домъ, но туда частенько забирается шаловливый мальчикъ и тамъ видитъ онъ длинныя залы и галереи, темныя портреты на стѣнахъ, не съ грубой свѣжестью, не съ жесткими большими руками,—видитъ томныя голубыя глаза, волосы подъ пудрой, бѣлыя, изнѣженныя лица, полныя груди, нѣжныя съ синими жилками руки, въ трепещущихъ манжетахъ, гордо положенныя на эфесъ шпаги; видитъ рядъ благородно-безполезно въ нѣгѣ протекшихъ поколѣній, въ парчѣ, бархатѣ и кружевахъ.

Онъ въ лицахъ проходитъ исторію славныхъ временъ, битвъ, именъ; читаетъ тамъ повѣсть о старинѣ, не такую какую рассказывалъ ему сто разъ, поплеывая, за трубкой,

отецъ о жизни въ Саксоніи, между брюквой и картофелемъ, между рынкомъ и огородомъ...

Года въ три разъ этотъ замокъ вдругъ наполнялся народомъ, кипѣлъ жизнью, праздниками, балами; въ длинныхъ галереяхъ сіяли по ночамъ огни.

Приѣзжали князь и княгиня съ семействомъ: князь, сѣдой старикъ, съ выцвѣтшимъ пергаментнымъ лицомъ, тусклыми на-выкатъ глазами и большимъ плѣшивымъ лбомъ, съ тремя звѣздами, съ золотой табакеркой, съ тростью съ яхонтовымъ набалдашникомъ, въ бархатныхъ сапогахъ; княгиня—величественная красотой, ростомъ и объемомъ женщина, къ которой, кажется, никогда никто не подходилъ близко, не обнялъ, не поцѣловалъ ее, даже самъ князь, хотя у ней было пятеро дѣтей.

Она казалась выше того міра, въ который нисходила въ три года разъ; ни съ кѣмъ не говорила, никуда не выѣзжала, а сидѣла въ угольной зеленой комнатѣ съ тремя старушками, да черезъ садъ, пѣшкомъ, по крытой галерѣе, ходила въ церковь и садилась на стулъ за ширмы.

Зато въ домѣ, кромѣ князя и княгини, былъ цѣлый, такой веселый и живой міръ, что Андрюша дѣтскими зелененькими глазками своими смотрѣлъ вдругъ въ три или четыре разныя сферы, бойкимъ умомъ жадно и безсознательно наблюдалъ типы этой разнородной толпы, какъ пестрыя явленія маскарада.

Тутъ были князя Пьеръ и Мишель, изъ которыхъ первый тотчасъ преподалъ Андрюшѣ, какъ бьютъ зорю въ кавалеріи и пѣхотѣ, какія сабли и шпоры гусарскія и какія драгунскія, какихъ мастей лошади въ каждомъ полку и куда непременно надо поступить послѣ ученья, чтобъ не опозориться.

Другой, Мишель, только лишь познакомился съ Андрюшей, какъ поставилъ его въ позицію и началъ выдѣлывать



удивительныя штуки кулаками, попадая ими Андрюшѣ, то въ носъ, то въ брюхо, потомъ сказалъ, что это англійская драка.

Дня черезъ три, Андрей, на основаніи только деревенской свѣжести и съ помощью мускулистыхъ рукъ, разбилъ ему носъ и по англійскому, и по русскому способу, безъ всякой науки, и приобрѣлъ авторитетъ у обоихъ князей.

Были еще двѣ княжны, дѣвочки одинадцати и двѣнадцати лѣтъ, высокенькія, стройныя, нарядно одѣтыя, ни съ кѣмъ неговорившія, никому некланявшіяся и боявшіяся мужиковъ.

Была ихъ гувернантка, m-lle Ernestine, которая ходила пить кофе къ матери Андрюши и научила дѣлать ему кудри. Она иногда брала его голову, клала на колѣни и завивала въ бумажки до сильной боли, потомъ брала бѣлыми руками за обѣ щеки и цаловала такъ ласково!

Потомъ былъ нѣмецъ, который точилъ на станкѣ табакерки и пуговицы, потомъ учитель музыки, который напивался отъ воскресенья до воскресенья, потомъ цѣлая шайка горничныхъ, наконецъ, стая собакъ и собаченокъ.

Все это наполняло домъ и деревню шумомъ, гамомъ, стукомъ, кликами и музыкой.

Съ одной стороны Обломовка, съ другой княжескій замокъ, съ широкимъ раздольемъ барской жизни, встрѣтились съ нѣмецкимъ элементомъ, и не вышло изъ Андрея ни добраго бурша, ни даже филистера.

Отецъ Андрюши былъ агрономъ, технологъ, учитель. У отца своего, фермера, онъ взялъ практическіе уроки въ агрономіи, на саксонскихъ фабрикахъ изучилъ технологию, а въ ближайшемъ университетѣ, гдѣ было около сорока профессоровъ, получилъ призваніе къ преподаванію того, что кое-какъ успѣли ему растолковать сорокъ мудрецовъ.



Дальше онъ не пошелъ, а упрямо поворотилъ назадъ, рѣшивъ, что надо дѣлать дѣло, и возвратился къ отцу. Тотъ далъ ему сто талеровъ, новую котомку, и отпустилъ на всѣ четыре стороны.

Съ тѣхъ поръ Иванъ Богдановичъ не видалъ ни родины, ни отца. Шестъ лѣтъ пространствовалъ онъ по Швейцаріи, Австріи, а двадцать лѣтъ живетъ въ Россіи и благословляетъ свою судьбу.

Онъ былъ въ университетѣ и рѣшилъ, что сынъ его долженъ быть также тамъ—нужды нѣтъ, что это будетъ не нѣмецкій университетъ, нужды нѣтъ, что университетъ русскій долженъ будетъ произвести переворотъ въ жизни его сына и далеко отвести отъ той колеи, которую мысленно проложилъ отецъ въ жизни сына.

А онъ сдѣлалъ это очень просто: взялъ колею отъ своего дѣда и продолжилъ ее, какъ по линейкѣ, до будущаго своего внука, и былъ покоенъ, не подозрѣвая, что варьяціи Герца, мечты и рассказы матери, галерея и будуаръ въ княжескомъ замкѣ обратятъ узенькую нѣмецкую колею въ такую широкую дорогу, какая не снилась ни дѣду его, ни отцу, ни ему самому.

Впрочемъ, онъ не былъ педантъ въ этомъ случаѣ и не сталъ бы настаивать на своемъ; онъ только не умѣлъ бы начертать въ своемъ умѣ другой дороги сыну.

Онъ мало объ этомъ заботился. Когда сынъ его воротился изъ университета и прожилъ мѣсяца три дома, отецъ сказалъ, что дѣлать ему въ Верхлѣвѣ больше нечего, что вонъ ужъ даже Обломова отправили въ Петербургъ, что, слѣдовательно, и ему пора.

А отчего нужно ему въ Петербургъ, почему не могъ онъ остаться въ Верхлѣвѣ и помогать управлять имѣніемъ—объ этомъ старикъ не спрашивалъ себя; онъ только пом-

нилъ, что когда онъ самъ кончилъ курсъ ученья, то отецъ отослалъ его отъ себя.

И онъ отослалъ сына—таковъ обычай въ Германіи. Матери не было на свѣтѣ, и противорѣчить было некому.

Въ день отъѣзда Иванъ Богдановичъ далъ сыну сто рублей ассигнаціями.

— Ты поѣдешь верхомъ до губернскаго города, сказалъ онъ: — Тамъ получи отъ Калининкова триста-пятьдесятъ рублей, а лошадь оставь у него. Если жъ его нѣтъ, продай лошадь; тамъ скоро ярмарка: дадутъ четыреста рублей и не на охотника. До Москвы доѣхать тебѣ станетъ рублей сорокъ, оттуда въ Петербургъ—семьдесятъ-пять; останется довольно. Потомъ — какъ хочешь. Ты дѣлалъ со мной дѣла, стало-быть знаешь, что у меня есть нѣкоторый капиталъ; но ты прежде смерти моей на него не рассчитывай, а я, вѣроятно, еще проживу лѣтъ двадцать, развѣ только камень упадетъ на голову. Лампада горитъ ярко, и масла въ ней много. Образованъ ты хорошо: передъ тобой всѣ карьеры открыты; можешь служить, торговать, хоть сочинять пожалуй — не знаю, что ты избереешь, къ чему чувствуешь больше охоты...

— Да я посмотрю, нельзя ли вдругъ по всѣмъ, сказалъ Андрей.

Отецъ захохоталъ изо всей мочи и началъ трепать сына по плечу, такъ, что и лошадь бы не выдержала. Андрей ничего.

— Ну, а если не станетъ умѣнья, не съумѣешь самъ отыскать вдругъ свою дорогу, понадобится посовѣтоваться, спросить—зайди къ Рейнгольду: онъ научитъ. О! прибавилъ онъ, поднявъ пальцы вверхъ и трясая головой: — Это... это... (онъ хотѣлъ похвалить и не нашелъ слова). Мы вмѣстѣ изъ Саксоніи пришли. У него четырехъ-этажный домъ. Я тебѣ адресъ скажу...

— Ненадо, не говори, возразилъ Андрей:— я пойду къ нему, когда у меня будетъ четырехъ-этажный домъ, а теперь обойдусь безъ него...

Опять трепанье по плечу.

Андрей вспрыгнулъ на лошадь. У сѣдла были привязаны двѣ сумки: въ одной лежалъ клеенчатый плащъ и видны были толстые, подбитые гвоздями сапоги, да нѣсколько рубашекъ изъ верхлевскаго полотна, вещи купленные и взятые по настоянію отца; въ другой лежалъ изящный фракъ тонкаго сукна, мохнатое пальто, дюжина тонкихъ рубашекъ и ботинки, заказанныя въ Москвѣ, въ память наставленій матери.

— Ну! сказалъ отецъ.

— Ну! сказалъ сынъ.

— Все? спросилъ отецъ.

— Все! отвѣчалъ сынъ.

Они посмотрѣли другъ на друга, молча, какъ-будто пронзали взглядомъ одинъ другаго насквозь.

Между тѣмъ около собралась кучка любопытныхъ сосѣдей посмотрѣть, съ разинутыми ртами, какъ управляющій отпустить сына на чужую сторону.

Отецъ и сынъ пожали другъ другу руки. Андрей поѣхалъ крупнымъ шагомъ.

— Каковъ щенокъ: ни слезинки! говорили сосѣди. — Вонъ двѣ вороны такъ и надсѣдаются, каркаютъ на заборѣ: накаркаютъ онѣ ему—погоди ужо!—

— Да что ему вороны? Онъ на Ивана Купала по ночамъ въ лѣсу одинъ шатается: къ нимъ, братцы, это не пристаешь. Русскому бы не сошло съ рукъ!

— А старый-то нехристь хорошъ! замѣтила одна мать: — Точно котѣнка выбросилъ на улицу: не обнялъ, не взвылъ!

— Стой! Стой Андрей! закричалъ старикъ.

Андрей остановилъ лошадей.

— А! Заговорило видно ретивое! сказали въ толпѣ съ одобреніемъ.

— Ну? спросилъ Андрей.

— Подпруга слаба, надо подтянуть.

— Доѣду до Шамшевки, самъ поправлю. Время тратить нечего, надо засвѣтло пріѣхать.

— Ну! сказалъ, махнувъ рукой, отецъ.

— Ну! кивнувъ головой, повторилъ сынъ и, нагнувшись немного, только хотѣлъ пришпорить коня.

— Ахъ, вы собаки, право собаки! Словно чужіе! говорили сосѣди.

Но вдругъ въ толпѣ раздался громкій плачь: какая-то женщина не выдержала.

— Батюшка ты, свѣтикъ! приговаривала она, утирая концомъ головного платка глаза:—Сиротка бѣдный! Нѣтъ у тебя родимой матушки, некому благословить-тѣ тебя... Дай хоть я перекрещу тебя, красавецъ мой!..

Андрей подѣхалъ къ ней, соскочилъ съ лошади, обнялъ старуху, потомъ хотѣлъ-было ѣхать—и вдругъ заплакалъ, пока она крестила и цѣловала его. Въ ея горячихъ словахъ слышался ему будто голосъ матери, возникъ на минуту ея нѣжный образъ.

Онъ еще крѣпко обнялъ женщину, наскоро отеръ слезы и вскочилъ на лошадь. Онъ ударилъ ее по бокамъ и исчезъ въ облакѣ пыли; за нимъ съ двухъ сторонъ отчаянно бросились въ догонку три дворняшки и залились лаемъ.

## II.

Штольцъ ровесникъ Обломову: и ему уже за тридцать лѣтъ. Онъ служилъ, вышелъ въ отставку, занялся своими дѣлами и въ самомъ дѣлѣ нажилъ домъ и деньги. Онъ уча-

ствуешь въ какой-то компаніи, отправляющей товары за границу.

Онъ безпрестанно въ движеніи: понадобится обществу послать въ Бельгію, или Англію агента—посылаютъ его; нужно написать какой-нибудь проектъ, или приспособить новую идею къ дѣлу — выбираютъ его. Между тѣмъ онъ ѣздитъ и въ свѣтъ, и читаетъ: когда онъ успѣваетъ — Богъ вѣсть.

Онъ весь составленъ изъ костей, мускуловъ и нервовъ, какъ кровная англійская лошадь. Онъ худощавъ; щекъ у него почти вовсе нѣтъ, т. е. есть кость да мускуль, но ни признака жирной округлости; цвѣтъ лица ровный, смугловатый и никакого румянца; глаза хотя немного зеленеватые, но выразительные.

Движеній лишнихъ у него не было. Если онъ сидѣлъ, то сидѣлъ покойно, если же дѣйствовалъ, то употреблялъ столько мимики, сколько было нужно.

Какъ въ организмѣ нѣтъ у него ничего лишняго, такъ и въ нравственныхъ отправленіяхъ своей жизни онъ искалъ равновѣсія практическихъ сторонъ съ тонкими потребностями духа. Двѣ стороны шли параллельно, перекрещиваясь и перевиваясь на пути, но ни когда не запутываясь въ тяжелые, неразрѣшаемые узлы.

Онъ шелъ твердо, бодро; жилъ по бюджету, стараясь тратить каждый день, какъ каждый рубль, съ ежеминутнымъ, никогда недремлющимъ контролемъ издержаннаго времени, труда, силъ души и сердца.

Кажется, и печальми, и радостями онъ управлялъ какъ движеніемъ рукъ, какъ шагами ногъ, или какъ обращался съ дурной и хорошей погодой.

Онъ распускалъ зонтикъ, пока шелъ дождь, то-есть страдалъ, пока длилась скорбь, да и страдалъ безъ робкой покорности, а больше съ досадой, съ гордостью, и



переносилъ терпѣливо только потому, что причину всякаго страданія приписывалъ самому себѣ, а не вѣшалъ, какъ кафтанъ, на чужой гвоздь.

И радостью наслаждался какъ сорваннымъ по дорогѣ цвѣткомъ, пока онъ не увялъ въ рукахъ, не допивая чаши никогда до той капельки горечи, которая лежитъ въ концѣ всякаго наслажденія.

Простой, то-есть прямой, настоящій взглядъ на жизнь— вотъ что было его постоянною задачею, и, добираясь постепенно до ея рѣшенія, онъ понималъ всю трудность ея и былъ внутренно гордъ и счастливъ всякій разъ, когда ему случалось замѣтить кривизну на своемъ пути и сдѣлать прямой шагъ.

— Мудрено и трудно жить просто! говорилъ онъ часто себѣ и торопливыми взглядами смотрѣлъ, гдѣ криво, гдѣ косо, гдѣ нить снурка жизни начинаетъ завертываться въ неправильный, сложный узелъ.

Больше всего онъ боялся воображенія, этого двуличнаго спутника, съ дружескимъ на одной и вражескимъ на другой сторонѣ лицомъ, друга — чѣмъ меньше вѣришь ему, и врага — когда уснешь довѣрчиво подъ его сладкій шопоть.

Онъ боялся всякой мечты, или, если входилъ въ ея область, то входилъ, какъ входятъ въ гротъ, съ надписью: *ma solitude, mon hermitage, mon repos*, зная часъ и минуту, когда выйдешь оттуда.

Мечтѣ, загадочному, таинственному не было мѣста въ его душѣ. То, что не подвергалось анализу опыта, практической истины, было въ глазахъ его оптическій обманъ, то или другое отраженіе лучей и красокъ на сѣткѣ органа зрѣнія, или же, наконецъ, фактъ, до котораго еще не дошла очередь опыта.

У него не было и того дилеттантизма, который любить

порыскать въ области чудеснаго, или подонкихотствовать въ полѣ догадокъ и открытій за тысячу лѣтъ впередъ. Онъ упрямо останавливался у порога тайны, не обнаруживая ни вѣры ребенка, ни сомнѣнія фата, а ожидалъ появленія закона, а съ нимъ и ключа къ ней.

Такъ же тонко и осторожно, какъ за воображеніемъ, слѣдилъ онъ за сердцемъ. Здѣсь, часто отступаясь, онъ долженъ былъ сознаваться, что сфера сердечныхъ отправленій была еще *terra incognita*.

Онъ горячо благодарилъ судьбу, если въ этой невѣдомой области удавалось ему заблаговременно различить нарумяненную ложь отъ блѣдной истины; уже не сѣтовалъ, когда, отъ искусно-прикрытаго цвѣтами обмана, онъ оступался, а не падалъ, если только лихорадочно и усиленно билось сердце, и радъ-радѣхонекъ былъ, если не обливалось оно кровью, если не выступалъ холодный потъ на лбу и потомъ не ложилась надолго длинная тѣнь на его жизнь.

Онъ считалъ себя счастливымъ уже и тѣмъ, что могъ держаться на одной высотѣ и, скача на конькѣ чувства, не проскакать тонкой черты, отдѣляющей міръ чувства отъ міра лжи и сентиментальности, міръ истины отъ міра смѣшнаго, или, скача обратно, не заскакать на песчаную, сухую почву жесткости, умничанья, недовѣрія, мелочи, оскопленія сердца.

Онъ, и среди увлеченія, чувствовалъ землю подъ ногой и довольно силы въ себѣ, чтобъ, въ случаѣ крайности, рвануться и быть свободнымъ. Онъ не ослѣплялся красотой и потому не забывалъ, не унижалъ достоинства мужчины, не былъ рабомъ, „не лежалъ у ногъ„ красавицъ, хотя не испытывалъ огненныхъ радостей.

У него не было идоловъ, зато онъ сохранилъ силу души, крѣпость тѣла, зато онъ былъ цѣломудренно-гордъ;

отъ него вѣяло какою-то свѣжестю и силой, передъ которой невольно смущались и незастѣнчивыя женщины.

Онъ зналъ цѣну этимъ рѣдкимъ и дорогимъ свойствамъ и такъ скупѣ тратилъ ихъ, что его звали эгоистомъ, безчувственнымъ. Удержанность его отъ порывовъ, умѣнье не выйти изъ границъ естественнаго, свободнаго состоянія духа клеймили укоромъ и тутъ же оправдывали, иногда съ завистью и удивленіемъ, другаго, который со всего размаха летѣлъ въ болото и разбивалъ свое и чужое существованіе.

— Страсти, страсти все оправдываютъ, говорили вокругъ него: — а вы въ своемъ эгоизмѣ бережете только себя: посмотримъ, для кого.

— Для кого-нибудь да берегу, говорилъ онъ задумчиво, какъ-будто глядя въ даль, и продолжалъ не вѣрить въ поэзію страстей, не восхищался ихъ бурными проявленіями и разрушительными слѣдами, а все хотѣлъ видѣть идеаль бытія и стремленій человѣка въ строгомъ пониманіи и отправленіи жизни.

И чѣмъ больше оспаривали его, тѣмъ глубже „коснѣлъ“ онъ въ своемъ упрямствѣ, впадалъ даже, по крайней мѣрѣ въ спорахъ, въ пуританскій фанатизмъ. Онъ говорилъ, что „нормальное назначеніе человѣка — прожить четыре времени года, то-есть, четыре возраста, безъ скачковъ, и донести сосудъ жизни до послѣдняго дня, не проливъ ни одной капли напрасно, и что ровное и медленное горѣніе огня лучше бурныхъ пожаровъ, какая бы поэзія ни пылала въ нихъ“. Въ заключеніе прибавлялъ, что онъ „былъ бы счастливъ, еслибъ удалось ему на себѣ оправдать свое убѣжденіе, но что достичь этого онъ не надѣется, потому-что это очень трудно“.

А самъ все шелъ, да шелъ упрямо по избранной дорогѣ. Не видали, чтобъ онъ задумывался надъ чѣмъ-ни-

будь болѣзненно и мучительно; повидимому, его не пожирали угрызенія утомленнаго сердца; не болѣлъ онъ душой, не терялся никогда въ сложныхъ, трудныхъ, или новыхъ обстоятельствахъ, а подходилъ къ нимъ, какъ къ бывшимъ знакомымъ, какъ-будто онъ жилъ вторично, проходилъ знакомыя мѣста.

Что ни встрѣчалось, онъ сейчасъ употреблялъ тотъ пріемъ, какой былъ нуженъ для этого явленія, какъ ключница съ-разу выберетъ изъ кучи висящихъ на поясѣ ключей тотъ именно, который нуженъ для той или другой двери.

Выше всего онъ ставилъ настойчивость въ достиженіи цѣлей: это было признакомъ характера въ его глазахъ, и людямъ съ этой настойчивостью онъ никогда не отказывалъ въ уваженіи, какъ бы ни были неважны ихъ цѣли.

— Это люди! говорилъ онъ.

Нужно ли прибавлять, что самъ онъ шелъ къ своей цѣли, отважно шагая черезъ всѣ преграды, и развѣ только тогда отказывался отъ задачи, когда на пути его возникала стѣна, или отверзалась непроходимая бездна.

Но онъ неспособенъ былъ вооружиться той отвагой, которая, закрывъ глаза, скакнетъ черезъ бездну, или бросится на стѣну на авось. Онъ измѣритъ бездну или стѣну, и если нѣтъ вѣрнаго средства одолѣть, онъ отойдетъ, что бы тамъ про него ни говорили.

Чтобъ сложиться такому характеру, можетъ-быть, нужны были и такіе смѣшанные элементы, изъ какихъ сложился Штольцъ. Дѣятели издавна отливались у насъ въ пять, шесть стереотипныхъ формъ, лѣниво въ полглаза глядя вокругъ, прикладывали руку къ общественной машинѣ и съ дремотой двигали ее по обычной колеѣ, ставя ногу въ оставленный предшественникомъ слѣдъ. Но вотъ глаза очнулись отъ дремоты, слышались бойкіе, широ-



кіе шаги, живые голоса... Сколько Штольцевъ должно явиться подъ русскими именами!

Какъ такой человѣкъ могъ быть близокъ Обломову, въ которомъ каждая черта, каждый шагъ, все существованіе было вопіющимъ протестомъ противъ жизни Штольца? Это, кажется, уже рѣшенный вопросъ, что противоположныя крайности, если не служатъ поводомъ къ симпатіи, какъ думали прежде, то никакъ не препятствуютъ ей.

Притомъ ихъ связывало дѣтство и школа—двѣ сильныя пружины, потомъ русскія, добрыя, жирныя ласки, обильно-расточаемыя въ семействѣ Обломова на нѣмецкаго мальчика, потомъ роль сильнаго, которую Штолецъ занималъ при Обломовѣ и въ физическомъ, и въ нравственномъ отношеніи, а наконецъ, и болѣе всего, въ основаніи натуры Обломова лежало чистое, свѣтлое и доброе начало, исполненное глубокой симпатіи ко всему, что хорошо и что только отверзалось и откликалось на зовъ этого простаго, нехитраго, вѣчно-довѣрчиваго сердца.

Кто только случайно и умышленно заглядывалъ въ эту свѣтлую, дѣтскую душу — будь онъ мраченъ, золъ — онъ уже не могъ отказать ему во взаимности, или, если обстоятельства мѣшали сближенію, то хоть въ доброй и прочной памяти.

Андрей часто, отрываясь отъ дѣлъ, или изъ свѣтской толпы, съ вечера, съ бала, ѣхалъ посидѣть на широкомъ диванѣ Обломова и въ лѣнивой бесѣдѣ отвести и успокоить встревоженную, или усталую душу, и всегда испытывалъ то успокоительное чувство, какое испытываетъ человѣкъ, приходя изъ великолѣпныхъ залъ подъ собственный скромный кровъ, или возвратясь отъ красотъ южной природы въ березовую рощу, гдѣ гулялъ еще ребенкомъ.



III.

— Здравствуй, Илья. Какъ я радъ тебя видѣть! Ну, что, какъ ты поживаешь? Здоровъ ли? спросилъ Штольцъ.

— Охъ, нѣтъ, плохо, братъ Андрей, вздохнувъ, сказалъ Обломовъ:—какое здоровье!

— А что, боленъ? спросилъ заботливо Штольцъ.

— Ячмени одолѣли: только на той недѣли одинъ сошелъ съ праваго глаза, а теперь вотъ садится другой.

Штольцъ засмѣялся.

— Только? спросилъ онъ.—Это ты наспалъ себѣ.

— Какое „только“: изжога мучить. Ты послушалъ бы, что давеча докторъ сказалъ. „За границу, говорить, ступайте, а то плохо: ударъ можетъ быть“.

— Ну, что жъ ты?

— Не поѣду.

— Отчего же?

— Помилуй! Ты послушай, что онъ тутъ наговорилъ: „живи я гдѣ-то на горѣ, поѣзжай въ Египеть, или въ Америку...“

— Что жъ? хладнокровно сказалъ Штольцъ: — Въ Египтѣ ты будешь черезъ двѣ недѣли, въ Америкѣ черезъ три.

— Ну, братъ Андрей, и ты то же! Одинъ толковый чело-вѣкъ и былъ, и тотъ съ ума спятилъ. Кто же ѣздитъ въ Америку и Египеть! Англичане: такъ ужъ тѣ такъ Гос-подомъ Богомъ устроены; да и негдѣ имъ жить-то у се-бя. А у насъ кто поѣдетъ? Развѣ отчаянный какой-ни-будь, кому жизнь ни почемъ.

— Въ-самомъ-дѣлѣ, какіе подвиги: садись въ коляску, или на корабль, дыши чистымъ воздухомъ, смотри на чужія страны, города, обычаи, на всѣ чудеса... Ахъ, ты! Ну, скажи, что твои дѣла, что въ Обломовкѣ?

— Ахъ!.. произнесъ Обломовъ, махнувъ рукою.

— Что случилось?

— Да что: жизнь трогаешь!

— И слава Богу! сказалъ Штольцъ.

— Какъ слава Богу! Еслибъ она все по головѣ гладила, а то пристаешь, какъ, бывало, въ школѣ къ смирному ученику, пристають забіяки: то ущипнетъ изъ подтишка, то вдругъ нагрянетъ прямо со лба и обсыплетъ пескомъ... мочи нѣтъ!

— Ты ужъ слишкомъ — смиренъ. Что же случилось? спросилъ Штольцъ.

— Два несчастья.

— Какія же?

— Совсѣмъ разорился.

— Какъ такъ?

— Вотъ я тебѣ прочту, что староста пишетъ... гдѣ письмо-то? Захаръ, Захаръ!

Захаръ отыскалъ письмо. Штольцъ пробѣжалъ его и засмѣялся, вѣроятно, отъ слога старосты.

— Какой плутъ этотъ староста! сказалъ онъ:—Распустилъ мужиковъ, да и жалуется! Лучше бы дать имъ паспорта, да и пустить на всѣ четыре стороны.

— Помилуй, этакъ, пожалуй, и всѣ захотятъ, возразилъ Обломовъ.

— Да пусть ихъ! безопасно сказалъ Штольцъ: — Кому хорошо и выгодно на мѣстѣ, тотъ не уйдетъ; а если ему невыгодно, то и тебѣ невыгодно: зачѣмъ же его держать?

— Вонъ что выдумалъ! говорилъ Илья Ильичъ: — Въ Обломовкѣ мужики смирные, домосѣды; что имъ шататься?..

— А ты не знаешь, перебилъ Штольцъ:— въ Верхлѣвѣ пристань хотятъ устроить и предполагено шоссе прове-

сти, такъ-что и Обломовка будетъ недалеко отъ большой дороги, а въ городѣ ярмарку учреждаютъ...

— Ахъ, Боже мой! сказалъ Обломовъ:—Этого еще не доставало! Обломовка была въ такомъ затишьѣ, въ сторонѣ, а теперь ярмарка, большая дорога! Мужики повадятся въ городъ, къ намъ будутъ таскаться купцы — все пропало! Бѣда!

Штольцъ засмѣялся.

— Какъ же не бѣда? продолжалъ Обломовъ:—Мужики были такъ-себѣ, ничего не слышно, ни хорошаго, ни дурнаго, дѣлаютъ свое дѣло, ни зачѣмъ не тянутся; а теперь развратятся! Пойдутъ чай, кофеи, бархатные штаны, гармоника, смазные сапоги... не будетъ проку!

— Да, если это, такъ, конечно, мало проку, замѣтилъ Штольцъ... А ты заведи-ка школу въ деревнѣ...

— Не рано ли? сказалъ Обломовъ:—Грамотность вредна мужику: выучи его, такъ онъ, пожалуй, и пахать не станетъ...

— Да вѣдь мужики будутъ читать о томъ, какъ пахать —чудакъ! Однако послушай: не шутя, тебѣ надо самому побывать въ деревнѣ въ этомъ году.

— Да, правда; только у меня планъ еще не весь... робко замѣтилъ Обломовъ.

— И ненужно никакого! сказалъ Штольцъ:—Ты только поѣзжай: на мѣстѣ увидишь что надо дѣлать. Ты давно что-то съ этимъ планомъ возишься: уже-ли еще все не готово? Что жъ ты дѣлаешь?

— Ахъ, братецъ! Какъ-будто у меня только и дѣла, что по имѣнію. А другое несчастье?

— Какое же?

— Съ квартиры гонять.

— Какъ гонять?

— Такъ: съѣзжай, говорятъ, да и только.

— Ну, такъ что жъ?

— Какъ, что жъ? Я тутъ спину и бока протеръ, ворочаясь отъ этихъ хлопотъ. Вѣдь одинъ: и то надо, и другое, тамъ счета сводить, туда плати, здѣсь плати, а тутъ перевозка! Денегъ выходитъ ужасъ сколько, и самъ не знаю куда! Того-и-гляди, останешься безъ гроша...

— Вотъ избаловался-то человѣкъ: съ квартиры тяжело съѣхать! съ удивленіемъ произнесъ Штольцъ. — Кстати о деньгахъ: много ихъ у тебя? Дай мнѣ рублей пятьсотъ: надо сейчасъ послать; завтра изъ нашей конторы возьму...

— Постой! Дай вспомнить... Недавно изъ деревни прислали тысячу, а теперь осталось... вотъ, погоди...

Обломовъ началъ шарить по ящикамъ.

— Вотъ тутъ... десять, двадцать, вотъ двѣсти рублей... да вотъ двадцать. Еще тутъ мѣдныя были... Захаръ, Захаръ!

Захаръ прежнимъ порядкомъ спрыгнулъ съ лежанки и вошелъ въ комнату.

— Гдѣ тутъ двѣ гривны были на столѣ? вчера я положилъ...

— Что это, Илья Ильичъ, дались вамъ двѣ гривны! Я ужъ вамъ докладывалъ, что никакихъ тутъ двухъ гривенъ не лежало...

— Какъ не лежало! Съ апельсиновъ сдачи дали...

— Отдали кому-нибудь, да и забыли, сказалъ Захаръ, поворачиваясь къ двери.

Штольцъ засмѣялся.

— Ахъ, вы, обломовцы! упрекнулъ онъ: — Не знаютъ, сколько у нихъ денегъ въ карманѣ!

— А давеча Михею Андреичу какія деньги отдавали? напомнилъ Захаръ.

— Ахъ, да, вотъ Тарантьевъ взялъ еще десять рублей, живо обратился Обломовъ къ Штольцу:—я и забылъ.

— Зачѣмъ ты пускаешь къ себѣ это животное? замѣтилъ Штольцъ.

— Чего пускать! вмѣшался Захаръ:— Придетъ словно въ свой домъ, или въ трактиръ. Рубашку и жилетъ барскіе взялъ, да и поминай какъ звали! Давича за фракомъ пожаловалъ: „дай надѣть!“ Хоть бы вы, батюшка, Андрей Ивановичъ, уняли его...

— Не твое дѣло, Захаръ. Поди къ себѣ! строго замѣтилъ Обломовъ.

— Дай мнѣ листъ почтовой бумаги, спросилъ Штольцъ:—записку написать.

— Захаръ, дай бумаги: вонъ Андрею Ивановичу нужно... сказалъ Обломовъ.

— Вѣдь нѣтъ ее! Давича искали, отозвался изъ передней Захаръ и даже не пришелъ въ комнату.

— Ключокъ какой-нибудь дай! пристававалъ Штольцъ.

Обломовъ поискалъ на столѣ: и ключка не было.

— Ну, дай хоть визитную карточку.

— Давно ихъ нѣтъ у меня, визитныхъ-то карточекъ, сказалъ Обломовъ.

— Что это съ тобой? съ ироніей возразилъ Штольцъ:—А собираешься дѣло дѣлать, планъ пишешь. Скажи пожалуйста, ходишь-ли ты куда-нибудь, гдѣ бываешь? Съ кѣмъ видишься?

— Да гдѣ бываю! Мало гдѣ бываю, все дому сижу: вотъ планъ-то тревожить меня, а тутъ еще квартира... Спасибо, Тарантьевъ хотѣлъ постараться, пріискать...

— Бываетъ ли кто-нибудь у тебя?

— Бываетъ... вотъ Тарантьевъ, еще Алексѣевъ. Давича докторъ зашелъ... Пенкинъ былъ, Судьбинскій, Волковъ...

— Я у тебя и книгъ не вижу, сказалъ Штольцъ.



— Вотъ книга! замѣтилъ Обломовъ, указавъ на лежавшую на столѣ книгу.

— Что такое? спросилъ Штольцъ, посмотрѣвъ книгу:— „Путешествіе въ Африку“. И страница, на которой ты остановился, заплѣсневѣла. Ни газеты не видать... Читаешь ли ты газеты?

— Нѣтъ, печать мелка, портитъ глаза... и нѣтъ надобности: если есть что-нибудь новое, цѣлый день со всѣхъ сторонъ только и слышишь объ этомъ.

— Помилуй, Илья! сказалъ Штольцъ, обративъ на Обломова изумленный взглядъ:— Самъ-то ты что жъ дѣлаешь? Точно комъ тѣста свернулся и лежишь.

— Правда, Андрей, какъ комъ, печально отозвался Обломовъ.

— Да развѣ сознаніе есть оправданіе?

— Нѣтъ, это только отвѣтъ на твои слова; я не оправдываюсь, со вздохомъ замѣтилъ Обломовъ.

— Надо же выйти изъ этого сна.

— Пробоваль прежде, не удалось, а теперь... зачѣмъ? Ничто не вызываетъ, душа не рвется, умъ спитъ покойно! съ едва-замѣтною горечью заключилъ онъ. — Полно объ этомъ... Скажи лучше, откуда ты теперь?

— Изъ Кіева. Недѣли черезъ двѣ поѣду за-границу. Поѣзжай и ты...

— Хорошо; пожалуй... рѣшилъ Обломовъ.

— Такъ садись, пиши просьбу, завтра и подашь...

— Вотъ ужъ и завтра! началъ Обломовъ, спохватившись:— Какая у нихъ торопливость, точно гонить кто-нибудь! Подумаемъ, поговоримъ, а тамъ что Богъ дастъ! Вотъ развѣ сначала въ деревню, а за-границу... послѣ...

— Отчего же послѣ? Вѣдь докторъ велѣлъ? Ты сбрось съ себя прежде жиръ, тяжесть тѣла, тогда отлетитъ и сонъ души. Нужна и тѣлесная, и душевная гимнастика.

— Нѣтъ, Андрей, все это меня утомить: здоровье-то плохо у меня. Нѣтъ, ужь ты лучше оставь меня, поѣзжай себѣ одинъ...

Штольцъ поглядѣлъ на лежащаго Обломова, Обломовъ поглядѣлъ на него.

Штольцъ покачалъ головой, а Обломовъ вздохнулъ.

— Тебѣ, кажется, и жить-то лѣнь? спросилъ Штольцъ.

— А что, вѣдь и то правда: лѣнь, Андрей.

Андрей ворочалъ въ головѣ вопросъ, чѣмъ бы задѣть его за живое и гдѣ у него живое, между-тѣмъ, молча, разглядывалъ его и вдругъ засмѣялся.

— Что это на тебѣ одинъ чулокъ нитяный, а другой бумажный? вдругъ замѣтилъ онъ, показывая на ноги Обломова:—Да и рубашка на изнанку надѣта?

Обломовъ поглядѣлъ на ноги, потомъ на рубашку.

— Въ самомъ дѣлѣ, смутясь, сознался онъ.—Этотъ Захаръ въ наказанье мнѣ посланъ! Ты не повѣришь, какъ я измучился съ нимъ! Спорить, грубіянить, а дѣла не спрашивать!

— Ахъ, Илья, Илья! сказалъ Штольцъ:—Нѣтъ, я тебя не оставлю такъ. Черезъ недѣлю ты не узнаешь себя. Ужо вечеромъ я сообщу тебѣ подробный планъ о томъ, что я намѣренъ дѣлать съ собой и съ тобой, а теперь одѣвайся. Пстой, я встряхну тебя. Захаръ! закричалъ онъ:—Одѣваться Ильѣ Ильичу!

— Куда, помилуй, что ты? Сейчасъ придетъ Тарантьевъ съ Алексѣевымъ, обѣдать. Потомъ хотѣли было...

— Захаръ, говорилъ, не слушая его, Штольцъ:—давай ему одѣваться.

— Слушаю, батюшка, Андрей Ивановичъ, вотъ только сапоги почищу, охотливо говорилъ Захаръ.

— Какъ? У тебя нечищены сапоги до пяти часовъ?

— Чищены-то они чищены, еще на той недѣлѣ, да баринъ не выходилъ, такъ опять потускнѣли...

— Ну, давай, какъ есть. Мой чемоданъ внеси въ гостиную; я у васъ остановлюсь. Я сейчасъ одѣнусь и ты будь готовъ, Илья. Мы пообѣдаемъ гдѣ-нибудь на ходу, потомъ поѣдемъ дома въ два, три, и...

— Да ты того... какъ же это вдругъ... постой... дай подумать... вѣдь я не бритъ...

— Нечего думать, да затылокъ чесать... Дорогой обрѣешься: я тебя завезу.

— Въ какіе дома мы еще поѣдемъ? горестно воскликнулъ Обломовъ:—Къ незнакомымъ? Что выдумалъ! Я пойду лучше къ Ивану Герасимовичу; дня три не былъ.

— Кто это Иванъ Герасимычъ?

— Что служилъ прежде со мной...

— А! Этотъ сѣдой экзекуторъ: что ты тамъ нашель? Что за страсть убивать время съ этимъ болваномъ!

— Какъ ты иногда рѣзко отзываешься о людяхъ, Андрей, такъ Богъ тебя знаетъ. А вѣдь это хорошій человекъ: только-что не въ голландскихъ рубашкахъ ходитъ...

— Что ты у него дѣлаешь? О чемъ съ нимъ говоришь? спросилъ Штольцъ.

— У него, знаешь, какъ-то правильно, уютно въ домѣ. Комнаты маленькія, диваны такіе глубокіе: уйдешь съ головой и не видать человека. Окна совсѣмъ закрыты плющами, да кактусами, канареекъ больше дюжины, три собаки, такія добрыя! Закуска со стола не сходитъ. Гравюры все изображаютъ семейныя сцены. Придешь и уйти не хочется. Сидишь, не заботясь, не думая ни о чемъ, знаешь, что около тебя есть человекъ... конечно, немудрый, помѣняться съ нимъ идеей нечего и думать, зато нехитрый, добрый, радушный, безъ претензій, и не уязвить тебя за глаза!

— Что жъ вы дѣлаете?

— Что? Вотъ я приду, сядемъ другъ противъ друга на диваны, съ ногами онъ; курить...

— Ну, а ты?

— Я тоже курю, слушаю, какъ канарейки трещать. Потомъ Марѳа принесетъ самоваръ.

— Тарантьевъ, Иванъ Герасимычъ! говорилъ Штольцъ, пожимая плечами.—Ну, одѣвайся скорѣй, торопилъ онъ.

—А Тарантьеву скажи, какъ придетъ, прибавилъ онъ, обращаясь къ Захару:—что мы дома не обѣдаемъ и что Илья Ильичъ все лѣто не будетъ дома обѣдать, а осенью у него много будетъ дѣла, и что видѣться съ нимъ не удастся...

— Скажу, не забуду, все скажу, отозвался Захаръ:—а съ обѣдомъ, какъ прикажете?

— Съѣшь его съ кѣмъ-нибудь на здоровье.

— Слушаю, сударь.

Минуть черезъ десять Штольцъ вышелъ одѣтый, обритый, причесанный, а Обломовъ меланхолически сидѣлъ на постели, медленно, застегивая грудь рубашки и не попадая пуговкой въ петлю. Передъ нимъ, на одномъ колѣнѣ, стоялъ Захаръ съ нечищеннымъ сапогомъ, какъ съ какимъ-нибудь блюдомъ, готовясь надѣвать и ожидая, когда баринъ кончитъ застегиванье груди.

— Ты еще сапогъ не надѣлъ! съ изумленіемъ сказалъ Штольцъ.—Ну, Илья, скорѣй же, скорѣй!

— Да куда это? Да зачѣмъ? съ тоской говорилъ Обломовъ:—Чего я тамъ не видалъ? Отсталъ я, не хочется...

— Скорѣй, скорѣй! торопилъ Штольцъ.

#### IV.

Хотя было уже нерано, но они успѣли заѣхать куда то по дѣламъ, потомъ Штольцъ захватилъ съ собой обѣдать одного золотопромышленника, потомъ поѣхали къ этому

послѣднему на дачу пить чай, застали большое общество, и Обломовъ изъ совершеннаго уединенія вдругъ очутился въ толпѣ людей. Воротились они домой къ поздней ночи.

На другой, на третій день опять, и цѣлая недѣля промелькнула незамѣтно. Обломовъ протестовалъ, жаловался, спорилъ, но былъ увлекаемъ и сопутствовалъ другу своему всюду.

Однажды, возвратясь откуда-то поздно, онъ особенно возсталъ противъ этой суеты.

— Цѣлые дни, ворчалъ Обломовъ, надѣвая халатъ, — не снимаешь сапогъ: ноги такъ и зудятъ! Не нравится мнѣ эта ваша петербургская жизнь! продолжалъ онъ, ложась на диванъ.

— Какая же тебѣ нравится? спросилъ Штольцъ.

— Не такая, какъ здѣсь.

— Что жъ здѣсь именно такъ не понравилось?

— Все, вѣчная бѣготня въ-запуски, вѣчная игра дрянныхъ страстишекъ, особенно жадности, перебиванья другъ у друга дороги, сплетни, пересуды, щелчки другъ другу, это оглядыванье съ ногъ до головы; послушаешь, о чемъ говорятъ, такъ голова закружится, одурѣешь. Кажется, люди на взглядъ такіе умные, съ такимъ достоинствомъ на лицѣ, только и слышишь: „Этому дали то, тотъ получилъ аренду“. „Помилуйте, за что?“ кричитъ кто-нибудь. „Этотъ проигрался вчера въ клубъ; тотъ беретъ триста тысячъ!“ Скука, скука, скука!.. Гдѣ же тутъ человѣкъ? Гдѣ его цѣлость? Куда онъ скрылся, какъ размѣнялся на всякую мелочь?

— Что-нибудь да должно же занимать свѣтъ и общество, сказалъ Штольцъ:—у всякаго свои интересы. На то жизнь...

— Свѣтъ, общество! Ты, вѣрно, нарочно, Андрей, посылаешь меня въ этотъ свѣтъ и общество, чтобъ отбить



больше охоту быть тамъ. Жизнь: хороша жизнь! Чего тамъ искать? интересовъ ума, сердца? Ты посмотри, гдѣ центръ, около котораго вращается все это: нѣтъ его, нѣтъ ничего глубокаго, задѣвающаго за живое. Все это мертвецы, спящіе люди, хуже меня, эти члены свѣта и общества! Что водить ихъ въ жизни? Вотъ они не лежатъ, а спуютъ каждый день, какъ мухи, взадъ, и впередъ, а что толку? Войдешь въ залу и не налюбишься, какъ симметрически рассажены гости, какъ смирно и глубокомысленно сидятъ—за картами. Нѣчего сказать, славная задача жизни! Отличный примѣръ для ищущаго движенія ума! Развѣ это не мертвецы? Развѣ не спятъ они всю жизнь, сидя? Чѣмъ я виноватѣ ихъ, лежа у себя дома и не заражая головы тройками и валетами?

— Это все старое, объ этомъ тысячу разъ говорили, замѣтилъ Штольцъ.—Нѣтъ ли чего поновѣе?

— А наша лучшая молодёжь, что она дѣлаетъ? Развѣ не спитъ, ходя, разѣзжая по Невскому, танцуя? Ежедневная пустая перетасовка дней! А посмотри, съ какою гордостью и невѣдомымъ достоинствомъ, отталкивающимъ взглядомъ смотрятъ, кто не такъ одѣтъ, какъ они, не носить ихъ имени и званія. И воображаютъ, несчастные, что еще они выше толпы: „мы-де служимъ, гдѣ кромѣ насъ никто не служить; мы въ первомъ ряду креселъ, мы на балѣ у князя N, куда только насъ пускаютъ....“ А сойдутся между собой, перепьются и подерутся, точно дикіе! Развѣ это живые, неспящіе люди? Да не одна молодёжь: посмотри на взрослыхъ. Собираются, кормятъ другъ друга ни радушія, ни доброты, ни взаимнаго влеченія! Собираются на обѣдъ, на вечеръ, какъ въ должность, безъ веселья, холодно, чтобъ похвастать поваромъ, салономъ, и потомъ подъ-рукой осмѣять, подставить ногу одинъ другому. Третьяго дня, за обѣдомъ, я не зналъ, куда смотрѣть,

хоть подъ столъ залѣзть, когда началось терзаніе репутацій отсутствующихъ: „тотъ глупъ, этотъ низокъ, другой воръ, третій смѣшонъ“—настоящая травля! Говоря это, глядятъ другъ на друга такими же глазами: „вотъ уйди только за дверь, и тебѣ то же будетъ“... Зачѣмъ же они сходятся, если они таковы? Зачѣмъ такъ крѣпко жмутъ другъ другу руки? Ни искренняго смѣха, ни проблеска симпатіи! Стараются залучить громкій чинъ, имя. „У меня былъ такой-то, а я былъ у такого-то“, хвастаются потомъ... Что жъ это за жизнь? Я не хочу ея. Чему я тамъ научусь, что извлеку?

— Знаешь что, Илья? сказалъ Штольцъ:—Ты разсуждаешь точно древній: въ старыхъ книгахъ вотъ такъ все писали. А впрочемъ, и то хорошо: по крайней мѣрѣ разсуждаешь, не спишь. Ну, что еще? Продолжай.

— Что продолжать-то? Ты посмотри: ни на комъ здѣсь нѣтъ свѣжаго, здороваго лица.

— Климатъ такой, перебилъ Штольцъ.—Вонъ и у тебя лицо измято, а ты и не бѣгаешь, все лежишь.

— Ни у кого яснаго, покойнаго взгляда, продолжалъ Обломовъ:—всѣ заражаются другъ отъ друга какой-нибудь мучительной заботой, тоской, болѣзненно чего-то ищутъ. И добро бы истины, блага себѣ и другимъ—нѣтъ, они блѣднѣютъ отъ успѣха товарища. У одного забота: завтра въ присутственное мѣсто зайти, дѣло пятый годъ тянется, противная сторона одолеваетъ, и онъ пять лѣтъ носить одну мысль въ головѣ, одно желаніе: сбить съ ногъ другаго и на его паденіи выстроить зданіе своего благосостоянія. Пять лѣтъ ходить, сидѣть и вздыхать въ пріемной—вотъ идеалъ и цѣль жизни! Другой мучится, что осужденъ ходить каждый день на службу и сидѣть до пяти часовъ, а тотъ вздыхаетъ тяжело, что нѣтъ ему такой благодати...

— Ты философъ, Илья! сказалъ Штольцъ.—Всѣ хлопотуть, только тебѣ ничего ненужно!

— Вотъ, этотъ желтый господинъ въ очкахъ, продолжалъ Обломовъ:—присталъ ко мнѣ: читалъ ли я рѣчь какого-то депутата, и глаза вытаращилъ на меня, когда я сказалъ, что не читаю газетъ. И пошелъ о Лудовикѣ-Филиппѣ, точно какъ-будто онъ родной отецъ ему. Потомъ привязался, какъ я думаю: отчего французскій посланникъ выѣхалъ изъ Рима? Какъ, всю жизнь обречь себя на ежедневное заряжанье всесвѣтными новостями, кричать недѣлю, пока не выкричишься! Сегодня Мехметъ-Али послалъ корабль въ Константинополь, и онъ ломаетъ себѣ голову: зачѣмъ? Завтра не удалось Дон-Карлосу—и онъ въ ужасной тревогѣ. Тамъ роютъ каналъ, тутъ отрядъ войска послали на Востокъ; батюшки, загорѣлось! лица нѣтъ, бѣжитъ кричить, какъ-будто на него самого войско идетъ. Разсуждаютъ, соображаютъ вкривь и вкосъ, а самимъ скучно—не занимается это ихъ; сквозь эти крики видѣнъ непробудный сонъ! Это имъ постороннее; они не въ своей шапкѣ ходятъ. Дѣла-то своего нѣтъ, они и разбросались на всѣ стороны, не направились ни на что. Подъ этой всеобъемлемостью кроется пустота, отсутствіе симпатіи ко всему! А избрать скромную, трудовую тропинку и идти по ней, прорывать глубокую колею—это скучно, незамѣтно; тамъ всезнаніе не поможетъ, и пыль въ глаза пускать нѣкому.

— Ну, мы съ тобой не разбросались, Илья. Гдѣ же наша скромная, трудовая тропинка? спросилъ Штольцъ.

Обломовъ вдругъ смолкъ.

— Да вотъ, я кончу только... планъ... сказалъ онъ.—Да Богъ съ ними! съ досадой прибавилъ потомъ:—Я ихъ не трогаю, ничего не ищу; я только не вижу нормальной жизни въ этомъ. Нѣтъ, это не жизнь, а искаженіе нормы, идеала жизни, который указала природа цѣлью человѣку...

— Какой же это идеаль, норма жизни?

Обломовъ не отвѣчалъ.

— Ну, скажи мнѣ, какую бы ты начерталъ себѣ жизнь? продолжалъ спрашивать Штольцъ.

— Я ужъ начерталъ.

— Что жъ это такое? Расскажи, пожалуйста, какъ?

— Какъ? сказалъ Обломовъ, перевертываясь на спину и глядя въ потолокъ:— Да какъ! Уѣхалъ бы въ деревню.

— Что жъ тебѣ мѣшаетъ?

— Планъ неконченъ. Потомъ я бы уѣхалъ не одинъ, а съ женой...

— А! вотъ что! Ну, съ Богомъ. Чего жъ ты ждешь? Еще года три-четыре, никто за тебя не пойдетъ...

— Что дѣлать, не судьба! сказалъ Обломовъ, вздохнувъ:— Состояніе не позволяетъ!

— Помилуй, а Обломовка? Триста душъ!

— Такъ что жъ? Чѣмъ тутъ жить, съ женой?

— Вдвоемъ, чѣмъ жить!

— А дѣти пойдутъ?

— Дѣтей воспитаешь, сами достанутъ; умѣй направить ихъ такъ...

— Нѣтъ, что изъ дворянъ дѣлать мастеровыхъ! сухо перебилъ Обломовъ.— Да и кромѣ дѣтей, гдѣ же вдвоемъ? Это только такъ говорится, съ женой вдвоемъ, а въ самомъ-то дѣлѣ, только женился, тутъ напозетъ къ тебѣ какихъ-то бабъ въ домъ. Загляни въ любое семейство: родственницы, не родственницы и не экономки; если не живутъ, такъ ходятъ каждый день кофе пить, обѣдать... Какъ же прокормить съ тремястами душъ такой пансіонъ?

— Ну, хорошо; пусть тебѣ подарили бы еще триста тысячъ, что бъ ты сдѣлалъ? спрашивалъ Штольцъ, съ сильно-задѣтымъ любопытствомъ.

— Сейчас же въ ломбардъ, сказалъ Обломовъ: — и жить бы процентами.

— Тамъ мало процентовъ; отчего жъ бы куда-нибудь въ компанію, вотъ, хоть въ нашу?

— Нѣтъ, Андрей, меня не надуешь.

— Какъ; ты бы и мнѣ не повѣрилъ?

— Ни за что; не то, что тебѣ, а все можетъ случиться: ну, какъ лопнетъ, вотъ я и безъ гроша. То-ли дѣло въ банкъ?

— Ну, хорошо; что жъ бы ты сталъ дѣлать?

— Ну, пріѣхалъ бы я въ новый, покойно-устроенный домъ... Въ окрестности жили бы добрые сосѣди, ты, напримѣръ... Да нѣтъ, ты не усидишь на одномъ мѣстѣ...

— А ты развѣ усидѣлъ бы всегда? Никуда бы не поѣхалъ?

— Ни за что!

— Зачѣмъ же хлопочутъ строить вездѣ желѣзныя дороги, пароходы, если идеаль жизни — сидѣть на мѣстѣ? Подадимъ-ко, Илья, проектъ, чтобъ остановились; мы вѣдь не поѣдемъ.

— И безъ насъ много; мало ли управляющихъ, приказчиковъ, купцовъ, чиновниковъ, праздныхъ путешественниковъ, у которыхъ нѣтъ угла? Пусть ѣздятъ-себѣ!

— А ты кто же?

Обломовъ молчалъ.

— Къ какому же разряду общества причисляешь ты себя?

— Спроси Захара, сказалъ Обломовъ.

Штольцъ буквально исполнилъ желаніе Обломова.

— Захаръ! закричалъ онъ.

Пришелъ Захаръ, съ сонными глазами.

— Кто это такой лежитъ? спросилъ Штольцъ.

Захаръ вдругъ проснулся и стороной, подозрительно взглянулъ на Штольца, потомъ на Обломова.



— Какъ кто? Развѣ вы не видите?

— Не вижу, сказалъ Штольцъ.

— Что за диковина? Это баринъ, Илья Ильичъ.

Онъ усмѣхнулся.

— Хорошо, ступай.

— Баринъ! повторилъ Штольцъ и закатился хохотомъ.

— Ну, джентльменъ, съ досадой поправилъ Обломовъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, ты баринъ! продолжалъ съ хохотомъ Штольцъ.

— Какая же разница? сказалъ Обломовъ: — Джентльменъ такой же баринъ.

— Джентльменъ есть такой баринъ, опредѣлилъ Штольцъ, — который самъ надѣваетъ чулки и самъ же снимаетъ съ себя сапоги.

— Да, англичанинъ, самъ, потому-что у нихъ не очень-много слугъ, а русскій...

— Продолжай же дорисовывать мнѣ идеалъ твоей жизни... Ну, добрые пріятеля вокругъ; что жъ дальше? Какъ бы ты проводилъ дни свои?

— Ну, вотъ, всталъ бы утромъ, началъ Обломовъ, подкладывая руки подъ затылокъ, и по лицу разлилось выраженіе покоя: онъ мысленно былъ уже въ деревнѣ. — Погода прекрасная, небо синее-пресинее, ни одного облачка, говорилъ онъ: — одна сторона дома, въ планѣ, обращена у меня балкономъ на востокъ, къ саду, къ полямъ, другая къ деревнѣ. Въ ожиданіи, пока проснется жена, я надѣлъ бы шлафрокъ и походилъ по саду подышать утренними испареніями; тамъ ужъ нашелъ бы я садовника, поливали бы вмѣстѣ цвѣты, подстригали кусты, деревья. Я составляю букетъ для жены. Потомъ иду въ ванну или въ рѣку купаться, возвращаюсь — балконъ уже открытъ; жена въ блузѣ, въ легкомъ чепчикѣ, который чуть-

чуть держится, того-и-гляди слетить съ головы... Она ждетъ меня. „Чай готовъ“, говоритъ она. Какой поцалуй! Какой чай! Какое покойное кресло! Сажусь около стола; на немъ сухари, сливки, свѣжее масло...

— Потомъ?

— Потомъ, надѣвъ просторный сюртукъ, или куртку какую-нибудь, обнявъ жену за талью, углубиться съ ней въ безконечную, темную аллею; идти тихо, задумчиво, молча, или думать вслухъ, мечтать, считать минуты счастья, какъ бѣненіе пульса; слушать, какъ сердце бьется и замираетъ; искать въ природѣ сочувствія... и незамѣтно выйти къ рѣчкѣ, къ полю... Рѣка чуть плещетъ; колосья волнуются отъ вѣтерка, жара... сѣсть въ лодку, жена править, едва поднимаетъ весло...

— Да ты поэтъ, Илья! перебилъ Штольцъ.

— Да, поэтъ въ жизни, потому-что жизнь есть поэзія. Вольно людямъ исказать ее! Потомъ можно зайти въ оранжерею, продолжалъ Обломовъ, самъ упиваясь идеаломъ нарисованнаго счастья.

Онъ извлекалъ изъ воображенія готовые, давно уже нарисованныя имъ картины, и оттого говорилъ съ одушевленіемъ, не останавливаясь.

— Посмотрѣть персики, виноградъ, говорилъ онъ: — сказать, что подать къ столу, потомъ воротиться, слегка позавтракать и ждать гостей... А тутъ, то записка къ женѣ отъ какой-нибудь Марьи Петровны, съ книгой, съ нотами, то прислали ананасъ въ подарокъ, или у самого въ парникѣ созрѣлъ чудовищный арбузъ — пошлешь добродушному пріятелю, къ завтрашнему обѣду, и самъ туда отправишься... А на кухнѣ въ это время такъ и кипитъ; поваръ въ бѣломъ, какъ снѣгъ, фартукѣ и колпакѣ, суетится; поставитъ одну кострюлю, сниметъ другую, тамъ помѣшаетъ, тутъ начнетъ валять тѣсто, тамъ выплеснетъ во-

ду... ножи такъ и стучать... крошатъ зелень... тамъ вертять мороженое... До обѣда пріятно заглянуть въ кухню, открыть кострюлю, понюхать, посмотрѣть, какъ свертываютъ пирожки, сбиваютъ сливки. Потомъ лечь на кушетку; жена вслухъ читаетъ что нибудь новое; мы останавливаемся, споримъ... Но гости ѣдутъ, напимѣръ, ты съ женой.

— Ба, ты и меня женишь?

— Непремѣнно! Еще два, три пріятеля, все одни и тѣ же лица. Начнемъ вчерашній, неконченный разговоръ; пойдутъ шутки, или наступитъ краснорѣчивое молчаніе, задумчивость — не отъ потери мѣста, не отъ сенатскаго дѣла, а отъ полноты удовлетворенныхъ желаній, раздумье наслажденія... Не услышишь филиппики, съ пѣной на губахъ, отсутствующему, не подмѣтишь брошеннаго на тебя взгляда съ обѣщаніемъ и тебѣ того же, чуть выйдешь за дверь. Кого не любишь, кто не хорошъ, съ тѣмъ не обмакнешь хлѣба въ солонку. Въ глазахъ собесѣдниковъ увидишь симпатію, въ шуткѣ искренній, не злобный смѣхъ... Все по-душѣ! Что въ глазахъ, въ словахъ, то и на сердцѣ! Послѣ обѣда мокка, гаванна на террасѣ...

— Ты мнѣ рисуешь одно и то же, что бывало у дѣдовъ и отцовъ.

— Нѣтъ, не то, отозвался Обломовъ, почти обидѣвшись: — гдѣ же то? Развѣ у меня жена сидѣла бы за вареньями, да за грибами? Развѣ считала бы тальки да разбирала деревенское полотно? Развѣ была бы дѣвокъ по щекамъ? Ты слышишь: ноты, книги, рояль, изящная мѣбель?

— Ну, а ты самъ?

— И самъ я прошлогоднихъ бы газетъ не читалъ, въ колымагѣ бы не ѣздилъ, ѣлъ бы не лапшу и гуся, а выучилъ бы повара въ англійскомъ клубѣ, или у посланника,

— Ну, потомъ?

— Потомъ, какъ свалить жара, отправили бы телѣгу съ самоваромъ, съ десертомъ, въ березовую рощу, а не то, такъ въ поле, на скошеную траву, разостлали бы между стогами ковры, и такъ блаженствовали бы вплоть до окрошки и бифстекса. Мужики идутъ съ поля, съ косами на плечахъ; тамъ возъ съ сѣномъ проползетъ, закрывъ всю телегу и лошадь; сверху, изъ кучи, торчитъ шапка мужика съ цвѣтами, да дѣтская головка; тамъ толпа босоногихъ бабъ, съ серпами, голоса... Вдругъ завидѣли господъ, притихли, низко кланяются. Одна изъ нихъ, съ загорѣлой шеей, съ голыми локтями, съ робко-опущенными, но лукавыми глазами, чуть-чуть, для виду только, обороняется отъ барской ласки, а сама счастлива... тс!.. жена чтобъ не увидѣла, Боже сохрани!

И самъ Обломовъ и Штольцъ покатались со смѣху.

— Сыро въ полѣ, заключилъ Обломовъ: — темно; туманъ, какъ опрокинутое море, виситъ надъ рожью; лошади вздрагиваютъ плечомъ и бьютъ копытами: пора домой. Въ домѣ ужъ засвѣтились огни; на кухнѣ стучать въ пятеро ножей; сковорода грибовъ, котлеты, ягоды... тутъ музыка... *Casta diva... Casta diva!* запѣлъ Обломовъ.— Не могу равнодушно вспомнить *casta diva*, сказалъ онъ, пропѣвъ начало каватины: какъ выплакиваетъ сердце эта женщина! Какая грусть заложена въ эти звуки!.. И никто не знаетъ ничего вокругъ... Она одна... Тайна тяготитъ ее; она ввѣряетъ ее лунѣ...

— Ты любишь эту арію? Я очень радъ: ее прекрасно поетъ Ольга Ильинская. Я познакомлю тебя — вотъ голосъ, вотъ пѣніе! Да и сама она что за очаровательное дитя! Впрочемъ, можетъ быть, я пристрастно сужу: у меня къ ней слабость... Однакожь, не отвлекайся, не отвлекайся, прибавилъ Штольцъ: рассказывай!

— Ну продолжалъ Обломовъ:—что еще?.. Да тутъ и



все!.. Гости расходятся по флигелямъ, по павильонамъ; а завтра разбрелись: кто удить, кто съ ружьемъ, а кто такъ, просто, сидить себѣ...

— Просто, ничего въ рукахъ? спросилъ Штольцъ.

— Чего тебѣ надо? Ну, носовой платокъ, пожалуй. Что жъ, тебѣ не хотѣлось бы такъ пожить? спросилъ Обломовъ:

— А? Это не жизнь?

— И весь вѣкъ такъ? спросилъ Штольцъ.

— До сѣдыхъ волосъ, до гробовой доски. Это жизнь!

— Нѣтъ, это не жизнь!

— Какъ не жизнь? Чего тутъ нѣтъ? Ты подумай, что ты не увидалъ бы ни одного блѣднаго, страдальческаго лица, никакой заботы, ни одного вопроса о сенатѣ, о биржѣ, объ акціяхъ, о докладахъ, о приѣмѣ у министра, о чинахъ, о прибавкѣ столовыхъ денегъ. А все разговоры по душѣ! Тебѣ никогда не понадобилось бы переѣзжать съ квартиры

— ужъ это одно чего стоитъ! И это не жизнь?

— Это не жизнь! упрямо повторилъ Штольцъ.

— Что жъ это по-твоему?

— Это... (Штольцъ задумался и искалъ, какъ назвать эту жизнь). Какая-то... обломовщина, сказалъ онъ наконецъ.

— О-бло-мовщина! медленно произнесъ Илья Ильичъ, удивляясь этому странному слову и разбирая его по складамъ:— Об-ло-мов-щина!

Онъ странно и пристально глядѣлъ на Штольцъ.

— Гдѣ-же идеаль, жизни по-твоему? Что жъ не обломовщина? безъ увлеченія, робко спросилъ онъ: — Развѣ не всѣ добиваются того же, о чемъ я мечтаю? Помилуй! прибавилъ онъ, смѣлѣе:— Да цѣль всей вашей бѣготни, страстей, войнъ, торговли и политики, развѣ не выдѣлка покоя, не стремленіе къ этому идеала утраченнаго рая?

— И утопія-то у тебя обломовская, возразилъ Штольцъ.



— Всѣ ищутъ отдыха и покоя, защищался Обломовъ.

— Не всѣ, и ты самъ, лѣтъ десять, не того искалъ въ жизни.

— Чего же я искалъ? съ недоумѣніемъ спросилъ Обломовъ, погружаясь мыслью въ прошедшее.

— Вспомни, подумай. Гдѣ твои книги, переводы?

— Захаръ куда-то дѣлъ, отвѣчалъ Обломовъ: — тутъ гдѣ-нибудь въ углу лежать.

— Въ углу! съ упрекомъ слезалъ Штольцъ:—Въ этомъ же углу лежать и замыслы твои „служить, пока станетъ силъ, потому-что Россіи нужны руки и головы для разработыванія неистощимыхъ источниковъ (твои слова); работать, чтобъ слаще отдыхать, а отдыхать — значить жить другой, артистической, изящной стороною жизни, жизни художниковъ, поэтовъ“. Всѣ эти замыслы тоже Захаръ сложилъ въ уголъ? Помнишь, ты хотѣлъ послѣ книгъ, обѣщать чужіе края, чтобъ лучше знать и любить свой? „Вся жизнь есть мысль и трудъ,“ твердилъ ты тогда: „трудъ хоть безвѣстный, темный, но непрерывный, и умереть съ сознаниемъ, что сдѣлалъ свое дѣло.“—А? Въ какомъ углу лежитъ это у тебя?

— Да... да... говорилъ Обломовъ, безпокойно слѣдя за каждымъ словомъ Штольца: — помню, что я точно... кажется... Какъ же, сказалъ онъ, вдругъ вспомнивъ прошлое: — вѣдь мы, Андрей, собирались сначала извѣздить, вдоль и поперекъ Европу, исходить Швейцарію пѣшкомъ, обжечь ноги на Везувіи, спуститься въ Геркуланъ. Съ ума чуть не сошли! Сколько глупостей!..

— Глупостей! съ упрекомъ повторилъ Штольцъ.—Не ты ли со слезами говорилъ, глядя на гравюры рафаэлевскихъ мадоннъ, „Корреджіевой ночи“, на „Аполлона Бельведерскаго“: „Боже мой? Уже-ли никогда не удастся взглянуть на оригиналы и онѣмѣть отъ ужаса, что ты стоишь

передъ произведеніемъ Микель-Анджело, Тиціана, и попираешь почву Рима? Уже-ли провести вѣкъ и видѣть эти мирты, капарисы и померанцы въ оранжереяхъ, а не на ихъ родинѣ? Не подышать воздухомъ Италіи, не упиться синевой неба!“ И сколько великолѣпныхъ фейерверковъ пускалъ ты изъ головы! Глупости!

— Да, да, помню! говорилъ Обломовъ, вдумываясь въ прошлое. — Ты еще взялъ меня за руку и сказалъ: “дадимъ обѣщаніе не умирать, не увидавши ничего этого“...

— Помню, продолжалъ Штольцъ, какъ ты однажды принесъ мнѣ переводъ изъ Сэя, съ посвященіемъ мнѣ въ именины; переводъ цѣль у меня. А какъ ты запирался съ учителемъ математики, хотѣлъ непременно добиться, зачѣмъ тебѣ знать круги и квадраты, но на половинѣ бросилъ и не добился? По-англійски началъ учиться... и не доучился! А когда я сдѣлалъ планъ поѣздки за границу, звалъ заглянуть въ германскіе университеты, ты вскочилъ, обнялъ меня и подалъ торжественно руку: „я твой Андрей, съ тобой всюду“—это все твои слова. Ты всегда былъ немножко актёръ. Что жъ, Илья? Я два раза былъ за границей, послѣ нашей премудрости, смиренно сидѣлъ на студенческихъ скамьяхъ въ Боннѣ, въ Іенѣ, въ Эрлангенѣ, потомъ выучилъ Европу какъ свое имѣніе. Но положимъ, вояжъ—это роскошь и не всѣ въ состояніи и обязаны пользоваться этимъ средствомъ; а Россія? Я видѣлъ Россію вдоль и поперекъ. Тружусь...

— Когда-нибудь перестанешь же трудиться, замѣтилъ Обломовъ.

— Никогда не перестану. Для чего?

— Когда удвоишь свои капиталы, сказалъ Обломовъ.

— Когда учетверю ихъ, и тогда не перестану.

— Такъ изъ чего же, заговорилъ онъ, помолчавъ, ты

бьешься, если цѣль твоя не обезпечить себя навсегда и удалиться потомъ на покой, отдохнуть?...

— Деревенская обломовщина! сказалъ Штольцъ.

— Или достигнуть службой значенія и положенія въ обществѣ, и потомъ въ почетномъ бездѣйствіи наслаждаться заслуженнымъ отдыхомъ...

— Петебурская обломовщина! возразилъ Штольцъ.

— Такъ когда же жить? съ досадой на замѣчанія Штольца возразилъ Обломовъ. — Для чего же мучиться весь вѣкъ?

— Для самого труда, больше ни для чего. Трудъ — образъ, содержаніе, стихія и цѣль жизни, по крайней мѣрѣ, моей. Вонъ, ты выгналъ трудъ изъ жизни: на что она похожа? Я попробую приподнять тебя, можетъ-быть, въ послѣдній разъ. Если ты и послѣ этого будешь сидѣть вотъ тутъ, съ Тарантьевыми и Алексѣевыми, то совсѣмъ пропадешь, станешь въ тягость даже себѣ. Теперь, или никогда! заключилъ онъ.

Обломовъ слушалъ его, глядя на него встревоженными глазами. Другъ какъ-будто поставилъ ему зеркало, и онъ испугался, узнавъ себя.

— Не брани меня, Андрей, а лучше въ самомъ дѣлѣ помоги! началъ онъ со вздохомъ. Я самъ мучусь этимъ; и еслибъ ты посмотрѣлъ и послушалъ меня вотъ хоть бы сегодня, какъ я самъ копаю себѣ могилу и оплакиваю себя, у тебя бы упрекъ не сошелъ съ языка. Все знаю, все понимаю, но силы и воли нѣтъ. Дай мнѣ своей воли и ума и веди меня куда хочешь. За тобой я, можетъ быть, пойду, а одинъ не сдвинусь съ мѣста. Ты правду говоришь: „теперь или никогда больше“. Еще годъ—поздно будетъ!

— Ты ли это, Илья? говорилъ Андрей: — А помню я тебя тоненькимъ, живымъ мальчикомъ, какъ ты каждый день съ Пречистенки ходилъ въ Кудрино; тамъ, въ садикѣ... ты

не забылъ двухъ сестеръ? Не забылъ Руссо, Шиллера, Гёте, Байрона, которыхъ носилъ имъ и отнималъ у нихъ романы Коттень, Жанлисъ... важничалъ передъ ними, хотѣлъ очистить ихъ вкусъ?..

Обломовъ вскочилъ съ постели.

— Какъ, ты и это помнишь, Андрей? Какъ же! Я мечталъ съ ними, нашептывалъ надежды на будущее, развивалъ планы, мысли и... чувства тоже, тихонько отъ тебя, чтобъ ты на-смѣхъ не поднялъ. Тамъ все это и умерло, больше не повторялось никогда! Да и куда дѣлось все — отчего погасло? Непостижимо! Вѣдь ни бурь, ни потрясеній не было у меня; не терялъ я ничего; никакое ярмо не тяготитъ моей совѣсти: она чиста, какъ стекло; никакой ударъ не убилъ во мнѣ самолюбія, а такъ, Богъ знаетъ отчего, все пропадаетъ!

Онъ вздохнулъ.

— Знаешь ли, Андрей, въ жизни моей вѣдь никогда не загоралось никакого, ни спасительнаго, ни разрушительнаго огня? Она не была похожа на утро, на которое постепенно падаютъ краски, огонь, которое потомъ превращается въ день, какъ у другихъ, и пылаетъ жарко, и все кипитъ, движется въ яркомъ полуднѣ, и потомъ все тише и тише, все блѣднѣе, и все естественно и постепенно гаснетъ къ вечеру. Нѣтъ, жизнь моя началась съ погасанія. Странно, а это такъ! Съ первой минуты, когда я созналъ себя, я почувствовалъ, что я уже гасну. Началъ гаснуть я надъ писаньемъ бумагъ въ канцеляріи; гаснулъ потомъ, вычитывая въ книгахъ истины, съ которыми не зналъ что дѣлать въ жизни, гаснулъ съ пріятелями, слушая толки, сплетни, передразниванье, злую и холодную болтовню, пустоту, глядя на дружбу, поддерживаемую сходками безъ цѣли, безъ симпатіи; гаснулъ и губилъ силы съ Миной: платилъ ей больше половины своего дохода и воображалъ,



что люблю ее; гаснулъ въ уныломъ и лѣнивомъ хожденіи по Невскому проспекту, среди еотовыхъ шубъ и бобровыхъ воротниковъ, — на вечерахъ, въ пріемные дни, гдѣ оказывали мнѣ радушіе, какъ сносному жениху; гаснулъ и тратилъ по мелочи жизнь и умъ, переѣзжая изъ города на дачу, съ дачи въ Гороховую, опредѣляя весну привозомъ устрицъ и омаровъ, осень и зиму — положенными днями, лѣто — гуляньями, и всю жизнь — лѣнливой и покойной дремотой, какъ другіе... Даже самолюбіе — на что оно тратилось? Чтобъ заказывать платье у извѣстнаго портнаго? Чтобъ попасть въ извѣстный домъ? Чтобъ князь П\* пожалъ мнѣ руку? А вѣдь самолюбіе — соль жизни! Куда оно ушло? Или я не понималъ этой жизни, или она никуда не годится, а лучшаго я ничего не зналъ, не видалъ, никто не указалъ мнѣ его. Ты появлялся и исчезалъ, какъ комета, ярко, быстро, и я забывалъ все это и гаснулъ...

Штольцъ не отвѣчалъ уже небрежной насмѣшкой на рѣчь Обломова. Онъ слушалъ и угрюмо молчалъ.

— Ты сказалъ давеча, что у меня лицо несовсѣмъ свѣжо, измято, продолжалъ Обломовъ: — да, я дряблый, ветхій, изношенный кафтанъ, но не отъ климата, не отъ трудовъ, а отъ того, что двѣнадцать лѣтъ во мнѣ былъ запертъ свѣтъ, который искалъ выхода, но только жегъ свою тюрьму, не вырвался на волю и угасъ. Итакъ, двѣнадцать лѣтъ, милый мой Андрей, прошло: не хотѣлось ужъ мнѣ просыпаться больше.

— Зачѣмъ же ты не вырвался, не бѣжалъ куда-нибудь, а молча погибалъ? нетерпѣливо спросилъ Штольцъ.

— Куда?

— Куда? Да хоть съ своими мужиками на Волгу: и тамъ больше движенія, есть интересы какіе-нибудь, цѣль, трудъ. Я бы ѣхалъ въ Сибирь, въ Ситху.

— Вонъ вѣдь ты все какія сильныя средства прописыва-



ешь! замѣтилъ Обломовъ уныло.—Да я ли одинъ? Смотри: Михайловъ, Петровъ, Семеновъ, Алексѣевъ, Степановъ... не пересчитаешь: наше имя легіонъ!

Штольцъ еще былъ подъ вліяніемъ этой исповѣди и молчалъ. Потомъ вздохнулъ.

— Да, воды много утекло! сказалъ онъ.—Я не оставляю тебя такъ, я увезу тебя отсюда, сначала за-границу, потомъ въ деревню: похудѣешь немного, перестанешь хандрить, а тамъ сыщемъ и дѣло...

— Да, поѣдемъ куда-нибудь отсюда! вырвалось у Обломова.

— Завтра начнемъ хлопотать о паспортѣ за границу, потомъ станемъ собираться... Я не отстану — слышишь, Илья?

— Ты все завтра! возразилъ Обломовъ, спустившись будто съ облаковъ.

— А тебѣ бы хотѣлось „не откладывать до завтра, что можно сдѣлать сегодня„? Какая прыть! Поздно нынче, прибавилъ Штольцъ: — но черезъ двѣ недѣли мы будемъ далеко...

— Что это, братецъ, черезъ двѣ недѣли, помилуй, вдругъ такъ!... говорилъ Обломовъ. — Дай хорошенько обдумать и приготовиться... Тарантасъ надо какой-нибудь... развѣ мѣсяца черезъ три.

— Выдумалъ тарантасъ! До границы мы поѣдемъ въ почтовомъ экипажѣ, или на пароходѣ до Любека, какъ будетъ удобнѣе; а тамъ во многихъ мѣстахъ желѣзныя дороги есть.

— А квартира, а Захаръ, а Обломовка? Вѣдь надо распорядиться, защищался Обломовъ.

— Обломовщина, обломовщина! сказалъ Штольцъ, смѣясь, потомъ взялъ свѣчку, пожелалъ Обломову покойной ночи и пошелъ спать.—Теперь, или никогда—помни! при-

бавиль онъ, обернувшись къ Обломову и затворяя за собой дверь.

V.

„Теперь, или никогда!“ явились Обломову грозныя слова, лишь только онъ проснулся утромъ.

Онъ всталъ съ постели, прошелся раза три по комнатѣ, заглянулъ въ гостиную: Штольцъ сидитъ и пишетъ.

— Захаръ! кликнулъ онъ.

Не слышно прыжка съ печки—Захаръ нейдетъ: Штольцъ услалъ его на почту.

Обломовъ подошелъ къ своему запыленному столу, сѣлъ, взялъ перо, обмакнулъ въ чернильницу, но чернилъ не было, искалъ бумаги—тоже нѣтъ.

Онъ задумался и машинально сталъ чертить пальцомъ по пыли, потомъ посмотрѣлъ, что написалъ: вышло *Обломовщина*.

Онъ проворно стеръ написанное рукавомъ. Это слово снилось ему ночью, написанное огнемъ на стѣнахъ, какъ Бальтазару на пиру.

Пришелъ Захаръ и, найдя Обломова не на постели, мутно поглядѣлъ на барина, удивляясь, что онъ на ногахъ. Въ этомъ тупомъ взглядѣ удивленія написано было: „Обломовщина!“

„Одно слово“, думалъ Илья Ильичъ, „а какое... ядовитое!..“

Захаръ, по обыкновенію, взялъ гребенку, щетку, полотенце и подошелъ было причесывать Илью Ильича.

— Поди ты къ чорту! сердито сказалъ Обломовъ и вышибъ изъ рукъ Захара щетку, а Захаръ самъ уже уронилъ и гребенку на полъ.

— Не ляжете, что ли, опять? спросилъ Захаръ:—Такъ я бы поправилъ постель.

— Принеси мнѣ чернилъ и бумаги, отвѣчалъ Обломовъ.

Обломовъ задумался надъ словами: „теперь или никогда!“

Вслушиваясь въ это отчаянное воззваніе разума и силы, онъ сознавалъ и взвѣшивалъ, что у него осталось еще въ остаткѣ воли и куда онъ понесетъ, во что положить этотъ скудный остатокъ.

Послѣ мучительной думы, онъ схватилъ перо, вытащилъ изъ угла книгу и въ одинъ часъ хотѣлъ прочесть, написать и передумать все, чего не прочелъ, не написалъ и не передумалъ въ десять лѣтъ.

Что ему дѣлать теперь? Идти впередъ, или остаться? Этотъ обломовскій вопросъ былъ для него глубже гамлетовскаго. Идти впередъ — это значить вдругъ сбросить широкій халатъ не-только съ плечъ, но и съ души, съ ума; вмѣстѣ съ пылью и паутиной со стѣнъ смести паутину съ глазъ и прозрѣть!

Какой первый шагъ сдѣлать къ тому? Съ чего начать? Не знаю, не могу... нѣтъ... лукавлю, знаю и... Да и Штольцъ тутъ, подъ бокомъ; онъ сейчасъ скажетъ.

А что онъ скажетъ? „Въ недѣлю, скажетъ, набросать подробную инструкцію повѣренному и отправить его въ деревню, Обломовку заложить, прикупить земли, послать планъ построекъ, квартиру сдать, взять паспортъ и ѣхать на полгода за границу, сбыть лишній жиръ, сбросить тяжесть, освѣжить душу тѣмъ воздухомъ, о которомъ мечталъ нѣкогда съ другомъ, пожить безъ халата, безъ Захара и Тарантьева, надѣвать самому чулки и снимать съ себя сапоги, спать только ночью, ѣхать, куда всѣ ѣдутъ, по желѣзнымъ дорогамъ, на пароходахъ, потомъ... Потомъ... поселиться въ Обломовкѣ, знать что такое посѣвъ и умолоть; отчего бываетъ мужикъ бѣденъ и богатъ; ходить въ

поле, ѣздить на выборы, на заводъ, на мельницы, на пристань. Въ то же время читать газеты, книги, беспокоиться о томъ, зачѣмъ англичане послали корабль на Востокъ...

Вотъ, что онъ скажетъ! Это значить идти впередъ... И такъ всю жизнь! Прощай поэтическій идеалъ жизни! Это какая-то кузница, не жизнь; тутъ вѣчно пламя, трескотня, жаръ, шумъ... когда же пожить? Не лучше ли остаться?

Остаться—значить надѣвать рубашку наизнанку, слушать прыганье захаровыхъ ногъ съ лежанки, обѣдать съ Тарантьевымъ, меньше думать обо всемъ, не дочитать до конца путешествія въ Африку, состарѣться мирно на квартирѣ у кумы Тарантьева...

„Теперь, или никогда!“ „Быть, или не быть!“ Обломовъ приподнялся-было съ кресла, но не попалъ съ-разу ногой въ туфлю и сѣлъ опять.

Чрезъ двѣ недѣли Штольцъ уже уѣхалъ въ Англію, взявъ съ Обломова слово пріѣхать прямо въ Парижъ. У Ильи Ильича уже и паспортъ былъ готовъ, онъ даже заказалъ себѣ дорожное пальто, купилъ фуражку. Вотъ какъ подвинулись дѣла.

Уже Захаръ глубокомысленно доказывалъ, что довольно заказать и одну пару сапогъ, а подъ другую подкинуть подмѣтки. Обломовъ купилъ одѣяло, шерстяную фуфайку, дорожный несессеръ, хотѣлъ—мѣшокъ для провизіи, но десять человѣкъ сказали, что за границей провизіи не возятъ.

Захаръ метался по мастеровымъ, по лавкамъ, весь въ поту, и хотъ много гривенъ и пятаковъ положилъ себѣ въ карманъ отъ сдачъ по лавкамъ, но проклялъ и Андрея Ивановича, и всѣхъ, кто выдумалъ путешествія.

— Что онъ тамъ одинъ-то будетъ дѣлать? говорилъ онъ въ лавочкѣ.—Тамъ, слышь, служатъ господамъ все дѣвки.

Гдѣ дѣвкѣ сапоги стащить? И какъ она станетъ чулки натягивать на голыя ноги барину?..“

Онъ даже усмѣхнулся, такъ-что бакенбарды поднялись въ сторону, и покачалъ головой. Обломовъ не полѣнился, написалъ, что взять съ собой и что оставить дома. Мѣбель и прочія вещи поручено Тарантьеву отвезти на квартиру къ кумѣ, на Выборгскую Сторону, запереть ихъ въ трехъ комнатахъ и хранить до возвращенія изъ-за-границы.

Уже знакомые Обломова, иные съ недовѣрчивостью, другіе со смѣхомъ, а третьи съ какимъ-то испугомъ говорили:—ѣдетъ; представьте, Обломовъ сдвинулся съ мѣста!

Но Обломовъ не уѣхалъ ни черезъ мѣсяцъ, ни черезъ три.

Наканунѣ отъѣзда у него ночью раздулась губа:—Муха укусила, нельзя же съ такою губой въ море! сказалъ онъ и сталъ ждать другаго парохода. Вотъ ужъ августъ, Штольцъ давно въ Парижѣ, пишетъ къ нему неистовыя письма, но отвѣта не получаетъ.

Отчего же? Вѣроятно, чернила засохли въ чернильницѣ и бумаги нѣтъ? Или, можетъ-быть, оттого, что въ обломовскомъ стилѣ часто сталкиваются *который* и *что*, или наконецъ, Илья Ильичъ, въ грозномъ кликѣ: *теперь* или *никогда* остановился на послѣднемъ, заложилъ руки подъ голову—и напрасно будить его Захаръ.

Нѣтъ, у него чернильница полна чернилъ, на столѣ лежатъ письма, бумага, даже гербовая, притомъ исписанная его рукой.

Написавъ нѣсколько страницъ, онъ ни разу не поставилъ два раза *который*; слогъ его лился свободно и мѣстами выразительно и краснорѣчиво, какъ въ „оны дни“, когда онъ мечталъ со Штольцемъ о трудовой жизни, о путешествіи.

Встаетъ онъ въ семь часовъ, читаетъ, носитъ куда-то книги. На лицѣ ни сна, ни усталости, ни скуки. На немъ



появились даже краски, въ глазахъ блескъ, что-то въ родѣ отваги, или по крайней мѣрѣ, самоувѣренности. Халата не видать на немъ: Тарантьевъ увезъ его съ собой къ кумѣ съ прочими вещами.

Обломовъ сидитъ съ книгой или пишетъ въ домашнемъ пальто; на шеѣ надѣта легкая косынка; воротнички рубашки выпущены на галстухъ и блестятъ, какъ снѣгъ. Выходитъ онъ въ сюртукъ, прекрасно-сшитомъ, въ щегольской шляпѣ... Онъ веселъ, напѣваетъ... Отчего же это?..

Вотъ онъ сидитъ у окна своей дачи (онъ живетъ на дачѣ, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ города), подлѣ него лежитъ букетъ цвѣтовъ. Онъ что-то проворно дописываетъ, а самъ безпрестанно поглядываетъ черезъ кусты, на дорожку, и опять спѣшитъ писать.

Вдругъ по дорожкѣ закрустѣлъ песокъ подъ легкими шагами; Обломовъ бросилъ перо, схватилъ букетъ и подбѣжалъ къ окну.

— Это вы, Ольга Сергѣевна? Сейчасъ, сейчасъ! сказалъ онъ, схватилъ фуражку, тросточку, выбѣжалъ въ калитку, подалъ руку какой-то прекрасной женщинѣ и исчезъ съ ней въ лѣсу, въ тѣни огромныхъ елей...

Захаръ вышелъ изъ-за какого-то угла, поглядѣлъ ему вслѣдъ, заперъ комнату и пошелъ въ кухню.

— Ушелъ! сказалъ онъ Анисѣ.

— А обѣдать будетъ?

— Кто его знаетъ? сонно отвѣчалъ Захаръ.

Захаръ все такой же: тѣ же огромныя бакенбарды, небритая борода, тотъ же сѣрый жилетъ и прорѣха на сюртукѣ, но онъ женатъ на Анисѣ, вслѣдствіе-ли разрыва съ кумой, или такъ, по убѣжденію, что человѣкъ долженъ быть женатъ; онъ женился и, вопреки пословицѣ, не перемѣнился.

Штольцъ познакомилъ Обломова съ Ольгой и ея тѣткой.

Когда Штольцъ привелъ Обломова въ домъ къ Ольгиной тёткѣ въ первый разъ, тамъ были гости. Обломову былъ тяжело и, по обыкновенію, неловко.

„Хорошо бы перчатки снять“ думалъ онъ: „вѣдь въ комнатѣ тепло. Какъ я отвыкъ отъ всего“!...

Штольцъ сѣлъ подлѣ Ольги, которая сидѣла одна, подлѣ лампы, поодаль отъ чайнаго стола, опершись спиной на кресло, и мало занималась тѣмъ, что вокругъ нея происходило.

Она очень обрадовалась Штольцу; хотя глаза ея не зажглись блескомъ, щеки не запылали румянцемъ, но по всему лицу разлился ровный, покойный свѣтъ и явилась улыбка.

Она называла его другомъ, любила за то, что онъ всегда смѣшилъ ее и не давалъ скучать, но немного и боялась, потому-что чувствовала себя слишкомъ ребенкомъ передъ нимъ.

Когда у ней рождался въ умѣ вопросъ, недоумѣніе, она не-вдругъ рѣшалась повѣрить ему: онъ былъ слишкомъ далеко впереди ея, слишкомъ выше ея, такъ что самолюбіе ея иногда страдало отъ этой незрѣлости, отъ разстоянія въ ихъ умѣ и лѣтахъ.

Штольцъ тоже любовался ею безкорыстно, какъ чудеснымъ созданіемъ, съ благоухающею свѣжестью ума и чувствъ. Она была въ глазахъ его только прелестный, подающій большія надежды, ребенокъ.

Штольцъ, однакожь, говорилъ съ ней охотнѣе и чаще, нежели съ другими женщинами, потому-что она, хотя безсознательно, но шла простымъ, природнымъ путемъ жизни и, по счастливой натурѣ, по здоровому, не пережитренному воспитанію, не уклонялась отъ естественнаго проявленія мысли, чувства, воли, даже до малѣйшаго, едва замѣтнаго движенія глазъ, губъ, руки.

Не отъ того ли, можетъ быть, шагала она такъ увѣренно по этому пути, что по временамъ слышала рядомъ другіе, еще болѣе увѣренные шаги „друга“, которому вѣрила, и съ ними соразмѣряла свой шагъ.

Какъ бы то ни было, но въ рѣдкой дѣвицѣ встрѣтишь такую простоту и естественную свободу взгляда, слова, поступка. У ней никогда не прочтешь въ глазахъ: „теперь я подожду немного губу и задумаюсь—я такъ недурна. Взгляну туда и испугаюсь, слегка вскрикну, сейчасъ подбѣгутъ ко мнѣ. Сяду у фортепьяно и выставлю чуть-чуть кончикъ ноги“...

Ни жеманства, ни кокетства, никакой лжи, никакой мишуры, ни умысла! Зато ее и цѣнили почти одинъ Штольцъ, зато не одну мазурку просидѣла она одна, не скрывая скуки; зато, глядя на нее, самые любезные изъ молодыхъ людей были неразговорчивы, не зная, что и какъ сказать ей...

Одни считали ее простой, недалней, неглубокой, потому-что не сыпались съ языка ея ни мудрыя сентенціи о жизни, о любви, ни быстрыя, неожиданныя и смѣлыя реплики, ни вычитанныя или подслушанныя сужденія о музыкѣ и литературѣ: говорила она мало, и то свое, неважное—и ее обходили умные и бойкіе „кавалеры“; небойкіе, напротивъ, считали ее слишкомъ мудреной и не много боялись. Одинъ Штольцъ говорилъ съ ней безъ умолка и смѣшилъ ее.

Любила она музыку, но пѣла чаще втихомолку, или Штольцу, или какой-нибудь пансіонной подругѣ; а пѣла она, по словамъ Штольца, какъ ни одна пѣвица не поетъ.

Только-что Штольцъ усѣлся подлѣ нея, какъ въ комнатѣ раздался ея смѣхъ, который былъ такъ звученъ, такъ искрененъ и заразителенъ, что кто ни послушаетъ этого смѣха, непременно засмѣется самъ, не зная о причинѣ.

Но не все смѣшилъ ее Штольцъ: черезъ полчаса она слушала его съ любопытствомъ, и съ удвоеннымъ любопытствомъ переносила глаза на Обломова, а Обломову отъ этихъ взглядовъ—хоть сквозь землю провалиться.

„Что они такое говорятъ обо мнѣ“? думалъ онъ, косясь, въ безпокойствѣ, на нихъ. Онъ уже хотѣлъ уйти, но тѣтка Ольги подозвала его къ столу и посадила подлѣ себя, подъ перекрестный огонь взглядовъ всѣхъ собесѣдниковъ.

Онъ боязливо обернулся къ Штольцу—его уже не было, взглянулъ на Ольгу и встрѣтилъ устремленный на него, все тотъ же любопытный взглядъ.

„Все еще смотреть“! подумалъ онъ, въ смущеніи оглядывая свое платье.

Онъ даже отеръ лицо платкомъ, думая, не выпачканъ ли у него носъ, трогалъ себя за галстухъ, не развязался ли: это бываетъ иногда съ нимъ; нѣтъ, все кажется, въ порядкѣ, а она смотреть!

Но человѣкъ подаль ему чашку чаю и подносъ съ кренделями. Онъ хотѣлъ подавить въ себѣ смущеніе, быть развязнымъ и въ этой развязности захватилъ такую кучу сухарей, бисквитовъ, кренделей, что сидѣвшая съ нимъ рядомъ дѣвочка засмѣялась. Другіе поглядывали на кучу съ любопытствомъ.

„Боже мой, и она смотреть!“ думаетъ Обломовъ: „Что я съ этой кучей сдѣлаю?“

Онъ, и не глядя, видѣлъ, какъ Ольга встала съ своего мѣста и пошла въ другой уголъ. У него отлегло отъ сердца.

А дѣвочка наострила на него глаза, ожидая, что онъ сдѣлаетъ съ сахарями.

„Сѣмъ поскорѣй“, подумалъ онъ и началъ проворно убирать бисквиты; къ счастью, они такъ и таяли во рту.



Оставались только два сухаря; онъ вздохнулъ свободно и рѣшился взглянуть туда, куда пошла Ольга...

Боже! Она стоитъ у бюста, опершись на пьедесталь, и слѣдитъ за нимъ. Она ушла изъ своего угла, кажется, затѣмъ, чтобъ свободнѣе смотрѣть на него: она замѣтила его неловкость съ сухарями.

За ужиномъ она сидѣла на другомъ концѣ стола, говорила, ѣла и, казалось, вовсе не занималась имъ. Но едва только Обломовъ боязливо оборачивался въ ея сторону, съ надеждой, авось она не смотритъ, какъ встрѣчалъ ея взглядъ, исполненный любопытства, но вмѣстѣ такой добрый...

Обломовъ послѣ ужина торопливо сталъ прощаться съ тѣткой: она пригласила его на другой день обѣдать и Штольцу просила передать приглашеніе. Илья Ильичъ поклонился и, не поднимая глазъ, прошелъ всю залу. Вотъ сейчасъ за роялемъ ширмы и дверь. Онъ взглянулъ—за роялемъ сидѣла Ольга и смотрѣла на него съ большимъ любопытствомъ. Ему показалось, что она улыбалась.

„Вѣрно Андрей разсказалъ, что на мнѣ были вчера надѣты чулки разные, или рубашки наизнанку!“ заключилъ онъ и поѣхалъ домой не въ духѣ, и отъ этого предположенія, и еще болѣе отъ приглашенія обѣдать, на которое отвѣчалъ поклономъ: значить, принялъ.

Съ этой минуты настойчивый взглядъ Ольги не выходилъ изъ головы Обломова. Напрасно онъ во весь ростъ легъ на спину, напрасно бралъ самыя лѣнныя и покойныя позы—не спится, да и только. И халатъ показался ему противень, и Захаръ глупъ и невыносимъ, и пыль съ паутиной нестерпима.

Онъ велѣлъ вынести вонъ нѣсколько дрянныхъ картинъ, которыя навязалъ ему какой-то покровитель бѣдныхъ артистовъ; самъ поправилъ штору, которая давно не подни-



малась, позвалъ Анисью и велѣлъ протереть окна, смахнулъ паутину, а потомъ легъ на бокъ и продумалъ съ часъ — объ Ольгѣ.

Онъ сначала пристально занялся ея наружностью, все рисовалъ въ памяти ея портретъ.

Ольга, въ строгомъ смыслѣ, не была красавица, то-есть, не было ни бѣлизны въ ней, ни яркаго колорита щекъ и губъ, и глаза не горѣли лучами внутренняго огня; ни коралловъ на губахъ, ни жемчугу во рту не было, ни миньютюрныхъ рукъ, какъ у пятилѣтняго ребенка, съ пальцами въ видѣ винограда.

Но еслибъ ее обратить въ статую, она была бы статуя граціи и гармоніи. Нѣсколько высокому росту строго отвѣчала величина головы, величинѣ головы — овалъ и размѣры лица; все это, въ свою очередь, гармонировало съ плечами, плечи — съ станомъ...

Кто ни встрѣчалъ ее, даже разсѣянный, и тотъ на мгновеніе останавливался передъ этимъ, такъ строго и обдуманно, артистически созданнымъ существомъ.

Носъ образовалъ чуть-замѣтно выпуклую, граціозную линію; губы тонкія и большею частію сжатые: признакъ непрерывно-устремленной на что-нибудь мысли. То же присутствіе говорящей мысли свѣтилось въ зоркомъ, всегда бодромъ, ничего не пропускающемъ взглядѣ темныхъ, сѣроголубыхъ глазъ. Брови придавали особенную красоту глазамъ: онѣ не были дугообразны, не округляли глазъ двумя тоненькими, нащипанными пальцемъ ниточками — нѣтъ, это были двѣ русыя, пушистыя, почти-прямые полоски, которыя рѣдко лежали симметрично: одна на линію была выше другой, отъ этого надъ бровью лежала маленькая складка, въ которой какъ-будто что-то говорило, будто тамъ покоилась мысль.

Ходила Ольга съ наклоненной немного впередъ головой,

такъ стройно, благородно покоившейся на тонкой, гордой шеѣ; двигалась всѣмъ тѣломъ ровно, шагая легко, почти неуловимо...

„Что это она вчера смотрѣла такъ пристально на меня“? думалъ Обломовъ: „Андрей божится, что о чулкахъ и о рубашкѣ еще не говорилъ, а говорилъ о дружбѣ своей ко мнѣ, о томъ, какъ мы росли, учились — все, что было хорошаго, и между-тѣмъ (и это разсказалъ), какъ несчастливъ Обломовъ, какъ гибнетъ все доброе отъ недостатка участія, дѣятельности, какъ слабо мерцаетъ жизнь какъ“...

„Чему жъ улыбаться“? продолжалъ думать Обломовъ. „Если у ней есть сколько-нибудь сердца, оно должно бы замереть, облиться кровью отъ жалости, а она... ну, Богъ съ ней! Перестану думать! Вотъ только съѣзжу сегодня отобѣдаю—и ни ногой“.

Проходили дни за днями: онъ тамъ и обѣими ногами, и руками, и головой.

Въ одно прекрасное утро Тарантьевъ перевезъ весь его домъ къ своей кумѣ, въ переулокъ, на Выборгскую сторону, и Обломовъ дня три провелъ, какъ давно не проводилъ: безъ постели, безъ дивана, обѣдалъ у Ольгиной тетки.

Вдругъ оказалось, что противъ ихъ дачи есть одна свободная. Обломовъ нанялъ ее заочно и живетъ тамъ. Онъ съ Ольгой съ утра до вечера; онъ читаетъ съ ней, посылаетъ цвѣты, гуляетъ по озеру, по горамъ... онъ, Обломовъ.

Чего не бываетъ на свѣтѣ! Какъ же это могло случиться? А вотъ какъ.

Когда они обѣдали со Штольцемъ у ея тетки, Обломовъ во время обѣда испытывалъ ту же пытку, что и наканунѣ, жевалъ подъ ея взглядомъ, говорилъ, зная, чувствуя, что надъ нимъ, какъ солнце, стоитъ этотъ взглядъ, жжетъ его, тревожить, шевелить нервы, кровь. Едва-едва на бал-

конѣ, за сигарой, за дымомъ, удалось ему на мгновенье скрыться отъ этого безмолвнаго, настойчиваго взгляда.

— Что это такое? говорилъ онъ, ворочаясь во всѣ стороны:—Вѣдь это мученье! На-смѣхъ, что ли, я дался ей? На другого ни на кого не смотреть такъ: не смѣть. Я посмирнѣе, такъ вотъ она... Я заговорю съ ней! рѣшилъ онъ: и выскажу лучше самъ словами то, что она такъ и тянетъ у меня изъ души глазами.

Вдругъ она явилась передъ нимъ на порогѣ балкона; онъ подаль ей стулъ, и она сѣла подлѣ него.

— Правда ли, что вы очень скучаете? спросила она его.

— Правда, отвѣчалъ онъ, но только не очень... У меня есть занятія.

— Андрей Ивановичъ говорилъ, что вы пишете какой-то планъ?

— Да, я хочу ѣхать въ деревню пожить, такъ приготовляюсь понемногу.

— А за границу поѣдете?

— Да, непременно, вотъ какъ только Андрей Ивановичъ соберется.

— Вы охотно ѣдете? спросила она.

— Да, я очень охотно...

Онъ взглянулъ: улыбка такъ и ползаетъ у ней по лицу, то освѣтитъ глаза, то разольется по щекамъ, только губы сжаты, какъ всегда. У него не достало духа солгать покойно.

— Я немного... лѣнивъ... сказалъ онъ, но...

Ему стало вмѣстѣ и досадно, что она такъ легко, почти молча, выманила у него сознаніе въ лѣни. „Что она мнѣ? Боюсь что ли я ея“? думалъ онъ.

— Лѣнivy! возразила она съ едва-примѣтнымъ лукавствомъ:—Можетъ ли это быть? Мужчина лѣнивъ—я этого не понимаю.

Чего тутъ не понимать"? подумалъ онъ: „кажется, просто“.—Я все больше дома сижу, оттого Андрей и думаетъ, что я...

— Но, вѣроятно, вы много пишете, сказала она:—читаете.—Читали ли вы...?

Она смотрѣла на него такъ пристально.

— Нѣтъ, не читалъ? вдругъ сорвалось у него въ испугѣ, чтобъ она не вздумала его экзаменовать.

— Чего? засмѣявшись, спросила она. И онъ засмѣялся...

— Я думалъ, что вы хотите спросить меня о какомъ-нибудь романѣ: я ихъ не читаю.

— Не угадали; я хотѣла спросить о путешествіяхъ...

Онъ зорко поглядѣлъ на нее: у ней все лицо смѣялось, а губы нѣтъ...

„О! да она... съ ней надо быть осторожнымъ“... думалъ Обломовъ.

— Что же вы читаете? съ любопытствомъ спросила она.

— Я точно люблю больше путешествія...

— Въ Африку? лукаво и тихо спросила она.

Онъ покраснѣлъ, догадываясь, не безъ основанія, что ей было извѣстно не только о томъ, что онъ читаетъ, но и какъ читаетъ.

— Вы музыкантъ? спросила она, чтобъ вывести его изъ смущенія.

Въ это время подошелъ Штольцъ.

— Илья! Вотъ я сказалъ Ольгѣ Сергѣевнѣ, что ты страстно любишь музыку, просилъ спѣть что-нибудь... *Casta diva*.

— Зачѣмъ же ты наговариваешь на меня? отвѣчалъ Обломовъ:—Я вовсе не страстно люблю музыку...

— Каковъ? перебилъ Штольцъ:—Онъ какъ-будто оби-

дѣлся! Я рекомендую его, какъ порядочнаго человѣка, а онъ спѣшитъ разочаровать на свой счетъ!

— Я уклоняюсь только отъ роли любителя: это сомнительная, да и трудная роль!

— Какая же музыка вамъ больше нравится? спросила Ольга.

— Трудно отвѣчать на этотъ вопросъ! всякая! Иногда я съ удовольствіемъ слушаю сильную шарманку, какой-нибудь мотивъ, который заронился мнѣ въ память, въ другой разъ уйду на половинѣ оперы; тамъ Мейерберъ зашевелитъ меня; даже пѣсня съ барки: смотря по настроенію! Иногда и отъ Моцарта уши зажмешь...

— Значитъ, вы истинно любите музыку.

— Спойте же что-нибудь, Ольга Сергѣевна, просилъ Штольцъ.

— А если мусье Обломовъ теперь въ такомъ настроеніи, что уши зажметъ? сказала она, обращаясь къ нему.

— Тутъ слѣдуетъ сказать какой-нибудь комплиментъ, отвѣчалъ Обломовъ.—Я не умѣю, да еслибъ и умѣлъ, такъ не рѣшился бы...

— Отчего же?

— А если вы дурно поете! наивно замѣтилъ Обломовъ: —Мнѣ бы потомъ стало такъ неловко...

— Какъ вчера съ сухарями... вдругъ вырвалось у ней, и она сама покраснѣла и Богъ знаетъ что дала бы, чтобъ не сказать этого. — Простите — виновата!.. сказала она.

Обломовъ никакъ не ожидалъ этого и потерялся.

— Это злое предательство! сказалъ онъ вполголоса.

— Нѣтъ, развѣ маленькое мщеніе, и то, ей-Богу, неумышленное, за то, что у васъ не нашлось даже комплимента для меня.



— Можетъ-быть, найду, когда услышу.

— А вы хотите, чтобъ я спѣла? спросила она.

— Нѣтъ, это онъ хочетъ, отвѣчалъ Обломовъ, указывая на Штольца.

— А вы?

Обломовъ покачалъ отрицательно головой.

— Я не могу хотѣть, чего не знаю.

— Ты грубіянь, Илья! замѣтилъ Штолецъ.—Вотъ что значитъ залежаться дома и надѣвать чулки...

— Помилуй, Андрей, живо перебилъ Обломовъ, не давая ему договорить: — мнѣ ничего не стоитъ сказать: „ахъ! я очень радъ буду, счастливъ, вы, конечно, отлично поете“... продолжалъ онъ, обратясь къ Ольгѣ: „это мнѣ доставить“ и т. д. Да развѣ это нужно?

— Но вы могли пожелать, по крайней мѣрѣ, чтобъ я спѣла... хоть изъ любопытства.

— Не смѣю, отвѣчалъ Обломовъ:—вы не актриса...

— Ну, я вамъ спою, сказала она Штольцу.

— Илья, готовъ комплиментъ.

Между тѣмъ наступилъ вечеръ. Засвѣтили лампу, которая, какъ луна, сквозила въ трельяжѣ съ плющомъ. Сумракъ скрылъ очертанія лица и фигуры Ольги и набросилъ на нее какъ-будто флѣровое покрывало; лицо было въ тѣни: слышался только мягкій, но сильный голосъ, съ нервной дрожью чувства.

Она пѣла много арій и романсовъ, по указанію Штольца; въ однихъ выражалось страданіе, съ неяснымъ предчувствіемъ счастья, въ другихъ радость, но въ звукахъ этихъ таился уже зародышъ грусти.

Отъ словъ, отъ звуковъ, отъ этого чистаго, сильнаго дѣвическаго голоса билось сердце, дрожали нервы, глаза искрились и заплывали слезами. Въ одинъ и тотъ же мо-

ментъ хотѣлось умереть, не пробуждаться отъ звуковъ, и сейчасъ же опять сердце жаждало жизни...

Обломовъ вспыхивалъ, изнемогалъ, съ трудомъ сдерживалъ слезы и еще труднѣе было душить ему радостный, готовый вырваться изъ души крикъ. Давно не чувствовалъ онъ такой бодрости, такой силы, которая, казалось, вся поднялась со дна души, готовая на подвигъ.

Онъ въ эту минуту уѣхалъ бы даже за границу, еслибъ ему оставалось только сѣсть и поѣхать.

Въ заключеніе она запѣла *Casta diva*: всѣ восторги, молніей несущіяся мысли въ головѣ, трепеть, какъ иглы, пробѣгающій по тѣлу — все это уничтожило Обломова: онъ изнемогъ.

— Довольны вы мной сегодня? вдругъ спросила Ольга Штольца, переставъ пѣть.

— Спросите Обломова, что онъ скажетъ? сказалъ Штолецъ.

— Ахъ! вырвалось у Обломова.

Онъ вдругъ схватилъ-было Ольгу за руку и тотчасъ же оставилъ и сильно смутился.

— Извините... пробормоталъ онъ.

— Слышите? сказалъ ей Штолецъ. — Скажи по совѣсти Ильи: какъ давно съ тобой не случилось этого?

— Это могло случиться сегодня утромъ, если мимо оконъ проходила сицлая шарманка... вмѣшалась Ольга съ добротой, такъ мягко, что вынула жало изъ сарказма.

Онъ съ упрекомъ взглянулъ на нее.

У него окна по-сю-пору не выставлены: не слышать, что дѣлается наружѣ, прибавилъ Штолецъ.

Обломовъ съ упрекомъ взглянулъ на Штольца.

Штолецъ взялъ руку Ольги...

— Не знаю, чему приписать, что вы сегодня пѣли, какъ никогда не пѣли, Ольга Сергѣевна, по крайней мѣ-

рѣ я давно не слыхалъ. Вотъ мой комплиментъ! сказалъ онъ, цѣлуя каждый палецъ у нея.

Штольцъ уѣхалъ. Обломовъ тоже собрался, но Штольцъ и Ольга удержали его.

— У меня дѣло есть, замѣтилъ Штольцъ, а ты, вѣдь, пойдешь лежать... еще рано...

— Андрей! Андрей! съ мольбой въ голосѣ проговорилъ Обломовъ: — Нѣтъ, я не могу остаться сегодня, я уѣду! прибавилъ онъ и уѣхалъ.

Онъ не спалъ всю ночь: грустный, задумчивый проходилъ онъ взадъ и впередъ по комнатѣ; на зарѣ ушелъ изъ дома, ходилъ по Невѣ, по улицамъ, Богъ знаетъ что чувствуя, о чемъ думая...

Черезъ три дня онъ опять былъ тамъ и вечеромъ, когда прочіе гости усѣлись за карты, очутился у рояля, вдвоемъ съ Ольгой. У тѣтки разболѣлась голова; она сидѣла въ кабинетѣ и нюхала спиртъ.

— Хотите, я вамъ покажу коллекцію рисунковъ, которую Андрей Ивановичъ привезъ мнѣ изъ Одессы? спросила Ольга: — Онъ вамъ не показывалъ?

— Вы, кажется, стараетесь, по обязанности хозяйки, занять меня? спросилъ Обломовъ. — Напрасно!

— Отчего напрасно? Я хочу, чтобъ вамъ не было скучно, чтобъ вы были здѣсь какъ дома, чтобъ вамъ было ловко, свободно, легко, и чтобъ вы не уѣхали... лежать.

„Она злое, насмѣшливое созданіе“! подумалъ Обломовъ, любуясь противъ воли каждымъ ея движеніемъ.

— Вы хотите, чтобъ мнѣ было легко, свободно и не было скучно? повторилъ онъ.

— Да, отвѣчала она, глядя на него по вчерашнему, но еще съ большимъ выраженіемъ любопытства и доброты.

— Для этого, во-первыхъ, не глядите на меня такъ, какъ теперь, и какъ глядѣли намереди...

Любопытство въ ея глазахъ удвоилось.

— Вотъ, именно отъ этого взгляда мнѣ становится очень неловко... Гдѣ моя шляпа?

— Отчего же неловко? мягко спросила она, и взглядъ ея потерялъ выраженіе любопытства. Онъ сталъ только добръ и ласковъ.

— Не знаю; только мнѣ кажется, вы этимъ взглядомъ добываете изъ меня все то, что не хочется, чтобъ знали другіе, особенно вы...

— Отчего же? Вы другъ Андрея Ивановича, а онъ другъ мнѣ, слѣдовательно...

— Слѣдовательно, нѣтъ причины, чтобъ вы знали про меня, все, что знаетъ Андрей Ивановичъ, договорилъ онъ.

— Причины нѣтъ, а есть возможность...

— Благодаря откровенности моего друга—плохая услуга съ его стороны!..

— Развѣ у васъ есть тайны? спросила она:—Можетъ быть, преступленія? прибавила она, смѣясь и отодвигаясь отъ него.

— Можетъ-быть, вздохнувъ, отвѣчалъ онъ.

— Да, это важное преступленіе, сказала она робко и тихо:—надѣвать разные чулки.

Обломовъ схватилъ шляпу.

— Нѣтъ силъ! сказалъ онъ:—И вы хотите, чтобъ мнѣ было ловко! Я разлюблю Андрея... Онъ и это сказалъ вамъ?

— Онъ сегодня ужасно разсмѣшилъ меня этимъ, прибавила Ольга:—онъ все смѣшить. Простите, не буду, не буду, и глядѣть постараюсь на васъ иначе...

Она сдѣлала лукаво-серьезную мину.

— Все это еще, во-первыхъ, продолжала она:—ну, я

не гляжу по-вчерашнему, стало-быть вамъ теперь свободно, легко. Слѣдуетъ: во-вторыхъ что надо сдѣлать, чтобъ вы не соскучились?

Онъ глядѣлъ прямо въ ея сѣро-голубые, ласковые глаза.

— Вотъ вы сами смотрите на меня теперь какъ-то странно... сказала она.

Онъ въ самомъ дѣлѣ смотрѣлъ на нее какъ-будто не глазами, а мыслью, всей своей волей, какъ магнитизёръ, но смотрѣлъ невольно, не имѣя силы не смотрѣть.

„Боже мой, какая она хорошенькая! Бываютъ же такія на свѣтѣ!“ думалъ онъ, глядя на нее почти испуганными глазами. „Эта бѣлизна, эти глаза, гдѣ, какъ въ пучинѣ, темно, и вмѣстѣ блеститъ что-то, душа должно-быть! Улыбку можно читать, какъ книгу; за улыбкой эти зубы и вся голова... какъ она нѣжно покоится на плечахъ, точно зыблется, какъ цвѣтокъ, дышетъ ароматомъ...“

„Да, я что-то добываю изъ нея“ думалъ онъ: „изъ нея что-то переходитъ въ меня. У сердца, вотъ здѣсь, начинается будто кипѣть и биться... Тутъ я чувствую что-то лишнее чего, кажется, не было... Боже мой, какое счастье смотрѣть на нее! Даже дышать тяжело“.

У него вихремъ неслись эти мысли, и онъ все смотрѣлъ на нее, какъ смотреть въ безконечную даль, въ бездонную пропасть, съ самозабвеніемъ, съ нѣгой.

— Да полноте, мсьё Обломовъ, теперь, какъ вы сами смотрите на меня! говорила она, застѣнчиво отворачивая голову, но любопытство превозмогало, и она не сводила глазъ съ его лица.

Онъ не слышалъ ничего.

Онъ въ самомъ дѣлѣ все глядѣлъ и не слышалъ ея словъ, и молча повѣрялъ, что въ немъ дѣлается; дотро-



нулся до головы — тамъ тоже что-то волнуется, несется съ быстротой. Онъ не успѣваетъ ловить мыслей: точно стая птицъ, порхнули онѣ, а у сердца, въ лѣвомъ боку, какъ-будто болитъ.

— Не смотрите же на меня такъ странно, сказала она:—мнѣ тоже неловко... И вы, вѣрно, хотите добыть что-нибудь изъ моей души...

— Что я могу добыть у васъ? машинально спросилъ онъ.

— У меня тоже есть *планы*, начатые и неконченные, отвѣчала она.

Онъ очнулся отъ этого намѣка на его неконченный планъ.

— Странно! замѣтилъ онъ: — Вы злы, а взглядъ у васъ добрый. Не даромъ говорятъ, что женщинамъ вѣрить нельзя: онѣ лгутъ и съ умысломъ языкомъ, и безъ умысла—взглядомъ, улыбкой, румянцемъ, даже обмороками...

Она не дала усилиться впечатлѣнію, тихо взяла у него шляпу и сама сѣла на стулъ.

— Не стану, не стану, живо повторила она. — Ахъ! простите, несносный языкъ! Но, ей-Богу, это не насмѣшка! почти пропѣла она, и въ пѣніи этой фразы задрожало чувство.

Обломовъ успокоился.

— Этотъ Андрей!.. съ упрекомъ произнесъ онъ.

— Ну, во-вторыхъ, скажите же, что дѣлать, чтобы вы не соскучились? спросила она.

— Спойте! сказалъ онъ.

— Вотъ онъ, комплиментъ, котораго я ждала! радостно вспыхнувъ, перебила она.—Знаете ли, съ живою продолжала потомъ: — еслибъ вы не сказали тре-

тѣяго дня этого „ахъ“ послѣ моего пѣнія, я бы, кажется, не уснула ночь, можетъ-быть, плакала бы.

— Отчего? съ удивленіемъ спросилъ Обломовъ.

— Она задумалась.

— Сама не знаю, сказала потомъ.

— Вы самолюбивы; это оттого.

— Да, конечно, оттого, говорила она, задумываясь и перебирая одной рукой клавиши:—но, вѣдь, самолюбіе вездѣ есть, и много. Андрей Ивановичъ говоритъ, что это почти единственный двигатель, который управляетъ волей. Вотъ, у васъ, должно-быть, нѣтъ его, оттого вы все...

Она не договорила.

— Что? спросилъ онъ.

— Нѣтъ, такъ, ничего замаяла она.—Я люблю Андрея Ивановича, продолжала она, не за то только, что онъ смѣшитъ меня, иногда онъ говоритъ—я плачу, и не за то, что онъ любитъ меня, а, кажется, за то... что онъ любитъ меня больше другихъ: видите, куда вкралось самолюбіе!

— Вы любите Андрея? спросилъ ее Обломовъ и погрузилъ напряженный, испытующій взглядъ въ ея глаза.

— Да, конечно, если онъ любитъ меня больше другихъ, я его и подавно, отвѣчала она серьезно.

Обломовъ глядѣлъ на нее молча; она отвѣтила ему простымъ, молчаливымъ взглядомъ.

— Онъ любитъ Анну Васильевну тоже, и Зинаиду Михайловну, да все не такъ, продолжала она:—онъ съ ними не станетъ сидѣть два часа, не смѣшитъ ихъ и не рассказываетъ ничего отъ души; онъ говоритъ о дѣлахъ, о театрѣ, о новостяхъ, а со мной онъ говоритъ какъ съ сестрой... нѣтъ, какъ съ дочерью, поспѣшно прибавила она:—иногда даже бранить, если я не пойму чего-ни-

будь вдругъ, или не послушаюсь, не соглашусь съ нимъ. А ихъ не бранить, и я, кажется, за это еще больше люблю его. Самолюбіе! прибавила она задумчиво: — но я не знаю, какъ оно сюда попало, въ мое пѣніе? Про него давно говорятъ мнѣ много хорошаго, а вы не хотѣли даже слушать меня, васъ почти насильно заставили. И еслибъ вы послѣ этого ушли, не сказавъ мнѣ ни слова, еслибъ на лицѣ у васъ я не замѣтила ничего... я бы, кажется, захворала... да, точно, это самолюбіе! рѣшительно заключила она.

— А вы развѣ замѣтили у меня что-нибудь на лицѣ? спросилъ онъ.

— Слезы, хотя вы и скрывали ихъ; это дурная черта у мужчинъ—стыдиться своего сердца. Это тоже самолюбіе, только фальшивое. Лучше бы они постыдились иногда своего ума: онъ чаще ошибается. Даже Андрей Ивановичъ и тотъ стыдливъ сердцемъ. Я это ему говорила, и онъ согласился со мной. А вы?

— Въ чемъ не согласишься, глядя на васъ! сказалъ онъ.

— Еще комплиментъ! Да какой...

Она затруднилась въ словѣ.

— Пошлый! договорилъ Обломовъ, не спуская съ нея глазъ.

Она улыбкой подтвердила значеніе слова.

— Вотъ я этого и боялся, когда не хотѣлъ просить васъ пѣть... Что скажешь, слушая въ первый разъ? А сказать надо. Трудно быть умнымъ и искреннимъ въ одно время, особенно въ чувствѣ, подъ вліяніемъ такого впечатлѣнія, какъ тогда...

— А я въ самомъ дѣлѣ пѣла тогда, какъ давно не пѣла, даже, кажется, никогда... Не просите меня пѣть, я не спою ужъ больше такъ... Пойдите, еще одно спою...

сказала она, и въ ту же минуту лицо ея будто вспухнуло, глаза загорѣлись, она опустилась на стулъ, сильно взяла два-три аккорда и запѣла.

Боже мой, что слышалось въ этомъ пѣніи! Надежды, неясная боязнь грозъ, самыя грозы, порывы счастья—все звучало, не въ пѣснѣ, а въ ея голосѣ.

Долго пѣла она, по временамъ оглядываясь къ нему, дѣтски спрашивая: — Довольно? Нѣтъ, вотъ еще это, и пѣла опять.

Щеки и уши рдѣли у нея отъ волненія; иногда на свѣжемъ лицѣ ея вдругъ сверкала игра сердечныхъ молній, вспыхивалъ лучъ такой зрѣлой страсти, какъ-будто она сердцемъ переживала далекую будущую пору жизни, и вдругъ опять потухалъ этотъ мгновенный лучъ, опять голосъ звучалъ свѣжо и серебристо.

И въ Обломовѣ играла такая же жизнь; ему казалось, что онъ живетъ и чувствуетъ все это — не часъ, не два, а цѣлые годы...

Оба они, снаружи неподвижные, разрывались внутреннимъ огнемъ, дрожали одинакимъ трепетомъ; въ глазахъ стояли слезы, вызванныя одинакимъ настроеніемъ. Все это симптомы тѣхъ страстей, которыя должны, повидимому, заиграть нѣкогда въ ея молодой душѣ, теперь еще подвластной только временнымъ, летучимъ намекамъ и вспышкамъ спящихъ силъ жизни.

Она кончила долгимъ пѣвучимъ аккордомъ, и голосъ ея пропалъ въ немъ. Она вдругъ остановилась, положила руки на колѣни и сама, растроганная, взволнованная, поглядѣла на Обломова: что онъ?

У него на лицѣ сіяла заря пробужденнаго, со дна души возставшаго счастья; наполненный слезами взглядъ устремленъ былъ на нее.

Теперь ужь она, какъ онъ, также невольно взяла его за руку.

— Что съ вами? спросила она: — Какое у васъ лицо! Отчего?

Но она знала, отчего у него такое лицо, и внутренно скромно торжествовала, любуясь этимъ выраженіемъ своей силы.

— Посмотрите въ зеркало, продолжала она, съ улыбкой указывая ему его же лицо въ зеркалѣ: — глаза блестятъ, Боже мой, слезы въ нихъ! Какъ глубоко вы чувствуете музыку!..

— Нѣтъ, я чувствую... не музыку... а... любовь! тихо сказалъ Обломовъ.

Она мгновенно оставила его руку и измѣнилась въ лицѣ. Ея взглядъ встрѣтился съ его взглядомъ, устремленнымъ на нее: взглядъ этотъ былъ неподвижный, почти безумный; имъ глядѣлъ не Обломовъ, а страсть.

Ольга поняла, что у него слово вывалось, что онъ невластенъ въ немъ, и что оно—истина.

Онъ опомнился, взялъ шляпу и, не оглядываясь, выбѣжалъ изъ комнаты. Она уже не провожала его любопытнымъ взглядомъ, она долго, не шевелясь, стояла у фортепьяно, какъ статуя, и упорно глядѣла внизъ; только усиленно поднималась и опускалась грудь...

## VI.

Обломову, среди лѣниваго лежанья въ лѣнивыхъ позахъ, среди тупой дремоты и среди вдохновенныхъ порывовъ, на первомъ планѣ всегда грезилась женщина, какъ жена, и иногда—какъ любовница.

Въ мечтахъ предъ нимъ носился образъ высокой, стройной женщины, съ покойно-сложенными на груди руками, съ тихимъ, но гордымъ взглядомъ, небрежно-сидящей сре-



ди плющей въ боскетѣ, легко-ступающей по ковру, по песку аллеи, съ колеблющейся таліей, съ граціозно-положенной на плечи головой, съ задумчивымъ выраженіемъ — какъ идеаль, какъ воплощеніе цѣлой жизни, исполненной нѣги и торжественнаго покоя, какъ самъ покой.

Снилась она ему сначала вся въ цвѣтахъ, у алтаря, съ длиннымъ покрываломъ, потомъ у изголовья супружескаго ложа, съ стыдливо-опущенными глазами, наконецъ матерью, среди группы дѣтей.

Грезилась ему на губахъ ея улыбка, не страстная, глаза, не влажныя отъ желаній, а улыбка симпатичная къ нему, къ мужу, и снисходительная ко всѣмъ другимъ; взглядъ благосклонный только къ нему и стыдливый, даже строгій, къ другимъ.

Онъ никогда не хотѣлъ видѣть трепета въ ней, слышать горячей мечты, внезапныхъ слезъ, томленія, изнеможенія и потомъ бѣшенаго перехода къ радости. Не надо ни луны, ни грусти. Она не должна внезапно блѣднѣть, падать въ обморокъ, испытывать потрясающіе взрывы...

— У такихъ женщинъ любовники есть, говорилъ онъ: — да и хлопотъ много: доктора, воды и пропасть разныхъ причудъ. Уснуть нельзя покойно!

А подлѣ гордо-стыдливой, покойной подруги спитъ беззаботно человѣкъ. Онъ засыпаетъ съ увѣренностью, проснувшись, встрѣтитъ тотъ же кроткій, симпатичный взглядъ. И чрезъ двадцать, тридцать лѣтъ, на свой теплый взглядъ онъ встрѣтилъ бы въ глазахъ ея тотъ же кроткій, тихомерцающій лучъ симпатіи. И такъ до гробовой доски!

„Да не это ли—тайная цѣль всякаго и всякой — найти въ своемъ другѣ неизмѣнную фізіономію покоя, вѣчное и ровное теченіе чувства? Вѣдь это норма любви, и чуть что отступаетъ отъ нея, измѣняется, охлаждается—мы страдаемъ: стало-быть мой идеаль—общій идеаль?“ думалъ онъ.

„Не есть ли это вѣнецъ выработанности, выясненія взаимныхъ отношеній обоихъ половъ?“

Давать страсти законный исходъ, указать порядокъ теченія, какъ рѣкѣ, для блага цѣлаго края,—это общечеловѣческая задача, это вершина прогресса, на которую лѣзутъ всѣ эти Жоржъ-Занды, да сбиваются въ сторону. За рѣшеніемъ ея вѣдь уже нѣтъ ни измѣнъ, ни охлажденій, а вѣчно-ровное біеніе покойно-счастливаго сердца, слѣдовательно вѣчно-наполненная жизнь, вѣчный сокъ жизни, вѣчное нравственное здоровье.

Есть примѣры такого блага, но рѣдкіе: на нихъ указываютъ, какъ на феноменъ. Родиться, говорятъ, надо для этого. А Богъ знаетъ, не воспитаться ли, не идти ли къ этому сознательно?..

Страсть! все это хорошо въ стихахъ, да на сценѣ, гдѣ, въ плащахъ, съ ножами, расхаживаютъ актёры, а потомъ идутъ, и убитые, и убійцы вмѣстѣ ужинать...

Хорошо, еслибъ и страсти такъ кончались, а то послѣ нихъ остаются: дымъ, смрадъ, а счастья нѣтъ! Воспоминанія—одинъ только стыдъ и рваніе волосъ.

Наконецъ, если и постигнетъ такое несчастіе—страсть, такъ это все-равно, какъ случается попасть на избитую, гористую, несносную дорогу, по которой и лошади падаютъ и сѣдокъ изнемогаетъ, а ужъ родное село въ виду: не надо выпускать изъ глазъ и скорѣй, скорѣй выбираться изъ опаснаго мѣста...

Да, страсть надо ограничить, задушить и утопить въ женитьбѣ...

Онъ съ ужасомъ побѣждалъ бы отъ женщины, если она вдругъ прожжетъ его глазами, или сама застонетъ, упадетъ къ нему на плечо съ закрытыми глазами, потомъ очнется и обовьетъ руками шею до удушья... Это фейер-

веркъ, взрывъ боченка съ порохомъ; а потомъ что? Оглушение, ослѣпленіе и опаленные волосы!

Но посмотримъ, что за женщина Ольга!

Долго послѣ того, какъ у него вырвалось признаніе, не видались они наединѣ. Онъ прятался, какъ школьникъ, лишь только завидитъ Ольгу. Она перемѣнилась съ нимъ, но не бѣгала, не была холодна, а стала только задумчивѣе.

Ей, казалось, было жаль, что случилось что-то такое, что помѣшало ей мучить Обломова устремленнымъ на него любопытнымъ взглядомъ и добродушно уязвлять его насмѣшками надъ лежаньемъ, надъ лѣнью, надъ его неловкостью...

Въ ней разыгрывался комизмъ, но это былъ комизмъ матери, которая не можетъ не улыбнуться, глядя на смѣшной нарядъ сына. Штольцъ уѣхалъ, и ей скучно было, что не кому пѣть; рояль ея былъ закрытъ—словомъ, на нихъ обоихъ легло принужденіе, оковы, обоимъ было неловко.

А какъ было пошло хорошо! Какъ просто познакомились они! Какъ свободно сошлись! Обломовъ былъ проще Штольца и добрѣе его, хотя не смѣшилъ ее такъ, или смѣшилъ собой, и такъ легко прощалъ насмѣшки.

Потомъ еще Штольцъ, уѣзжая, завѣщалъ Обломова ей, просилъ приглядывать за нимъ, мѣшать ему сидѣть дома. У ней, въ умненькой, хорошенькой головкѣ, развился уже подробный, планъ, какъ она отучитъ Обломова спать послѣ обѣда, да не только спать, она не позволитъ ему даже прилечь на диванѣ днемъ: возьметъ съ него слово.

Она мечтала, какъ „прикажетъ ему прочесть книги“, которыя оставилъ Штольцъ, потомъ читать каждый день газеты и рассказывать ей новости, писать въ деревню письма, дописывать планъ устройства имѣнія, приготовиться ѣхать за границу—словомъ, онъ не задремлетъ у нея; она

укажетъ ему цѣль, заставитъ полюбить опять все, что онъ разлюбилъ, и Штольцъ не узнаетъ его, воротясь.

И все это чудо сдѣлаетъ она, такая робкая, молчаливая, которой до сихъ поръ никто не слушался, которая еще не начала жить! Она—виновница такого превращенія!

Ужъ оно началось: только лишь она запѣла, Обломовъ, не тотъ...

Онъ будетъ жить, дѣйствовать, благословлять жизнь и ее. Возвратить человѣка къ жизни—сколько славы доктору, когда онъ спасетъ безнадежнаго больного! А спасти нравственно-погибающій умъ, душу?..

Она даже вздрагивала отъ гордаго, радостнаго трепета; считала это урокомъ, назначеннымъ свыше. Она мысленно сдѣлала его своимъ секретаремъ, библіотекаремъ.

И вдругъ все это должно кончиться! Она не знала, какъ поступить ей, и оттого молчала, когда встрѣчалась съ Обломовымъ.

Обломовъ мучился тѣмъ, что онъ испугалъ, оскорбилъ ее, и ждалъ молніеносныхъ взглядовъ, холодной строгости, и дрожалъ, завидя ее, сворачивалъ въ сторону.

Между тѣмъ ужъ онъ переѣхалъ на дачу и дня три пускался все одинъ по кочкамъ, черезъ болото, въ лѣсъ, или уходилъ въ деревню и праздно сидѣлъ у крестьянскихъ воротъ, глядя, какъ бѣгаютъ ребятишки, телята, какъ утки полощутся въ прудѣ.

Около дачи было озеро, огромный паркъ: онъ боялся идти туда, чтобъ не встрѣтить Ольгу одну.

„Дернуло меня брякнуть!“ думалъ онъ и даже не спрашивалъ себя, въ самомъ-ли дѣлѣ у него вырвалась истина, или это только было мгновеннымъ дѣйствіемъ музыки на нервы.

Чувство неловкости, стыда или „срама“, какъ онъ выражался, который онъ надѣлалъ, мѣшало ему разобратъ,



что это за порывъ былъ; и вообще, что такое для него Ольга? Ужь онъ не анализировалъ, что прибавилось у него къ сердцу лишнее, какой-то комокъ, котораго прежде не было. Въ немъ всѣ чувства свернулись въ одинъ комъ — стыда.

Когда же минутно являлась она въ его воображеніи, тамъ возникалъ и тотъ образъ, тотъ идеалъ воплощеннаго покоя, счастья жизни: этотъ идеалъ точь-въ-точь былъ — Ольга! Оба образа сходились, и сливались въ одинъ.

— Ахъ, что я надѣлалъ! говорилъ онъ: — Все сгубилъ! Слава Богу, что Штольцъ уѣхалъ: она не успѣла сказать ему, а то бы хотъ сквозь землю провались! Любовь, слезы—къ лицу ли это мнѣ? И тетка Ольги не шлетъ, не зоветъ къ себѣ: вѣрно она сказала... Боже мой!..

Такъ думалъ онъ, забираясь подальше въ паркъ, въ боковую аллею.

Ольга затруднялась только тѣмъ, какъ она встрѣтится съ нимъ, какъ пройдетъ это событіе: молчаніемъ ли, какъ будто ничего не было, или надо сказать ему что-нибудь?

А что сказать? Сдѣлать суровую мину, посмотрѣть на него гордо, или даже вовсе не посмотрѣть, а надменно и сухо замѣтить, что она „никакъ не ожидала отъ него такого поступка: за кого онъ ее считаетъ, что позволилъ себѣ такую дерзость?..“ Такъ Соничка въ мазуркѣ отвѣчала какому-то корнету, хотя сама изъ всѣхъ силъ хлопотала, чтобъ вскружить ему голову.

„Да что же тутъ дерзкаго?“ спросила она себя. „Ну, если онъ въ самомъ дѣлѣ чувствуетъ, почему же не сказать?.. Однако, какъ же это, вдругъ, едва познакомился... Этого никто другой ни за что не сказалъ бы, увидя во второй, въ третій разъ женщину; да никто и не почувствовалъ бы такъ скоро любви. Это только Обломовъ могъ...“



Но она вспомнила, что она слышала и читала, какъ любовь приходитъ иногда внезапно.

„И у него былъ порывъ, увлеченіе; теперь онъ глазъ не кажетъ: ему стыдно; стало-быть это не дерзость. А кто виноватъ?“ подумала еще: „Андрей Ивановичъ, конечно, потому-что заставилъ ее пѣть“.

Но Обломовъ сначала слушать не хотѣлъ—ей было досадно, и она... старалась... Она сильно покраснѣла—да, всѣми силами старалась расшевелить его.

Штольцъ сказалъ про него, что онъ апатиченъ, что ничто его не занимаетъ, что все угасло въ немъ... Вотъ ей и захотѣлось посмотрѣть, все ли угасло, и она пѣла, пѣла... какъ никогда...

„Боже мой! да вѣдь я виновата: я попрошу у него прощенія... А въ чемъ?“ спросила потомъ: „Что я скажу ему: мосьё Обломовъ, я виновата, я завлекала... Какой стыдъ! Это неправда!“ сказала она, вспыхнувъ и топнувъ ногой: „Кто смѣетъ это подумать?... Развѣ я знала, что выйдетъ? А еслибъ этого не было, еслибъ не вырвалось у него... что тогда?“ спросила она. „Не знаю...“ думала.

У ней съ того дня какъ-то странно на сердцѣ... должно быть ей очень обидно... даже въ жаръ кидаетъ, на щекахъ рдѣютъ два розовыя пятнышка...

— Раздраженіе... маленькая лихорадка, говорилъ докторъ.

„Что надѣлалъ этотъ Обломовъ! О, ему надо дать урокъ, чтобъ этого впередъ не было! Попрошу ma tante отказать ему отъ дома: онъ не долженъ забываться... Какъ онъ смѣлъ!“ думала она, идя по парку; глаза ея горѣли...

Вдругъ кто-то идетъ, слышитъ она.

„Идетъ кто-то...“ подумалъ Обломовъ.

И сошлись лицомъ къ лицу.

— Ольга Сергѣевна! сказалъ онъ, трясясь, какъ осино-  
вый листь.

— Илья Ильичъ! отвѣчала она робко, и оба остано-  
вились.

— Здравствуйте, сказалъ онъ.

— Здравствуйте, говорила она.

— Вы куда идете? спросилъ онъ.

— Такъ... сказала она, не поднимая глазъ.

— Я вамъ мѣшаю?

— О, ничуть... отвѣчала она, взглянувъ на него быстро  
и съ любопытствомъ.

— Можно мнѣ съ вами? спросилъ онъ, вдругъ, кинувъ  
на нее пыливый взглядъ.

Они молча шли по дорожкѣ. Ни отъ линейки учителя,  
ни отъ бровей директора, никогда въ жизни не стучало  
такъ сердце Обломова, какъ теперь. Онъ хотѣлъ что-то  
сказать, пересиливалъ себя, но слова съ языка не шли;  
только сердце билось неимоверно, какъ передъ бѣдой.

— Не получили ли вы письма отъ Андрея Ивановича?  
спросила она.

— Получилъ, отвѣчалъ Обломовъ.

— Что онъ пишетъ?

— Зоветъ въ Парижъ.

— Что жъ вы?

— Поѣду.

— Когда?

— Ужо... нѣтъ, завтра... какъ сберусь.

— Отчего такъ скоро? спросила она.

Онъ молчалъ.

— Вамъ дача не нравится, или... скажите, отчего вы  
хотите уѣхать?

„Дерзкій! онъ еще ѣхать хочетъ!“ подумала она.

— Мнѣ отчего-то больно, неловко, жжетъ меня, прошепталъ Обломовъ, не глядя на нее.

Она молчала, сорвала вѣтку сирени и нюхала ее, закрывъ лицо и носъ.

— Понюхайте, какъ хорошо пахнетъ! сказала она и закрыла носъ и ему.

— А вотъ ландыши! Пойдите, я нарву, говорилъ онъ, нагибаясь къ травѣ:—тѣ лучше пахнутъ: полями, рощей; природы больше. А сирень все около домовъ растеть, вѣтки такъ и лѣзутъ въ окна, запахъ приторный. Вонъ еще роса на ландышахъ не высохла.

Онъ поднесъ ей нѣсколько ландышей.

— А резеду вы любите? спросила она.

— Нѣтъ: сильно очень пахнетъ; ни резеды, ни розъ не люблю. Да я вообще не люблю цвѣтовъ; въ полѣ еще такъ, а въ комнатѣ—сколько возни съ ними... соръ...

— А вы любите, чтобъ въ комнатахъ чисто было? спросила она, лукаво поглядывая на него:—Не терпите сору!

— Да; но у меня человѣкъ такой... бормоталъ онъ. „О, злая!“ прибавилъ про-себя.

— Вы прямо въ Парижъ поѣдете? спросила она.

— Да; Штольцъ давно ждетъ меня.

— Отвезите письмо къ нему; я напишу, сказала она.

— Такъ дайте сегодня; я завтра въ городъ переѣду.

— Завтра? спросила она: — Отчего такъ скоро? Васъ какъ-будто гонить кто-нибудь.

— И такъ гонить...

— Кто же?

— Стыдъ... прошепталъ онъ.

— Стыдъ! повторила она машинально. „Вотъ теперь скажу ему: мсьё Обломовъ, я никакъ не ожидала..."

— Да, Ольга Сергѣевна, наконецъ пересилилъ онъ себя: —вы, я думаю, удивляетесь... сердитесь...

„Ну, пора... вотъ настоящая минута“. Сердце такъ и стучало у ней. „Не могу, Боже мой!“

Онъ старался заглянуть ей въ лицо, узнать, что она; но она нюхала ландыши и сирени и не знала сама, что она... что ей сказать, что сдѣлать.

„Ахъ, Соничка сейчасъ бы что-нибудь выдумала, а я такая глупая! ничего не умѣю... мучительно!“ думала она.

— Я совсѣмъ забыла... сказала она.

— Повѣрьте мнѣ, это было невольно... я не могъ удержаться... заговорилъ онъ, понемногу вооружаясь смѣлостью.—Еслибъ громъ загремѣлъ тогда, камень упалъ бы надо мной, я бы все-таки сказалъ. Этого никакими силами удержать было нельзя... Ради Бога, не подумайте, чтобъ я хотѣлъ... Я самъ черезъ минуту Богъ-знаетъ что далъ бы, чтобъ воротить неосторожное слово...

Она шла, потупя голову и нюхая цвѣты.

— Забудьте же это, продолжалъ онъ:—забудьте тѣмъ болѣе, что это неправда...

— Неправда? вдругъ повторила она, выпрямилась и выронила цвѣты.

Глаза ея вдругъ раскрылись широко и блеснули изумленіемъ...

— Какъ неправда? повторила она еще.

— Да, ради Бога не сердитесь и забудьте. Увѣряю васъ, это только минутное увлеченіе... отъ музыки.

— Только отъ музыки!..

Она измѣнилась въ лицѣ: пропали два розовыя пятнышка и глаза потускли.

„Вотъ, ничего и нѣтъ! Вотъ, онъ взялъ назадъ неосторожное слово и сердиться ненужно!.. Вотъ и, хорошо... теперь покойно... Можно по прежнему говорить, шутить...“ думала она и сильно рванула, мимоходомъ, вѣтку съ де-

рева, оторвала губами одинъ листокъ и потомъ тотчасъ же бросила и вѣтку, и листокъ на дорожку.

— Вы не сердитесь? Забыли? говорилъ Обломовъ, наклоняясь къ ней.

— Да что такое? О чемъ вы просите? съ волненіемъ, почти съ досадой отвѣчала она, отворачиваясь отъ него. — Я все забыла... я такая безпамятная!

Онъ замолчалъ и не зналъ что дѣлать. Онъ видѣлъ только внезапную досаду и не видалъ причины.

„Боже мой!“ думала она: „Вотъ все пришло въ порядокъ; этой сцены какъ не бывало, слава Богу! Что жь... Ахъ, Боже мой! Что жь это такое? Ахъ, Соничка, Соничка! Какая ты счастливая!“

— Я домой пойду, вдругъ сказала она, ускоряя шаги и поворачивая въ другую аллею.

У ней въ горлѣ стояли слезы. Она боялась заплакать.

— Не туда, здѣсь ближе, замѣтилъ Обломовъ. „Дуракъ“, сказалъ онъ самъ себѣ уныло: „нужно было объясняться! Теперь пуще разобидѣлъ. Не надо было напоминать: оно бы такъ и прошло, само бы забылось. Теперь, нечего дѣлать, надо выпросить прощенье.“

„Мнѣ, должно-быть, оттого стало досадно“ думала она: „что я не успѣла сказать ему: мсьё Обломовъ, я никакъ не ожидала, чтобъ вы позволили... Онъ предупредилъ меня... „Неправда!“ скажите, пожалуйста, онъ еще лгалъ! Да какъ онъ смѣлъ?“

— Точно ли вы забыли? спросилъ онъ тихо.

— Забыла, все забыла! скоро проговорила она, торопясь идти домой.

— Дайте руку, въ знакъ что вы не сердитесь.

Она, не глядя на него, подала ему концы пальцевъ и, едва онъ коснулся ихъ, тотчасъ же отдернула руку назадъ.



— Нѣтъ, вы сердитесь! сказалъ онъ со вздохомъ. — Какъ увѣрить мнѣ васъ, что это было увлеченіе, что я не позволилъ бы себѣ забытья?... Нѣтъ, конечно, не стану больше слушать вашего пѣнія...

— Никакъ не увѣряйте: не надо мнѣ вашихъ увѣреній... съ живостью сказала она. — Я и сама не стану пѣть!

— Хорошо, я замолчу, сказалъ онъ: — только, ради Бога, не уходите такъ, а то у меня на душѣ останется такой камень...

Она пошла тише и стала напряженно прислушиваться къ его словамъ.

— Если правда, что вы заплакали бы, не услыхавъ, какъ я ахнулъ отъ вашего пѣнія, то теперь, если вы такъ уйдете, не улыбнетесь, не подадите руки дружески, я... пожалѣйте, Ольга Сергѣевна! Я буду нездоровъ, у меня колѣни дрожать, я насилу стою...

— Отчего? вдругъ спросила она, взглянувъ на него.

— И самъ не знаю, сказалъ онъ: — стыдъ у меня прошелъ теперь: мнѣ не стыдно отъ моего слова... мнѣ кажется, въ немъ...

Опять у него мурашки поползли по сердцу; опять что-то лишнее оказалось тамъ; опять ея ласковый и любопытный взглядъ сталъ жечь его. Она такъ граціозно оборотилась къ нему, съ такимъ безпокойствомъ ждала отвѣта.

— Что въ немъ? нетерпѣливо спросила она.

— Нѣтъ, боюсь сказать: вы опять разсердитесь.

— Говорите! сказала она повелительно.

Онъ молчалъ.

— Ну?

— Мнѣ опять плакать хочется, глядя на васъ... Видите, у меня нѣтъ самолюбія, я не стыжусь сердца...

— Отчего же плакать? спросила она, и на щекахъ появились два розовыя пятна.

— Мнѣ все слышится вашъ голосъ... я опять чувствую...

— Что? сказала она, и слезы отхлынули отъ груди; она ждала напряженно.

Они подошли къ крыльцу.

— Чувствую... торопился досказать Обломовъ и остановился.

Она медленно, какъ-будто съ трудомъ, всходила по ступенямъ.

— Ту же музыку... то же... волненіе... то же... чув... простите, простите—ей-Богу, не могу сладить съ собой...

— Мг. Обломовъ... строго начала она, потомъ вдругъ лицо ея озарилось лучемъ улыбки: — я не сержусь, прощаю, прибавила она мягко:—только впередъ...

Она, не оборачиваясь, протянула ему назадъ руку; онъ схватилъ ее, поцѣловалъ въ ладонь: она тихо сжала его губы и мгновенно порхнула въ стеклянную дверь, а онъ остался какъ вкопанный.

## VII.

Долго онъ глядѣлъ ей вслѣдъ большими глазами, съ разинутымъ ртомъ, долго поводилъ взглядомъ по кустамъ...

Прошли чужіе, пролетѣла птица. Баба, мимоходомъ, спросила, не надо ли ему ягодъ—столбнякъ продолжался.

Онъ опять пошелъ тихонько по той же аллеѣ и до половины ея дошелъ тихо, набрелъ на ландыши, которые уронила Ольга, на вѣтку сирени, которую она сорвала и съ досадой бросила.

„Отчего это она?..“ сталъ онъ соображать, припоминать...

— Дуракъ, дуракъ! вдругъ вслухъ сказалъ онъ, хватая ландыши, вѣтку, и почти бѣгомъ бросился по аллеѣ. — Я прощенья просилъ, а она... ахъ, уже-ли?.. Какая мысль!

Счастливый, сіяющій, точно „съ мѣсяцомъ во лбу“, по выраженію няньки, пришелъ онъ домой, сѣлъ въ уголь дивана и быстро начертилъ по пыли на столѣ крупными буквами: „Ольга“.

— Ахъ, какая пыль! очнувшись отъ восторга замѣтилъ онъ. — Захаръ! Захаръ! долго кричалъ онъ, потому-что Захаръ сидѣлъ съ кучерами у воротъ, обращенныхъ въ переулокъ.

— Поди ты! грознымъ шопотомъ говорила Анисья, держа его за рукавъ:—Баринъ давно зоветъ тебя.

— Посмотри, Захаръ, что это такое? сказалъ Илья Ильичъ, но мягко, съ добротой: онъ сердиться былъ не въ состояніи теперь. — Ты и здѣсь хочешь такой же безпорядокъ завести: пыль, паутину? Нѣтъ; извини, я не позволю! И такъ Ольга Сергѣевна мнѣ проходу не даетъ: „вы любите, говорить, соръ“.

— Да, имъ хорошо говорить: у нихъ пятеро людей, замѣтилъ Захаръ, поворачиваясь къ двери.

— Куда ты? Возьми да смети: здѣсь сѣсть нельзя, ни облокотиться... Вѣдь это гадость, это... обломовщина!

Захаръ надулся и стороной посмотрѣлъ на барина.

„Вона!“ подумалъ онъ: „еще выдумалъ какое-то жалкое слово! А знакомое!“

— Ну, мети же, что стоишь? сказалъ Обломовъ.

— Чего мести? Я мель сегодня! упрямо отвѣчалъ Захаръ.

— А откуда жъ пыль, если мель? Смотри, вонъ, вонъ! Чтобъ не было! Сейчасъ смести!

— Я мель, твердилъ Захаръ: — не по десяти же разъ мести! А пыль съ улицы набирается... здѣсь поле, дача: пыли много на улицѣ.

— Да ты, Захаръ Трофимычъ, начала Анисья, вдругъ выглянувъ изъ другой комнаты: — напрасно сначала ме-

тешь полъ, а потомъ со столовъ сметаешь: пыль-то опять и насядетъ... Ты бы прежде...

— Ты что тутъ пришла указывать? яростно захрипѣлъ Захаръ:—Иди къ своему мѣсту!

— Гдѣ же это видано, сначала полъмести, а потомъ со столовъ убирать?... Баринъ оттого и гнѣвается...

— Ну, ну, ну! закричалъ онъ, замахиваясь на нее локтемъ въ грудь.

Она усмѣхнулась и спряталась. Обломовъ махнулъ и ему рукой, чтобъ онъ шелъ вонъ. Онъ прилегъ на шитую подушку головой, приложилъ руку къ сердцу и сталъ прислушиваться, какъ оно стучитъ.

„Вѣдь это вредно“ сказалъ онъ про-себя. „Что дѣлать? Если съ докторомъ посовѣтоваться, онъ, пожалуй, въ Абиссинію пошлетъ!“

Пока Захаръ и Анисія не были женаты, каждый изъ нихъ занимался своей частью и не входилъ въ чужую, то-есть Анисія знала рынокъ и кухню и участвовала въ убораніи комнатъ только разъ въ годъ, когда мыла полы.

Но послѣ свадьбы доступъ въ барскіе покои ей сдѣлался свободнѣе. Она помогала Захару и въ комнатахъ стало чище, и вообще нѣкоторыя обязанности мужа она взяла на себя, частью добровольно, частью потому, что Захаръ деспотически возложилъ ихъ на нее.

— На вотъ, выколоти-ко коверъ, хрипѣлъ онъ повелительно, или:—Ты бы перебрала вонъ что тамъ въ углу навалено, да лишнее вынесла бы въ кухню, говорилъ онъ.

Такъ блаженствовалъ онъ съ мѣсяцъ: въ комнатахъ чисто, баринъ не ворчитъ, „жалкихъ словъ“ не говоритъ, и онъ, Захаръ, ничего не дѣлаетъ. Но это блаженство миновалось—и вотъ по какой причинѣ.

Лишь только они съ Анисей принялись хозяйничать въ барскихъ комнатахъ вмѣстѣ, Захаръ, что ни сдѣлаетъ

окажется глупостью. Каждый шагъ его — все не то и не такъ. Пятьдесятъ-пять лѣтъ ходилъ онъ на бѣломъ свѣтѣ съ увѣренностью, что все, что онъ ни дѣлаетъ, иначе и лучше сдѣлано быть не можетъ.

И вдругъ теперь, въ двѣ недѣли, Анисья доказала ему, что онъ — хоть брось, и притомъ, она дѣлаетъ это съ такой обидной снисходительностью, такъ тихо, какъ дѣлаютъ только съ дѣтьми, или съ совершенными дураками, да еще усмѣхается, глядя на него.

— Ты, Захаръ Трофимычъ, ласково говорила она: напрасно прежде закрываешь трубу, а потомъ форточки отворяешь: опять настудишь комнаты.

— А какъ же по-твоему? съ грубостью мужа спросилъ онъ: когда же отворять?

— А когда затопишь: воздухъ и вытянетъ, а потомъ нагрѣется опять, отвѣчала она тихо.

— Экая дура! говорилъ онъ: — Двадцать лѣтъ я дѣлалъ такъ, а для тебя мѣнять стану...

На полкѣ шкапа лежали у него вмѣстѣ чай, сахаръ, лимонъ, серебро, тутъ же вакса, щетки и мыло.

Однажды онъ пришелъ и вдругъ видитъ, что мыло лежитъ на умывальномъ столикѣ, щетки и вакса въ кухнѣ на окнѣ, а чай и сахаръ въ особомъ ящикѣ комода.

— Это ты что у меня тутъ все бударажишь по-своему — а? грозно спросилъ онъ: — Я нарочно сложилъ все въ одинъ уголь, чтобъ подъ-рукой было, а ты разбросала все по разнымъ мѣстамъ?

— А чтобъ чай не пахнулъ мыломъ, кротко замѣтила она.

Въ другой разъ она указала ему двѣ-три дыры на барскомъ платьѣ, отъ моли, и сказала, что въ недѣлю разъ надо непременно встряхнуть и почистить платье.

— Дай я выколочу вѣничкомъ, ласково заключила она.



Онъ вырвалъ у ней вѣничекъ и фракъ, который-было она взяла, и положилъ на прежнее мѣсто.

Когда еще онъ, однажды, по обыкновенію, сталъ пѣнять на барина, что тотъ бранить его по напрасну за таракановъ, что „не онъ выдумалъ ихъ“, Анисья, молча, выбрала съ полки куски и завалавшіеся съ незапамятныхъ временъ крошки чернаго хлѣба, вымела и вымыла шкапы, посуду—и тараканы почти совсѣмъ исчезли.

Захаръ все еще не понималъ хорошенько, въ чемъ дѣло, и приписывалъ это только ея усердію. Но когда, однажды, онъ понесъ подносъ съ чашками и стаканами, разбилъ два стакана и началъ, по обыкновенію, ругаться и хотѣлъ бросить на полъ и весь подносъ, она взяла подносъ у него изъ рукъ, поставила другіе стаканы, еще сахарницу, хлѣбъ, и такъ уставила все, что ни одна чашка не шевельнулась, и потомъ показала ему, какъ взять подносъ одной рукой, какъ плотно придержать другой, потомъ два раза прошла по комнатѣ, вертя подносомъ направо и налево, и ни одна ложечка не пошевелилась на немъ, Захару вдругъ ясно стало, что Анисья умнѣе его!

Онъ вырвалъ у ней подносъ, разронялъ стаканы и уже съ тѣхъ поръ не могъ простить ей этого.

— Вотъ видишь, какъ надо! еще прибавила она тихо.

Онъ взглянулъ на нее съ тупымъ высокомеріемъ, а она усмѣхается.

— Ахъ, ты баба, солдатка этакая, хочешь ты умничать! Да развѣ у насъ въ Обломовкѣ такой домъ былъ? На мнѣ все держалось однимъ: однихъ лакеевъ, съ мальчишками, пятнадцать человѣкъ! А вашей братьи, бабья, такъ и поименно-то не знаешь... А ты тутъ... Ахъ, ты!.. —

— Я вѣдь добраго хочу, начала-было она.

— Ну, ну, ну! хрипѣлъ онъ, дѣлая угрожающій жестъ

локтемъ въ грудь: Пошла отсюда, изъ барскихъ комнатъ, на кухню... знай свое бабье дѣло!

Она усмѣхнулась и пошла, а онъ мрачно, стороной глядѣлъ ей вслѣдъ.

Гордость его страдала, и онъ мрачно обращался съ женой. Когда же, однако, случалось, что Илья Ильичъ спрашивалъ какую-нибудь вещь, а вещи не оказывалось, или она оказывалась разбитою, и вообще, когда случался безпорядокъ въ домѣ и надъ головой Захара собиралась гроза, сопровождаемая „жалкими словами“, Захаръ мигалъ Анисъѣ, кивалъ головой на кабинетъ барина и, указывая туда большимъ пальцемъ, повелительнымъ шопотомъ говорилъ:— Поди ты къ барину: что ему тамъ нужно?

Анисья входила и гроза всегда разрѣшалась простымъ объясненіемъ. И самъ Захаръ, чуть начинали проскакивать въ рѣчи Обломова „жалкія слова“, предлагалъ ему позвать Анисью.

Такимъ образомъ опять все заглохло бы въ комнатахъ Обломова, еслибъ не Анисья: она уже причислила себя къ дому Обломова, бессознательно раздѣлила неразрываемую связь своего мужа съ жизнью, домомъ и особой Ильи Ильича, и ея женскій глазъ и заботливая рука бодрствовали въ запущенныхъ покояхъ.

Захаръ только отвернется куда нибудь, Анисья смахнетъ пыль со столовъ, съ дивановъ, откроетъ форточку, поправитъ сторы, приберетъ къ мѣсту кинутые посреди комнаты сапоги, повѣшенные на парадныхъ креслахъ панталоны, переберетъ всѣ платья, даже бумаги, карандаши, ножичекъ, перья на столѣ — все положить въ порядкѣ; взобьетъ измятую постель, поправитъ подушки — и все въ три пріема; потомъ окинетъ еще бѣглымъ взглядомъ всю комнату, подвинетъ какой нибудь стулъ, задвинетъ полуотворенный ящикъ комода, стащитъ салфетку со стола и быст-

ро скользнетъ въ кухню, заслыша скрипучіе сапоги Захара.

Она была живая, проворная баба, лѣтъ сорока-семи, съ заботливой улыбкой, съ бѣгавшими живо во всѣ стороны глазами, крѣпкой шеей и грудью и красными, цѣпкими, никогда-неустающими руками.

Лица у ней почти вовсе не было: только и былъ замѣтенъ носъ; хотя онъ былъ небольшой, но онъ какъ будто отсталъ отъ лица, или неловко былъ приставленъ, и притомъ нижняя часть его была вздернута кверху, оттого лица за нимъ было незамѣтно: оно такъ обтянулось, выцвѣло, что о носѣ ея давно уже получишь ясное понятіе, а лица все не замѣтишь.

Много въ свѣтѣ такихъ мужей, какъ Захаръ. Иногда дипломатъ небрежно выслушаетъ совѣтъ жены, пожметъ плечами—и втихомолку напишетъ по ея совѣту.

Иногда администраторъ, посвистывая, гримасой сожалѣнія отвѣтитъ на болтовню жены о важномъ дѣлѣ—а завтра важно докладываетъ эту болтовню министру.

Обходятся эти господа съ женами также мрачно, или легко, едва удостоиваютъ говорить, считая ихъ такъ, если не за бабъ, какъ Захаръ, такъ за цвѣтки, для развлеченія отъ дѣловой, серьезной жизни...

Ужъ полдень давно ярко жегъ дорожки парка. Всѣ сидѣли въ тѣни, подъ холстинными навѣсами; только няньки, съ дѣтьми, группами, отважно ходили и сидѣли на травѣ, подъ полуденными лучами.

Обломовъ все лежалъ на диванѣ, вѣря и не вѣря смыслу утренняго разговора съ Ольгой.

— Она любитъ меня, въ ней играетъ чувство ко мнѣ. Возможно ли? Она обо мнѣ мечтаетъ; для меня пѣла она такъ страстно, и музыка заразила насъ обоихъ симпатіей.

Гордость заиграла въ немъ, засіяла жизнь, ея волшеб-

ная даль, всѣ краски и лучи, которыхъ еще недавно не было. Онъ ужъ видѣлъ себя за границей съ ней, въ Швейцаріи на озерахъ, въ Италіи, ходитъ въ развалинахъ Рима, катается въ гондолѣ, потомъ теряется въ толпѣ Парижа, Лондона, потомъ... потомъ въ своемъ земномъ раю— въ Обломовкѣ.

Она—божество, съ этимъ милымъ лепетомъ, съ этимъ изящнымъ, бѣленькимъ личикомъ, тонкой, нѣжной шеей...

Крестьяне не видали никогда ничего подобнаго; они падаютъ ницъ передъ этимъ ангеломъ. Она тихо ступаетъ по травѣ, ходитъ съ нимъ въ тѣни березняка; она поетъ ему...

И онъ чувствуетъ жизнь, ея тихое теченье, ея сладкія струи, плесканье... онъ впадаетъ въ раздумье отъ удовольствованныхъ желаній, отъ полноты счастья...

Вдругъ лицо его омрачилось.

— Нѣтъ, этого быть не можетъ! вслухъ произнесъ онъ, вставъ съ дивана и ходя по комнатѣ:—Любить меня, смѣшнаго, съ соннымъ взглядомъ, съ дряблыми щеками... Она все смѣется надо мной...

Онъ остановился передъ зеркаломъ и долго разсматривалъ себя, сначала неблагоклонно, потомъ взглядъ его прояснѣлъ; онъ даже улыбнулся.

— Я какъ-будто получше, посвѣжѣе нежели какъ былъ въ городѣ, сказалъ онъ: глаза у меня нетусклые... Вотъ ячень показался-было, да и пропалъ... Должно-быть отъ здѣшняго воздуха; много хожу, вина не пью совсѣмъ, не лежу... Не надо и въ Египетъ ѣхать.

Пришелъ человѣкъ отъ Марьи Михайловны, Ольгиной тетки, звать обѣдать.

— Иду, иду! сказалъ Обломовъ.

Человѣкъ пошелъ.

— Пстой! Вотъ тебѣ.



Онъ далъ ему денегъ.

Ему весело, легко. Въ природѣ такъ ясно. Люди все добрые, всѣ наслаждаются; у всѣхъ счастье на лицѣ. Только Захаръ мраченъ, все стороною смотритъ на барина: зато Анисья усмѣхается такъ добродушно. „Собаку заведу, рѣшилъ Обломовъ, или кота... лучше кота: коты ласковы, мурлычатъ“.

Онъ побѣждалъ къ Ольгѣ.

„Но, однакожь... Ольга любитъ меня!“ думалъ онъ дорогой: „Это молодое, свѣжее созданіе! Ея воображенію открыта теперь самая поэтическая сфера жизни: ей должны сниться юноши съ черными кудрями, стройные, высокіе, съ задумчивой, затаенной силой, съ отвагой на лицѣ, съ гордой улыбкой, съ этой искрой въ глазахъ, которая тонетъ и трепещетъ во взглядѣ и такъ легко добирается до сердца, съ мягкимъ и свѣжимъ голосомъ, который звучитъ какъ металлическая струна. Наконецъ, любятъ и не юношей, не отвагу на лицѣ, не ловкость въ мазуркѣ, не скаканье на лошади... Положимъ Ольга не дюженная дѣвушка, у которой сердце можно пощекотать усами, тронуть слухъ звукомъ сабли; но вѣдь тогда надо другое... силу ума, напирмѣрь, чтобъ женщина смирялась и склоняла голову передъ этимъ умомъ, чтобъ и свѣтъ кланялся ему... Или прославленный артистъ... А я что такое? Обломовъ—больше ничего. Вотъ Штольцъ—другое дѣло: Штольцъ—умъ, сила, умѣнье управлять собой, другими, судьбой. Куда не придетъ, съ кѣмъ ни сойдется—смотришь, ужъ овладѣлъ, играетъ, какъ-будто на инструментѣ... А я?... И съ Захаромъ не управляюсь... и съ собой тоже... я — Обломовъ! Штольцъ! Боже!.. Вѣдь она его любитъ,“ въ ужасѣ подумалъ онъ: „сама сказала: какъ друга — говоритъ она; да это ложь, можетъ-быть, безсознательная... Дружбы между мужчиной и женщиной не бываетъ...“



Онъ пошелъ тише, тише, тише, одолѣваемый сомнѣніями.

„А что, если она кокетничаетъ со мной?.. Если только...“

Онъ остановился совсѣмъ, оцѣпенѣлъ на минуту.

„Что если тутъ коварство, заговоръ... И съ чего я взялъ, что она любитъ меня? Она не сказала: это сатанинскій шепотъ самолюбія! Андрей! Ужели?.. быть не можетъ: она такая, такая... Вонъ она какая!“ вдругъ радостно сказалъ онъ, завидя идущую ему на встрѣчу Ольгу.

Ольга съ веселой улыбкой протянула ему руку.

„Нѣтъ, она не такая, она не обманщица“, рѣшилъ онъ: „обманщицы не смотрятъ такимъ ласковымъ взглядомъ; у нихъ нѣтъ такого искренняго смѣха... онѣ всѣ пищать... Но... она, однакожь, не сказала, что любитъ!“ вдругъ опять подумалъ въ испугѣ: это онъ такъ себѣ растолковалъ... „А досада отчего же?.. Господи! въ какой я омутъ попалъ!“

— Что это у васъ? спросила она.

— Вѣтка.

— Какая вѣтка?

— Вы видите: сиреневая.

— Гдѣ вы взяли? Тутъ нѣтъ сирени. Гдѣ вы шли?

— Это вы давеча сорвали и бросили.

— Зачѣмъ же вы подняли?

— Такъ, мнѣ нравится, что вы... съ досадой бросили ее.

— Нравится досада—это новость! Отчего?

— Не скажу.

— Скажите, пожалуйста, я прошу...

— Ни за что, ни за какія блага!

— Умоляю васъ.

Онъ потрясъ отрицательно головой.

— А если я спою?

— Тогда... можетъ-быть...

— Такъ только музыка дѣйствуетъ на васъ? сказала она съ нахмуренной бровью:—Такъ это правда?

— Да, музыка, передаваемая вами...

— Ну, я буду пѣть... *Casta diva, Casta di...* зазвучала она воззваніе Нормы и остановилась.

— Ну, говорите теперь! сказала она.

Онъ боролся нѣсколько времени съ собой.

— Нѣтъ, нѣтъ! Еще рѣшительнѣе прежняго заключилъ онъ:—Ни за что.. никогда! Если это неправда, если мнѣ такъ показалось?... Никогда, никогда!

— Что это такое? Что-нибудь ужасное, говорила она, устремивъ мысль на этотъ вопросъ, а пытливый взглядъ на него.

Потомъ лицо ея наполнялось постепенно сознаниемъ; въ каждую черту пробирался лучъ мысли, догадки, и вдругъ все лицо озарилось сознаниемъ... Солнце, также иногда, выходя изъ-за облака, понемногу освѣщаетъ одинъ кустъ, другой, кровлю, и вдругъ обольетъ свѣтомъ цѣлый пейзажъ. Она уже знала мысль Обломова.

— Нѣтъ, нѣтъ, у меня языкъ не поворотится... твердилъ Обломовъ:—и не спрашивайте.

— Я не спрашиваю васъ, отвѣчала она равнодушно.

— А какъ же? Сейчасъ вы...

— Пойдемте домой, серьезно, не слушая его, сказала она: — *ma tante* ждетъ.

Она пошла впередъ, оставила его съ тѣткой и прямо пошла въ свою комнату.

## VIII.

Весь этотъ день былъ днемъ постепеннаго разочарованія для Обломова. Онъ провелъ его съ тѣткой Ольги, женщи-

ной очень-умной, приличной, одѣтой всегда прекрасно, всегда въ новомъ шелковомъ платьѣ, которое сидитъ на ней отлично, всегда въ такихъ изящныхъ кружевныхъ воротничкахъ; чепецъ тоже со вкусомъ сдѣланъ и ленты прибраны кокетливо къ ея почти пятидесятилѣтнему, но еще свѣжему лицу. На цѣпочкѣ виситъ золотой лорнетъ.

Позы, жесты ея исполнены достоинства; она очень-ловко драпируется въ богатую шаль, такъ кстати обопрется локтемъ на шитую подушку, такъ величественно раскинется на диванѣ. Ее никогда не увидишь за работой: нагибаться, шить, заниматься мелочью нейдетъ къ ея лицу, важной фигурѣ. Она и приказанія слугамъ и служанкамъ отдавала небрежнымъ тономъ, коротко и сухо.

Она иногда читала, никогда не писала, но говорила хорошо, впрочемъ, больше по-французски. Однакожь, она тотчасъ замѣтила, что Обломовъ несовсѣмъ-свободно владѣетъ французскимъ языкомъ, и со втораго дня перешла на русскую рѣчь.

Въ разговорѣ она не мечтаетъ и не умничаетъ; у ней кажется, проведена въ головѣ строгая черта, за которую умъ не переходилъ никогда. По всему видно было, что чувство, всякая симпатія, не исключая и любви, входятъ, или входили въ ея жизнь наравнѣ съ прочими элементами, тогда-какъ у другихъ женщинъ съ-разу увидишь, что любовь, если не на дѣлѣ, то на словахъ, участвуетъ во всѣхъ вопросахъ жизни, и что все остальное входитъ стороною, на столько, на сколько остается простора отъ любви.

У этой женщины впереди всего шло умѣнье жить, управлять собой, держать въ равновѣсіи мысль съ намѣреніемъ, намѣреніе съ исполненіемъ. Нельзя было застать ее неприготовленную, врасплохъ, какъ бдительнаго врага, котораго когда ни подкараульте, всегда встрѣтите устремленный на васъ, ожидающій взглядъ.

Стихія ея была свѣтъ, и оттого такъ, осторожность шлу у ней впереди каждой мысли, cadaго слова и движенія.

Она ни передъ кѣмъ никогда не открываетъ сокровенныхъ движеній сердца, никому не повѣряетъ душевныхъ тайнъ; не увидишь около нея доброй пріятельницы, старушки, съ которой бы она шепталась за чашкой кофе. Только съ барономъ фон-Лангвагеномъ часто остается она наединѣ; вечеромъ онъ сидитъ иногда до полуночи, но почти всегда при Ольгѣ; и то они все больше молчатъ, но молчатъ какъ-то значительно и умно, какъ-будто что-то знаютъ такое чего другіе не знаютъ, но и только.

Они, повидимому, любятъ быть вмѣстѣ—вотъ единственное заключеніе, какое можно вывести, глядя на нихъ; обходится она съ нимъ такъ же, какъ и съ другими; благосклонно, съ добротой, но такъ же ровно и покойно.

Злые языки воспользовались-было этимъ и стали намекать на какую-то старинную дружбу, на поѣздку за границу вмѣстѣ; но въ отношеніяхъ ея къ нему не проглядывало ни тѣни какой-нибудь затаившейся особенной симпатіи, а это бы прорвалось наружу.

Между-тѣмъ, онъ былъ опекунъ небольшого имѣнія Ольги, которое какъ-то попало въ залогъ при одномъ подрядѣ, да тамъ и сѣло.

Баронъ велъ процессъ, то-есть заставлялъ какого-то чиновника писать бумаги, читалъ ихъ сквозь лорнетку, подписывалъ и посылалъ того же чиновника съ ними въ присутственныя мѣста, а самъ, связями своими въ свѣтѣ, давалъ этому процессу удовлетворительный ходъ. Онъ подавалъ надежду на скорое и счастливое окончаніе. Это прекратило злые толки и барона привыкли видѣть въ домѣ, какъ родственника.

Ему было подъ пятьдесятъ лѣтъ, но онъ былъ очень свѣжъ, только красилъ усы и прихрамывалъ немного на

одну ногу. Онъ былъ вѣжливъ до утонченности, никогда не курилъ при дамахъ, не клалъ одну ногу на другую и строго порицалъ молодыхъ людей, которые позволяютъ себѣ въ обществѣ опрокидываться въ креслѣ и поднимать колѣнку и сапоги наравнѣ съ носомъ. Онъ и въ комнатѣ сидѣлъ въ перчаткахъ, снимая ихъ только когда садился обѣдать.

Одѣтъ былъ въ послѣднемъ вкусѣ и въ петлицѣ фрака носилъ много ленточекъ. Ѣздилъ всегда въ каретѣ и чрезвычайно берегъ лошадей: садясь въ экипажъ, онъ прежде обойдетъ кругомъ его, осмотритъ сбрую, даже копыта лошадей, а иногда вынетъ бѣлый платокъ и потретъ по плечу, или хребту лошадей, чтобъ посмотреть, хорошо ли онѣ вычищены.

Знакомаго онъ встрѣчалъ съ благосклонно—вѣжливой улыбкой, незнакомаго—сначала холодно; но когда его представляли ему, холодность замѣнялась также улыбкой, и представленный могъ уже рассчитывать на нее всегда.

Разсуждалъ онъ обо всемъ: и о добродѣтели, и о дороговизнѣ, о наукахъ и о свѣтѣ одинаково отчетливо; выражалъ свое мнѣніе въ ясныхъ и законченныхъ фразахъ, какъ-будто говорилъ сентенціями, уже готовыми, записанными въ какой-нибудь курсъ и пущенными для общаго руководства въ свѣтъ.

Отношенія Ольги къ тѣткѣ были до сихъ поръ очень просты и покойны: въ нѣжности, они не переходили никогда границъ умѣренности, никогда не ложилось между ними и тѣни неудовольствія.

Это происходило, частью отъ характера Марьи Михайловны, тѣтки Ольги, частью отъ совершеннаго недостатка всякаго повода для обѣихъ—вести себя иначе. Тѣткѣ не приходило въ голову требовать отъ Ольги чтонибудь такое, чтобъ рѣзко противорѣчило ея желаніямъ; Ольгѣ не



приснилось бы во снѣ не исполнить желанія тётки, не послѣдовать ея совѣту.

И въ чемъ проявлялись эти желанія?—Въ выборѣ платья, въ причeskѣ, въ томъ, на-примѣръ, поѣхать ли во французскій театръ, или въ оперу.

Ольга слушалась на столько, на сколько тётка выражала желаніе, или высказывала совѣтъ, отнюдь неболѣе—а она всегда высказывала его съ умѣренностью до сухости, на сколько допускали права тётки, никогда болѣе.

Отношенія эти были такъ безцвѣтны, что нельзя было никакъ рѣшить, есть ли въ характерѣ тётки какія-нибудь притязанія на послушаніе Ольги, на ея особенную нѣжность, или есть ли въ характерѣ Ольги послушаніе къ тёткѣ и особенная къ ней нѣжность.

За-то, съ перваго раза, видя ихъ вмѣстѣ, можно было рѣшить, что онѣ—тётка и племянница, а не мать и дочь.

— Я ѣду въ магазинъ: не надо ли тебѣ чего-нибудь? спрашивала тётка.

— Да, *ma tante*, мнѣ нужно перемѣнить лиловое платье, говорила Ольга и онѣ ѣхали вмѣстѣ; или: — Нѣтъ, *ma tante*, скажетъ Ольга:—я недавно была.

Тётка возьметъ ее двумя пальцами за обѣ щеки, поцѣлуетъ въ лобъ, а она поцѣлуетъ руку у тётки, и та поѣдетъ, а эта останется.

— Мы опять ту же дачу возьмемъ? скажетъ тётка ни вопросительно, ни утвердительно, а такъ, какъ будто рассуждаетъ сама съ собой и не рѣшается.

— Да, тамъ очень хорошо, говорила Ольга.

И дачу брали.

А если Ольга скажетъ:

— Ахъ, *ma tante*, неужели вамъ не наскучилъ этотъ лѣсъ, да песокъ? Не лучше ли посмотрѣть въ другой сторонѣ?

— Посмотримъ, говорила тётка.— Поѣдемъ Олинъка въ театръ? говорила тётка:— давно кричатъ объ этой пьесѣ.

— Съ удовольствіемъ, отвѣчала Ольга, но безъ торопливаго желанія угодить, безъ выраженія покорности.

Иногда онѣ слегка и спорили.

— Помилуй, *ma chère*, къ лицу ли тебѣ зеленныя ленты? говорила тётка:— Возьми палевыя.

— Ахъ, *ma tante*! ужъ я шестой разъ въ палевыхъ, наконецъ, приглядится.

— Ну, возьми *pensée*.

— А эти вамъ нравятся?

Тётка вглядывалась и медленно трясла головой.

— Какъ хочешь, *ma chère*, а я бы, на твоёмъ мѣстѣ, взяла *pense*, или палевыя.

— Нѣтъ, *ma tante*, я лучше вотъ эти возьму, говорила Ольга мягко, и брала что ей хотѣлось.

Ольга спрашивала у тётки совѣтовъ, не какъ у авторитета, котораго приговоръ долженъ быть закономъ для нея, а такъ, какъ бы спросила совѣта у всякой другой, болѣе ея опытной женщины.

— *Ma tante*, вы читали эту книгу—что это такое? спрашивала она.

— Ахъ, какая гадость! говорила тётка, отодвигая, но не пряча книгу и не принимая никакихъ мѣръ, чтобъ Ольга не прочла ея.

И Ольгѣ никогда не пришло бы въ голову прочесть. Если онѣ затруднялись обѣ, тотъ же вопросъ обращался къ барону фон-Лангвагену, или къ Штольцу, когда онъ былъ на лицо, и книга читалась, или не читалась, по ихъ приговору.

— *Ma chère* Ольга! скажетъ иногда тётка:— Про этого молодого человѣка, который къ тебѣ часто подходитъ у

Завадскихъ, вчера мнѣ что-то рассказывали, какую-то глупую исторію.

И только. А Ольга, какъ себѣ хочетъ потомъ: говори, или не говори съ нимъ.

Появленіе Обломова въ домѣ не возбудило никакихъ вопросовъ, никакого особеннаго вниманія ни въ тѣткѣ, ни въ баронѣ, ни даже въ Штольцѣ. Послѣдній хотѣлъ познакомиться своего пріятеля въ такомъ домѣ, гдѣ все было немного чопорно, гдѣ не-только не предложатъ соснуть послѣ обѣда, но гдѣ даже неудобно класть ногу на ногу, гдѣ надо быть свѣжо-одѣтымъ, помнить, о чемъ говоришь — словомъ, нельзя ни задремать, ни опуститься, и гдѣ постоянно шель живой, современный разговоръ.

Потомъ Штольцъ думалъ, что если внести въ сонную жизнь Обломова присутствіе молодой, симпатичной, умной, живой и отчасти насмѣшливой женщины—это все равно, что внести въ мрачную комнату лампу, отъ которой по всѣмъ темнымъ угламъ разольется ровный свѣтъ, нѣсколько градусовъ тепла, и комната повеселѣетъ.

Вотъ весь результатъ, котораго онъ добивался, знакомя друга своего съ Ольгой. Онъ не предвидѣлъ, что онъ внеситъ фейерверкъ, Ольга и Обломовъ и подавно.

Илья Ильичъ высидѣлъ съ тѣткой часа два чинно, не положивъ ни разу ноги на ногу, разговаривая прилично обо всемъ; даже два раза ловко подвинулъ ей скамеечку подъ ноги.

Пріѣхалъ баронъ, вѣжливо улыбнулся и ласково пожалъ ему руку.

Обломовъ еще чиннѣе велъ себя и всѣ трое, какъ нельзя болѣе, довольны были другъ другомъ.

Тѣтка, на разговоры по угламъ, на прогулки Обломова съ Ольгой, смотрѣла... или, лучше сказать, никакъ не смотрѣла.

Гулять съ молодымъ человѣкомъ, съ франтомъ—это другое дѣло: она бы и тогда не сказала ничего, но, съ собственнымъ ей тактомъ, какъ нибудь незамѣтно установила бы другой порядокъ: сама бы пошла съ ними разъ, или два, послала бы кого-нибудь третьяго, и прогулки сами-собою бы кончились.

Но гулять „съ мсье Обломовымъ“, сидѣть съ нимъ въ углу большой залы, на балконѣ... что жъ изъ этого? Ему за тридцать лѣтъ: не станетъ же онъ говорить ей пустяковъ, давать какихъ нибудь книгъ... Да этого ничего никому и въ голову не приходило.

Притомъ тѣтка слышала, какъ Штольцъ наканунѣ отъѣзда говорилъ Ольгѣ, чтобъ она не давала дремать Обломову, чтобъ запрещала спать, мучила бы его, тиранила, давала ему разныя порученія — словомъ, распоряжалась имъ. И ее просилъ не выпускать Обломова изъ вида, приглашать почаще къ себѣ, втягивать въ прогулки, поѣздки, всячески шевелить его, еслибъ онъ ~~ее~~ поѣхалъ за границу. н

Ольга не показывалась, пока онъ сидѣлъ съ тѣткой, и время тянулось медленно. Обломова опять стало кидать въ жаръ и холодъ. Теперь ужъ онъ догадывался о причинѣ этой переменъ Ольги. Переменъ эта была для него почему-то тяжеле прежней.

Отъ прежняго промаха ему было только страшно и стыдно, а теперь тяжело, неловко, холодно, уныло на сердцѣ, какъ въ сырую, дождливую погоду. Онъ далъ ей понять, что догадался о ея любви къ нему, да еще, можетъ-быть, догадался невпопадъ. Это уже въ самомъ дѣлѣ была обида, едва-ли исправимая. Да если и впопадъ, то какъ неуклюже! Онъ, просто, фать.

Онъ могъ спугнуть чувство, которое стучится въ молодое, дѣвственное сердце робко, садится осторожно и лег-

ко, какъ птичка на вѣтку: посторонній звукъ, шорохъ—и оно улетитъ.

Онъ съ замирающимъ трепетомъ ждалъ, когда Ольга сойдетъ къ обѣду, что и какъ она будетъ говорить, какъ будетъ смотрѣть на него...

Она сошла — и онъ надивиться не могъ, глядя на нее; онъ едва узналъ ее. У ней другое лицо, даже другой голосъ.

Молодая, наивная, почти дѣтская усмѣшка ни разу не показалась на губахъ, ни разу не взглянула она такъ широко, открыто, глазами, когда въ нихъ выражался или вопросъ, или недоумѣнiе, или простодушное любопытство, какъ-будто ей ужъ не о чемъ спрашивать, нечего знать, нечему удивляться!

Взглядъ ея не слѣдилъ за нимъ, какъ прежде. Она смотрѣла на него, какъ-будто давно знала, изучила его, наконецъ, какъ-будто онъ ей ничего, все равно, какъ баронъ — словомъ, онъ точно не видалъ ее съ годъ, и она на годъ созрѣла.

Не было суровости, вчерашней досады, она шутила и даже смѣялась, отвѣчала на вопросы обстоятельно, на которые бы прежде не отвѣчала ничего. Видно было, что она рѣшилась принудить себя дѣлать, что дѣлаютъ другiе, чего прежде не дѣлала. Свободы, непринужденности, позволяющей все высказать, что на умъ, уже не было. Куда все вдругъ дѣлось?

Послѣ обѣда онъ подошелъ къ ней спросить, не пойдеть ли она гулять. Она, не отвѣчая ему, обратилась къ тѣткѣ, съ вопросомъ:

— Пойдемъ ли *мы* гулять?

— Развѣ недалеко, сказала тѣтка: — Вели дать мнѣ зонтикъ.



И пошли всѣ. Ходили вяло, смотрѣли въ даль, на Петербургъ, дошли до лѣса и воротились на балконъ.

— Вы, кажется, не расположены сегодня пѣть? Я и просить боюсь, спросилъ Обломовъ, ожидая, не кончится ли это принужденіе, не возвратится ли къ ней веселость, не мелькнетъ ли хоть въ одномъ словѣ, въ улыбкѣ, наконецъ въ пѣніи, лучъ искренности, наивности и довѣрчивости.

— Жарко! замѣтила тѣтка.

— Ничего, я попробую, сказала Ольга, и спѣла романсъ.

Онъ слушалъ и не вѣрилъ ушамъ.

Это не она: гдѣ же прежній, страстный звукъ?

Она пѣла такъ чисто, такъ правильно и вмѣстѣ такъ... такъ... какъ поютъ всѣ дѣвицы, когда ихъ просятъ спѣть въ обществѣ: безъ увлеченія. Она вынула свою душу изъ пѣнія, и въ слушатель не шевельнулся ни одинъ нервъ.

Лукавить что ли она, притворяется, сердится? Ничего нельзя угадать: она смотритъ ласково, охотно говорить, но говорить такъ-же, какъ поетъ, какъ всѣ... Что это такое?

Обломовъ, не дождавшись чаю, взялъ шляпу и раскланялся.

— Приходите чаще, сказала тѣтка:—въ будни мы всегда одни, если вамъ не-скучно, а въ воскресенье у насъ всегда кое-кто есть—не соскучитесь.

Баронъ вѣжливо всталъ и поклонился ему.

Ольга кивнула ему, какъ доброму знакомому, и когда онъ пошелъ, она повернулась къ окну, смотрѣла туда и равнодушно слушала удалявшіеся шаги Обломова.

Эти два часа и слѣдующіе три-четыре дня, много недѣля, сдѣлали на нее глубокое дѣйствіе, двинули ее далеко впередъ. Только женщины способны къ такой быстротѣ расцвѣтанія силъ, развитія всѣхъ сторонъ души.

Она какъ-будто слушала курсъ жизни не по днямъ, а по часамъ. И каждый часъ малѣйшаго, едва-замѣтнаго опыта, случая, который мелькнетъ, какъ птица, мимо носа мужчины, схватывается неизъяснимо-быстро дѣвушкой: она слѣдитъ за его полетомъ въ даль и кривая, описанная полетомъ линія остается у ней въ памяти неизгладимымъ знакомъ, указаніемъ, урокомъ.

Тамъ, гдѣ для мужчины надо поставить поверстный столбъ, съ надписью, ей довольно прошумѣвшаго вѣтерка, трепетнаго, едва уловимаго ухомъ сотрясенія воздуха.

Отчего вдругъ, вслѣдствіе какихъ причинъ, на лицѣ дѣвушки, еще на той недѣлѣ такой беззаботной, съ такимъ до смѣха наивнымъ лицомъ, вдругъ ляжетъ строгая мысль? И какая это мысль? О чемъ? Кажется, все лежитъ въ этой мысли, вся логика, вся умозрительная и опытная философія мужчины, вся система жизни!

Cousin, который оставилъ ее недавно дѣвочкой, кончилъ курсъ ученія, надѣлъ эполеты, завидя ее, бѣжитъ къ ней весело, съ намѣреніемъ, какъ прежде, потрепать ее по плечу, повертѣться съ ней за руки, поскакать по стульямъ, по диванамъ... вдругъ, взглянувъ ей пристально въ лицо, оробѣетъ, отойдетъ смущенный, и пойметъ, что онъ еще—мальчишка, а она—уже женщина!

Откуда? Что случилось? Драма? Громкое событіе? Новость какая-нибудь, о которой весь городъ знаетъ?

Ничего, ни тамап, ни mon oncle, ни ma tante, ни няня, ни горничная — никто не знаетъ. И некогда было случиться: она протанцовала двѣ мазурки, нѣсколько контрдансовъ, да голова у ней что-то разболѣлась: не поспала ночь...

А потомъ опять все прошло, только уже въ лицѣ прибавилось что-то новое: иначе смотритъ она, перестала

смѣяться громко, не ѣсть по цѣлой грушѣ за-разъ, не рассказываетъ „какъ у нихъ въ пансіонѣ“... Она тоже кончила курсъ.

Обломовъ на другой, на третій день, какъ cousin, едва узналъ Ольгу и глядѣлъ на нее робко, а она на него просто, только безъ прежняго любопытства, безъ ласки, а такъ, какъ другія.

„Что это съ ней? Что она теперь думаетъ, чувствуетъ?“ терзался онъ вопросами. „Ей-богу, ничего не понимаю!“

И гдѣ было понять ему, что съ ней совершилось то, что совершается съ мужчиной въ двадцать-пять лѣтъ, при помощи двадцати-пяти профессоровъ, библіотекъ, послѣ шатанья по свѣту, иногда даже съ помощью нѣкоторой утраты нравственнаго аромата души, свѣжести мысли и волосъ, то-есть, что она вступила въ сферу сознанія. Вступленіе это обошлось ей такъ дешево и легко.

— Нѣтъ, это тяжело, скучно! заключилъ онъ.—Переѣду на Выборгскую Сторону, буду заниматься, читать, уѣду въ Обломовку... одинъ! прибавилъ потомъ съ глубокимъ уныніемъ:—Безъ нея! Прощай, мой рай, мой свѣтлый, тихій идеалъ жизни!

Онъ не пошелъ ни на четвертый, ни на пятый день; не читалъ, не писалъ, отправился-было погулять, вышелъ на пыльную дорогу, дальше надо въ гору идти.

— Вотъ охота тащиться въ жаръ! сказалъ онъ самъ себѣ, зѣвнулъ и воротился, легъ на диванъ и заснулъ тяжелымъ сномъ, какъ, бывало, сыпалъ въ Гороховой Улицѣ, въ запыленной комнатѣ, съ опущенными сторами.

Сны снились такіе смутные. Проснулся—передъ нимъ накрытый столъ, ботвинья, битое мясо. Захаръ стоитъ, глядя сонно въ окно; въ другой комнатѣ Анися гремитъ тарелками.

Онъ пообѣдалъ, сѣлъ къ окну. Скучно, нелѣпо, все одинъ! Опять никуда и ничего не хочется!

— Вотъ посмотрите, баринъ, котёночка отъ сосѣдей принесли; не надо ли? Вы спрашивали вчера, сказала Анисья, думая развлечь его, и положила ему котёнка на колѣни.

Онъ началъ гладить котёнка: и съ котёнкомъ скучно!

— Захаръ! сказалъ онъ.

— Чего изволите? вяло отозвался Захаръ.

— Я, можетъ-быть, въ городъ переѣду, сказалъ Обломовъ.

— Куда въ городъ? Квартиры нѣтъ.

— А на Выборгскую Сторону.

— Что жъ это будетъ, съ одной дачи на другую станемъ переѣзжать? отвѣчалъ онъ.—Чего тамъ не видали? Михея Андреича, что ли?

— Да здѣсь неудобно...

— Это еще перевозиться? Господи! И тутъ умаялись совсѣмъ; да вотъ еще двухъ чашекъ не доищусь, да половой щетки; коли не Михей Андреичъ увезъ туда, такъ, того-и-гляди, пропали.

Обломовъ молчалъ. Захаръ ушелъ и тотчасъ воротился, таща за собою чемоданъ и дорожный мѣшокъ.

— А это куда дѣвать? Хотъ бы продать, что ли? сказалъ онъ, толкнувъ ногой чемоданъ.

— Что ты, съ ума сошелъ? Я на-дняхъ поѣду за границу, съ сердцемъ перебилъ Обломовъ.

— За границу! вдругъ, усмѣхнувшись, проговорилъ Захаръ.—Благо что поговорили, а то за границу!

— Что жъ тебѣ такъ странно? Поѣду да и конецъ... У меня и паспортъ готовъ, сказалъ Обломовъ.

— А кто тамъ сапоги-то съ васъ станеть снимать! про-

нически замѣтилъ Захарь:—Дѣвки-то, что ли? Да вы тамъ пропадете безъ меня!

Онъ опять усмѣхнулся, отъ чего бакенбарды и брови раздались въ стороны.

— Ты все глупости говоришь! Вынеси это и ступай! съ досадой отвѣчалъ Обломовъ.

На другой день, только-что Обломовъ проснулся въ десятомъ часу утра, Захарь, подавая ему чай, сказалъ, что когда онъ ходилъ въ булочную, такъ встрѣтилъ барышню.

— Какую барышню? спросилъ Обломовъ.

— Какую? Ильинскую барышню, Ольгу Сергѣевну.

— Ну? нетерпѣливо спросилъ Обломовъ.

— Ну, кланяться приказали, спрашивали, здоровы ли вы, что дѣлаете.

— Что жъ ты сказалъ?

— Сказалъ, что здоровы; что, молъ, ему дѣлается?... отвѣчалъ Захарь.

— Зачѣмъ же ты прибавляешь свои глупыя разсужденія? замѣтилъ Обломовъ:—„Что ему дѣлается!“ Ты почему знаешь, что мнѣ дѣлается? Ну, еще что?

— Спрашивали, гдѣ вы обѣдали вчера.

— Ну?..

— Я сказалъ, что дома, и ужинали, молъ, дома. „А развѣ онъ ужинаетъ?“ спрашиваетъ барышня-то: „Двухъ цыплятъ-молъ только скушали“...

— Дур-р-р-акъ! крѣпко произнесъ Обломовъ.

— Что за дуракъ! развѣ это не правда? сказалъ Захарь:—Вонъ я и кости, пожалуй, покажу...

— Право, дуракъ! повторилъ Обломовъ.—Ну, что-жъ она?

— Усмѣхнулись. „Что жъ такъ мало?“ примолвили послѣ.

— Вотъ дуракъ-то! твердилъ Обломовъ.—Ты бы еще



разскалъ, что ты рубашку на меня надѣваешь наыворотъ.

— Не спрашивали, такъ и не сказаъ, отвѣчалъ Захаръ.

— Что еще спрашивала?

— Спрашивали, что дѣлали эти дни.

— Ну, что жъ ты?

— Ничего, молъ, не дѣлають, лежать все.

— Ахъ!.. съ сильной досадою произнесъ Обломовъ, поднявъ кулаки къ вискамъ.—Поди вонъ! прибавилъ онъ грозно.—Если ты когда-нибудь осмѣлишься разсказывать про меня такія глупости, посмотри, что я съ тобой сдѣлаю! Какой ядъ — этотъ человѣкъ!

— Что жъ мнѣ, лгать, что ли, на старости лѣтъ? оправдывался Захаръ.

— Поди вонъ! повторилъ Илья Ильичъ.

Захару брань ничего, только бы „жалкихъ словъ“ не говорилъ баринъ.

— Я сказаъ, что вы хотите переѣхать на Выборгскую Сторону, заключилъ Захаръ.

— Ступай! повелительно крикнулъ Обломовъ.

Захаръ ушелъ и вздохнулъ на всю прихожую, а Обломовъ сталъ пить чай.

Онъ отпилъ чай и изъ огромнаго запаса булокъ и кренделей сѣлъ только одну булку, опасаясь опять нескромности Захара. Потомъ закурилъ сигару и сѣлъ къ столу, развернулъ какую-то книгу, прочелъ листъ, хотѣлъ перевернуть, книга оказалась неразрѣзанною.

Обломовъ разорвалъ листы пальцемъ: отъ этого по краямъ листа образовались фестоны, а книга чужая, Штольца, у котораго заведенъ такой строгій и скучный порядокъ, особенно на-счетъ книгъ, что не приведи Богъ! Бумаги, карандаши, всѣ мелочи—какъ положить, такъ чтобы и лежали.

Надо бы взять костяной ножикъ, да его нѣтъ; можно, конечно, спросить и столовый, но Обломовъ предпочелъ положить книгу на свое мѣсто и направиться къ дивану; только-что онъ оперся рукой въ шитую подушку, чтобъ половчѣй приладиться лечь, какъ Захаръ вошелъ въ комнату.

— А вѣдь барышня-то просила васъ придти въ этотъ... какъ его... охъ!... доложилъ онъ.

— Что жъ ты не сказалъ давеча, два часа назадъ? торопливо спросилъ Обломовъ.

— Вонъ велѣли идти, не дали досказать... возразилъ Захаръ.

— Ты губишь меня, Захаръ! произнесъ Обломовъ патетически.

„Ну, никакъ опять за свое!“ думалъ Захаръ, подставляя барину лѣвую бакенбарду и глядя въ стѣну; „по-намеднишнему... ввернетъ словцо!“

— Куда придти? спросилъ Обломовъ.

— А вонъ въ этотъ, какъ его? Да въ садъ, что ли...

— Въ паркъ? спросилъ Обломовъ.

— Въ паркъ, точно такъ, „погулять, дескать, если угодно; я тамъ буду“...

— Одѣваться!

Обломовъ избѣгалъ весь паркъ, заглядывалъ въ куртины, въ бесѣдки — нѣтъ Ольги. Онъ пошелъ по той аллеѣ, гдѣ было объясненіе, и засталъ ее тамъ, на скамьѣ, недалеко отъ того мѣста, гдѣ она сорвала и бросила вѣтку.

— Я думала, что вы ужъ не придете, сказала она ему ласково.

— Я давно ищу васъ по всему парку, отвѣчалъ онъ.

— Я знала, что вы будете искать, и нарочно сѣла здѣсь, въ этой аллеѣ: думала, что вы непременно пройдете по ней.

Онъ хотѣлъ-было спросить: „Почему вы это думали?“ но взглянулъ на нее и не спросилъ.

У ней лицо было другое, не-прежнее, когда они гуляли тутъ, а то, съ которымъ онъ оставилъ ее въ послѣдній разъ и которое задало ему такую тревогу. И ласка была какая-то сдержанная, все выраженіе лица такое сосредоточенное, такое опредѣленное; онъ видѣлъ, что въ догадки, намеки и наивные вопросы играть съ ней нельзя, что этотъ ребяческій, веселый мигъ пережить.

Многое, что недосказано, къ чему можно бы подойти съ лукавымъ вопросомъ, было между ними рѣшено безъ словъ, безъ объясненій, Богъ-знаетъ какъ, но воротиться къ тому уже нельзя.

— Что васъ не видать давно? спросила она.

Онъ молчалъ. Ему хотѣлось бы опять, какъ-нибудь стороной, дать ей понять, что тайная прелесть отношеній ихъ исчезла, что его тяготитъ эта сосредоточенность, которою она окружила себя, какъ облакомъ, будто ушла въ себя, и онъ не знаетъ, какъ ему быть, какъ держать себя съ ней.

Но онъ чувствовалъ, что малѣйшій намекъ на это вызоветъ у ней взглядъ удивленія, потомъ прибавитъ холодности въ обращеніи, можетъ-быть, и совсѣмъ пропадетъ та искра участія, которую онъ такъ неосторожно погасилъ въ самомъ началѣ. Надо ее раздуть опять, тихо и осторожно, но какъ—онъ рѣшительно не зналъ.

Онъ смутно понималъ, что она выросла и чуть-ли не выше его, что отнынѣ нѣтъ возврата къ дѣтской довѣрчивости, что передъ ними Рубиконъ, и утраченное счастье уже на другомъ берегу: надо перешагнуть.

А какъ? Ну, если онъ шагнетъ одинъ?

Она понимала яснѣе его, что въ немъ происходитъ, и потому перевѣсь былъ на ея сторонѣ. Она открыто глядѣла въ его душу, видѣла, какъ раждалось чувство на днѣ

его души, какъ играло и выходило наружу; видѣла, что съ нимъ женская хитрость, лукавство, кокетство — орудія Сонички были бы лишнія, потому-что не предстояло борьбы.

Она даже видѣла и то, что, не-смотря на ея молодость, ей принадлежитъ первая и главная роль въ этой симпатіи, что отъ него можно было ожидать только глубокаго впечатлѣнія, страстно-лѣнивой покорности, вѣчной гармоніи съ каждымъ біеніемъ ея пульса, но никакого движенія воли, никакой активной мысли.

Она мигомъ взвѣсила свою власть надъ нимъ и ей нравилась эта роль путеводной звѣзды, луча свѣта, который она разольетъ надъ стоячимъ озеромъ и отразится въ немъ. Она разнообразно торжествовала свое первенство въ этомъ поединкѣ.

Въ этой комедіи, или трагедіи, смотря по обстоятельствамъ, оба дѣйствующія лица являются почти всегда съ одинаковымъ характеромъ: мучителя или мучительницы и жертвы.

Ольга, какъ всякая женщина въ первенствующей роли, то-есть, въ роли мучительницы, конечно, менѣе другихъ и безсознательно, но не могла отказать себѣ въ удовольствіи, немного поиграть имъ по-кошачьи; иногда у ней вырвется, какъ молнія, какъ неожиданный капризъ, проблескъ чувства, а потомъ, вдругъ, опять она сосредоточится, уйдетъ въ себя; но больше и чаще всего она толкала его впередъ, дальше, зная, что онъ самъ не сдѣлаетъ ни шагу и останется неподвиженъ тамъ, гдѣ она оставитъ его.

— Вы заняты были? спросила она, вышивая какой-то лоскутокъ канвы.

„Сказалъ бы занять, да этотъ Захаръ“! простонало у него въ груди.

— Да, я читалъ кое-что, небрежно отозвался онъ.

— Что жь, романъ? спросила она и подняла на него глаза, чтобъ посмотрѣть, съ какимъ лицомъ онъ станетъ лгать.

— Нѣтъ, я романовъ почти не читаю, отвѣчалъ онъ очень-покойно:—я читалъ *Исторію открытій и изобрѣтений*.

„Слава Богу, что я пробѣжалъ сегодня листъ книги!“ подумалъ онъ.

— По-русски? спросила она.

— Нѣтъ, по-англійски.

— А вы читаете по-англійски?

— Съ трудомъ, но читаю. — А вы, не были ли гдѣ-нибудь въ городѣ? спросилъ онъ больше затѣмъ; чтобъ замѣять разговоръ о книгахъ.

— Нѣтъ, все дома. Я все здѣсь работаю, въ этой аллеѣ.

— Все здѣсь?

— Да, мнѣ очень нравится эта аллея, я благодарна вамъ, что вы мнѣ ее указали: здѣсь никто почти не ходитъ...

— Я вамъ ее не указывалъ, перебилъ онъ:—мы, помните? случайно оба встрѣтились въ ней.

— Да, въ самомъ дѣлѣ.

Они замолчали.

— У васъ ячмень совсѣмъ прошелъ? спросила она глядя ему прямо въ правый глазъ.

Онъ покраснѣлъ.

— Прошелъ теперь, слава Богу, сказалъ онъ.

— Вы примачивайте простымъ виномъ, когда у васъ зачесется глазъ, продолжала она: ячмень и не сядетъ. Это няня научила меня.

„Что это она все о ячменяхъ?“ подумалъ Обломовъ.

— Да не ужинайте, прибавила она серьезно.

„Захаръ!“ шевелилось у него въ горлѣ яростное воззваніе къ Захару.



— Стоить только поужинать хорошенько, продолжала она, не поднимая глазъ съ работы: — да полежать дня три, особенно на спинѣ, непременно сядетъ ячмень.

„Ду...р...р...акъ!“ грянуло внутри Обломова обращеніе къ Захару.

— Что это вы работаете? спросилъ онъ, чтобъ переменить разговоръ.

— Сонетку, сказала она, развертывая свитокъ канвы и показавъ ему узоръ: — барону. Хорошо?

— Да, очень хорошо, узоръ очень милъ. Это вѣтка сирени?

— Кажется... да, небрежно отвѣчала она. — Я выбрала на-угадъ, какой попался... и, покраснѣвъ немного, проворно свернула канву.

„Однако это скучно, если это такъ продолжится, если изъ нея ничего добыть нельзя,“ думалъ онъ: „другой— Штольцъ, на примѣръ, добылъ бы, а я не умѣю“.

Онъ нахмурился и сонно смотрѣлъ вокругъ. Она посмотрѣла на него, потомъ положила работу въ корзинку.

— Пойдемте до рощи, сказала она, давая ему нести корзинку, сама распустила зонтикъ,правила платье и пошла.

— Отчего вы не-веселы? спросила она.

— Не знаю, Ольга Сергѣевна. Да отчего мнѣ веселиться? И какъ?

— Занимайтесь, будьте чаще съ людьми.

— Заниматься! Заниматься можно, когда есть цѣль. Какая у меня цѣль? Нѣтъ ея.

— Цѣль — жить.

— Когда не знаешь, для чего живешь, такъ живешь какъ-нибудь, день за днемъ; радуешься, что день прошелъ, что ночь пришла, и во снѣ погрузишь скучный вопросъ о

томъ, зачѣмъ жилъ этотъ день, зачѣмъ будешь жить завтра.

Она слушала молча, съ строгимъ взглядомъ; въ сдвинутыхъ бровяхъ таилась суровость, въ линіи губъ, какъ змѣй, ползала — не то недовѣрчивость, не то пренебреженіе...

— Зачѣмъ жилъ! повторила она. — Развѣ можетъ быть чье-нибудь существованіе ненужнымъ?

— Можетъ. Напримѣръ, мое, сказалъ онъ.

— Вы до сихъ поръ не знаете, гдѣ цѣль вашей жизни? спросила она, остановясь. — Я не вѣрю: вы клевете на себя; иначе бы вы не стояли жизни...

— Я ужъ прошелъ то мѣсто, гдѣ она должна быть, и впереди больше ничего нѣтъ.

Онъ вздохнулъ, а она улыбнулась.

— Ничего нѣтъ? вопросительно повторила она, но живо, весело, со смѣхомъ, какъ-будто не вѣря ему и предвидя, что есть у него что-то впереди.

— Смѣйтесь, продолжалъ онъ: — а это такъ!

Она тихо шла вперёдъ, наклонивъ голову.

— Для чего, для кого я буду жить? говорилъ онъ, идущи за ней: — Чего искать, на что направить мысль, намѣренія? Цвѣтъ жизни опалъ, остались только шипы.

Они шли тихо; она слушала разсѣяннo, мимоходомъ сорвала вѣтку сирени и, не глядя на него, подала ему.

— Что это? спросилъ онъ, оторопѣвъ.

— Вы видите вѣтка.

— Какая вѣтка? говорилъ онъ, глядя на нее во всѣ глаза.

— Сиреневая.

— Знаю... но что она значитъ?

— Цвѣтъ жизни и...

Онъ остановился, она тоже.

— И?... повторилъ онъ вопросительно.

— Мою досаду, сказала она, глядя на него прямо, сосредоточеннымъ взглядомъ, и улыбка говорила, что она знаетъ, что дѣлаетъ.

Облако непроницаемости слетѣло съ нея. Взглядъ ея былъ говорящъ и понятенъ. Она какъ будто нарочно открыла извѣстную страницу книги и позволила прочесть заветное мѣсто.

— Стало быть, я могу надѣяться... вдругъ, радостно вспыхнувъ, сказалъ онъ.

— Всего! Но...

Она замолчала.

Онъ вдругъ воскресъ. И она, въ свою очередь, не узнала Обломова: туманное, сонное лицо мгновенно преобразилось, глаза открылись; заиграли краски на щекахъ; задвигались мысли; въ глазахъ сверкнули желанія и воля. Она тоже ясно прочла въ этой нѣмой игрѣ лица, что у Обломова мгновенно явилась цѣль жизни.

— Жизнь, жизнь опять отворяется мнѣ, говорилъ онъ, какъ въ бреду:—вотъ она, въ вашихъ глазахъ, въ улыбкѣ, въ этой вѣткѣ, въ *Casta diva*... все здѣсь...

Она покачала головой.

— Нѣтъ, не все... половина.

— Лучшая.

— Пожалуй, сказала она.

— Гдѣ же другая? Что послѣ этого еще?

— Ищите.

— Зачѣмъ?

— Чтобъ не потерять первой, досказала она, подала ему руку и они пошли домой.

Онъ то съ восторгомъ, украдкой кидалъ взглядъ на ея головку, на станъ, на кудри, то сжималъ вѣтку.

— Это все мое! Мое! задумчиво твердилъ онъ и не вѣрилъ самъ себѣ.

— Вы не переѣдете на Выборгскую Сторону? спросила она, когда онъ уходилъ домой.

Онъ засмѣялся и даже не назвалъ Захара дуракомъ.

## IX.

Съ тѣхъ поръ не было внезапныхъ перемѣнъ въ Ольгѣ. Она была ровна, покойна съ тёткой, въ обществѣ, но жила и чувствовала жизнь только съ Обломовымъ. Она уже никого не спрашивала, что ей дѣлать, какъ поступить, не ссылалась мысленно на авторитетъ Сонички.

По мѣрѣ того, какъ раскрывались передъ ней фазисы жизни, то есть чувства, она зорко наблюдала явленія, чутко прислушивалась къ голосу своего инстинкта и слегка повѣряла съ не-многими, бывшими у ней въ запасѣ наблюденіями, и шла осторожно, пытая ногой почву, на которую предстояло ступить.

Спрашивать ей было не у кого. У тётки? Но она скользить по подобнымъ вопросамъ такъ легко и ловко, что Ольгѣ никогда не удалось свести ея отзывы въ какую-нибудь сентенцію и зарубить въ памяти. Штольца нѣтъ. У Обломова? Но это какая-то Галатея, съ которой ей самой приходилось быть Пигмаліономъ.

Жизнь ея наполнилась такъ тихо, незамѣтно для всѣхъ, что она жила въ своей новой сферѣ, не возбуждая вниманія, безъ видимыхъ порывовъ и тревогъ. Она дѣлала то же, что прежде, для всѣхъ другихъ, но дѣлала все иначе.

Она ѣхала и во французскій спектакль, но содержаніе пьесы получало какую-то связь съ ея жизнью; читала книгу, и въ книгѣ неперемѣнно были строки съ искрами ея ума, кое-гдѣ мелькалъ огонь ея чувствъ, записаны были сказан-

ныя вчера слова, какъ будто авторъ подслушалъ, какъ теперь бьется у ней сердце.

Въ лѣсу тѣ же деревья, но въ шумѣ ихъ явился особенный смыслъ: между ними и ею водворилось живое согласіе. Птицы не просто трещать и щебечуть, а все что-то говорить между собой; и все говорить вокругъ, все отвѣчаетъ ея настроенію; цвѣтокъ распускается и она слышитъ будто его дыханіе.

Въ снахъ тоже появилась своя жизнь: они населились какими-то видѣніями, образами, съ которыми она иногда говорила вслухъ... они что-то ей рассказываютъ, но такъ не-ясно, что она не пойметъ, силится говорить съ ними, спросить, и тоже говорить что-то непонятное. Только Катя скажетъ ей поутру, что она бредила.

Она вспомнила предсказанія Штольца: онъ часто говорилъ ей, что она не начинала еще жить и она иногда обижалась, зачѣмъ онъ считаетъ ее за дѣвочку, тогда какъ ей двадцать лѣтъ. А теперь она поняла, что онъ былъ правъ, что она только-что начала жить.

— Вотъ, когда заиграютъ всѣ силы въ вашемъ организмѣ, тогда заиграетъ жизнь и вокругъ васъ, и вы увидите то, на что закрыты у васъ глаза теперь, услышите, чего не слышать вамъ: заиграетъ музыка нервъ, услышите шумъ сферъ, будете прислушиваться къ росту травы. Погодите, не торопитесь, придетъ само! грозилъ онъ.

Оно пришло.—Это, должно быть, силы играютъ, организмъ проснулся... говорила она его словами, чутко вслушиваясь въ небывалый трепетъ, зорко и робко вглядываясь въ каждое новое проявленіе пробуждающейся новой силы.

Она не вдалась въ мечтательность, не покорилаь внезапному трепету листьевъ, ночнымъ видѣніямъ, таинствен-



ному шопоту, когда-какъ будто кто-то ночью наклонится надъ ея ухомъ и скажетъ что-то неясное и непонятное.

— Нервы! повторить она иногда съ улыбкой, сквозь слезы, едва пересиливая страхъ и выдерживая борьбу неокрѣвшихъ нервъ съ пробуждавшимися силами. Она встанетъ съ постели, выпьетъ стаканъ воды, окроетъ окно, помашетъ себѣ въ лицо платкомъ и отрезвится отъ грѣзы наяву и во-снѣ.

А Обломовъ лишь проснется утромъ, первый образъ въ воображеніи—образъ Ольги, во весь ростъ, съ вѣткой сирени въ рукахъ. Засыпалъ онъ съ мыслью о ней, шелъ гулять, читалъ—она тутъ, тутъ.

Онъ мысленно велъ съ ней нескончаемый разговоръ и днемъ, и ночью. Къ *Исторіи открытій и изобрѣтеній* онъ все примѣшивалъ какія-нибудь новыя открытія въ науку или въ характеръ Ольги, изобрѣталъ случай нечаянно встрѣтиться съ ней, послать книгу, сдѣлать сюрпризъ.

Говоря съ ней при свиданіи, онъ продолжалъ разговоръ дома, такъ-что иногда войдетъ Захаръ, а онъ чрезвычайно-нѣжнымъ и мягкимъ тономъ, какимъ мысленно разговаривалъ съ Ольгой, скажетъ ему: — Ты, лысый чортъ, мнѣ давеча опять нечищенные сапоги подаль: смотри, чтобъ я съ тобой не раздѣлся...

Но беззаботность отлетѣла отъ него съ той минуты, какъ она въ первый разъ пѣла ему. Онъ уже жилъ не прежней жизнью, когда ему все равно было, лежать-ли на спинѣ и смотрѣть въ стѣну, сидитъ ли у него Алексѣевъ, или онъ самъ сидитъ у Ивана Герасимовича, въ тѣ дни, когда онъ не ждалъ никого и ничего, ни отъ дня, ни отъ ночи.

Теперь и день, и ночь, всякій часъ утра и вечера принималъ свой образъ и былъ или исполненъ радужнаго сіянія, или безцвѣтенъ и сумраченъ, смотря по тому, напол-

нялся ли этотъ часъ присутствіемъ Ольги, или протекалъ безъ нея и, слѣдовательно, протекалъ вяло и скучно.

Все это отражалось въ его существѣ: въ головѣ у него была сѣть ежедневныхъ, ежеминутныхъ соображеній, догадокъ, предвидѣній, мученій неизвѣстности, и все отъ вопросовъ увидитъ или не увидитъ онъ ее? Что она скажетъ и сдѣлаетъ? Какъ посмотреть, какое дастъ ему порученіе, о чемъ спросить, будетъ довольна или нѣтъ? Всѣ эти соображенія сдѣлались насущными вопросами его жизни.

„Ахъ, если бъ испытывать только эту теплоту любви, да не испытывать ея тревогъ!“ мечталъ онъ. „Нѣтъ, жизнь трогаешь, куда ни уйди, такъ и жжётъ! Сколько новаго движенія вдругъ втѣснилось въ нее, занятій! Любовь—пре-трудная школа жизни!“

Онъ ужъ прочелъ нѣсколько книгъ: Ольга просила его рассказывать содержаніе и съ неимовѣрнымъ терпѣніемъ слушала его рассказъ. Онъ написалъ нѣсколько писемъ въ деревню, смѣнилъ старосту и вошелъ въ сношенія съ однимъ изъ сосѣдей, черезъ посредство Штольца. Онъ бы даже поѣхалъ въ деревню, еслибъ считалъ возможнымъ уѣхать отъ Ольги.

Онъ не ужиналъ и вотъ уже двѣ недѣли не знаетъ, что значить прилечь днемъ.

Въ двѣ-три недѣли они объѣздили всѣ петербургскія окрестности. Тѣтка съ Ольгой, баронъ и онъ являлись на загородныхъ концертахъ, на большихъ праздникахъ. Поговариваютъ съѣздить въ Финляндію, на Иматру.

Что касается Обломова, онъ дальше парка никуда бы не тронулся, да Ольга все придумываетъ и лишь-только онъ, на приглашеніе куда-нибудь поѣхать, замнется отвѣтомъ, навѣрное поѣздка предпринималось. И тогда не было конца улыбкамъ Ольги. На пять верстъ кругомъ дачи не бы-

ло пригорка, на который бы онъ не влѣзалъ по нѣскольку разъ.

Между-тѣмъ симпатія ихъ росла, развивалась и проявлялась по своимъ непреложнымъ законамъ. Ольга расцвѣтала вмѣстѣ съ чувствомъ. Въ глазахъ прибавилось свѣта, въ движеніяхъ граціи; грудь ея такъ пышно развилась, такъ мѣрно волновалась.

— Ты похорошѣла на дачѣ, Ольга, говорила ей тѣтка. Въ улыбкѣ барона выражался тотъ же комплиментъ.

Ольга, краснѣя, клала голову на плечо тѣтки; та ласково трепала ее по щекѣ.

— Ольга, Ольга! осторожно, почти-шопотомъ, кликалъ однажды Обломовъ Ольгу внизу горы, гдѣ она назначила ему сойтись, чтобъ идти гулять.

Нѣтъ отвѣта. Онъ посмотрѣлъ на часы.

— Ольга Сергѣевна! вслухъ прибавилъ потомъ. Молчаніе.

Ольга сидѣла на горѣ, слышала зовъ и, сдерживая смѣхъ, молчала. Ей хотѣлось заставить его взойти на гору.

— Ольга Сергѣевна! взывалъ онъ, пробравшись между кустами до половины горы и заглядывая наверхъ. „Въ половинѣ шестаго назначила она:“ говорилъ онъ про себя.

Она не удержала смѣха.

— Ольга, Ольга! Ахъ, да вы тамъ! сказалъ онъ и полѣзъ на гору.

— Ухъ! Охота же вамъ прятаться на горѣ! — Онъ сѣлъ подлѣ нея: — чтобъ помучить меня, вы и сами мучитесь.

— Откуда вы? Прямо изъ дома? спросила она.

— Нѣтъ, я къ вамъ зашелъ; тамъ сказали, что вы ушли.

— Что вы сегодня дѣлали? спросила она.

— Сегодня...

— Бранились съ Захаромъ? досказала она.

Онъ засмѣялся этому, какъ дѣлу совершенно-невозможному.

— Нѣтъ, я читалъ Ревье. Но, послушайте, Ольга...

Но онъ ничего не сказалъ, сѣлъ только подлѣ нея и погрузился въ созерцаніе ея профиля, головы, движенія руки взадъ и впередъ, какъ она продѣвала иглу въ канву и вытаскивала назадъ. Онъ наводилъ не нее взглядъ, какъ зажигательное стекло, и не могъ отвести.

Самъ онъ не двигался, только взглядъ поворачивался, то вправо, то влѣво, то внизъ, смотря потому, какъ двигалась рука. Въ немъ была дѣятельная работа: усиленное кровообращеніе, удвоенное біеніе пульса и кипѣніе у сердца — все это дѣйствовало такъ сильно, что онъ дышалъ медленно и тяжело, какъ дышутъ передъ казнью и въ моментъ высочайшей нѣги духа.

Онъ былъ нѣмъ и не могъ даже пошевелиться, только влажные отъ умиленія глаза неотразимо были устремлены на нее.

Она по временамъ кидала на него глубокій взглядъ, читала немудрѣный смыслъ, начертанный на его лицѣ, и думала: „Боже мой! Какъ онъ любитъ! Какъ онъ нѣженъ, какъ нѣженъ!“ И любовалась, гордилась этимъ поверженнымъ къ ногамъ ея, ея же силою, человѣкомъ!

Моментъ символическихъ намековъ, знаменательныхъ улыбокъ, сиреневыхъ вѣтокъ прошелъ невозвратно. Любовь дѣлалась строже, взыскательнѣе, стала превращаться въ какую-то обязанность; явились взаимныя права. Обѣ стороны открывались болѣе-и-болѣе: недоразумѣнія, сомнѣнія исчезли, или уступали мѣсто болѣе-яснымъ и положительнымъ вопросамъ.

Она все колола его легкими сарказмами за праздно убитые годы, изрекала суровый приговоръ, казнила его апатію



глубже, дѣйствительнѣе, нежели Штольцъ; потомъ, по мѣрѣ сближенія съ нимъ, отъ сарказмовъ надъ вялымъ и дряблымъ существованіемъ Обломова, она перешла къ деспотическому проявленію воли, отважно напомнила ему цѣль жизни и обязанностей и строго требовала движенія, безпрестанно вызывала наружу его умъ, то запутывая его въ тонкій, жизненный, знакомый ей вопросъ, то сама шла къ нему съ вопросомъ о чемъ-нибудь неясномъ, недоступномъ ей.

И онъ бился, ломалъ голову, изворачивался, чтобъ не упасть тяжело въ глазахъ ея, или чтобъ помочь ей разъяснить какой-нибудь узелъ, не то такъ геройски разсѣчь его.

Вся ея женская тактика была проникнута нѣжной симпатіей; всѣ его стремленія поспѣть за движеніемъ ея ума дышали страстью.

Но чаще онъ изнемогалъ, ложился у ногъ ея, прикладывалъ руку къ сердцу и слушалъ, какъ оно бьется, не сводя съ нея неподвижнаго, удивленнаго, восхищеннаго взгляда.

„Какъ онъ любитъ меня!“ твердила она въ эти минуты, любуясь имъ. Если же иногда замѣчала она затаившіяся прежнія черты въ душѣ Обломова — а она глубоко умѣла смотрѣть въ нее — малѣйшую усталость, чуть-замѣтную дремоту жизни, на него лились упреки, къ которымъ изрѣдка примѣшивалась горечь раскаянія, боязнь ошибки.

Иногда только соберется онъ зѣвнуть, откроетъ ротъ — его поражаетъ ея изумленный взглядъ: онъ мгновенно сомкнетъ ротъ, такъ-что зубы стукнутъ. Она преслѣдовала малѣйшую тѣнь сонливости даже у него на лицѣ. Она спрашивала, не-только что онъ дѣлаетъ, но и что будетъ дѣлать.

Еще сильнѣе, нежели отъ упрековъ, просыпалась въ немъ бодрость, когда онъ замѣчалъ, что отъ его усталости



улавала и она, дѣлалась небрежною, холодною. Тогда въ немъ появлялась лихорадка жизни, силъ, дѣятельности, и тѣнь исчезала опять, и симпатія была опять сильнымъ и яснымъ ключомъ.

Но всѣ эти заботы не выходили пока изъ магическаго круга любви; дѣятельность его была отрицательная: онъ не спитъ, читаетъ, иногда подумываетъ писать и планъ, много ходить, много ѣздить. Дальнѣйшее же направленіе, самая мысль жизни, дѣло — остается еще въ намѣреніяхъ.

— Какой еще жизни и дѣятельности хочетъ Андрей? говорилъ Обломовъ, тараща глаза послѣ обѣда, чтобъ не заснуть:—Развѣ это не жизнь? Развѣ любовь не служба? Попробоваль бы онъ! Каждый день—верстъ по десяти пѣшкомъ! Вчера ночеваль въ городѣ, въ дрянномъ трактирѣ, одѣтый, только сапоги снялъ, и Захара не было — все по милости ея порученій!

Всего мучительнѣе было для него, когда Ольга предложить ему специальный вопросъ и требуетъ отъ него, какъ отъ какого-нибудь профессора, полного удовлетворенія; а это случалось съ ней часто, вовсе не изъ педантизма, а просто изъ желанія знать, въ чемъ дѣло. Она даже забывала часто свои цѣли относительно Обломова, а увлекалась самымъ вопросомъ.

— Зачѣмъ насъ не учать этому? съ задумчивой досадою говорила она, иногда съ жадностью, урывками, слушая разговоръ о чемъ-нибудь, что привыкли считать ненужнымъ женщинѣ.

Однажды вдругъ приступила къ нему съ вопросами о двойныхъ звѣздахъ: онъ имѣлъ неосторожность сослаться на Гершеля и былъ посланъ въ городъ, долженъ былъ прочесть книгу и рассказывать ей, пока она не удовлетворилась.

Въ другой разъ, опять по неосторожности, вырвалось у него, въ разговорѣ съ барономъ, слова два о школахъ живописи — опять ему работа на недѣлю: читать, рассказывать; да потомъ еще поѣхали въ эрмитажъ: и тамъ еще онъ долженъ былъ дѣломъ подверждать ей прочитанное.

Если онъ скажетъ что-нибудь на обумъ, она сейчасъ увидитъ, да тутъ-то и пристанетъ.

Потомъ онъ долженъ былъ съ недѣлю ѣздить по магазинамъ, отыскивать гравюры съ лучшихъ картинъ.

Бѣдный Обломовъ то повторялъ зады, то бросался въ книжныя лавки за новыми увражами, и иногда цѣлую ночь не спалъ, рылся, читалъ, чтобъ утромъ, будто нечаянно, отвѣчать на вчерашній вопросъ знаніемъ, вынутымъ изъ архива памяти.

Она предлагала эти вопросы не съ женскою разсѣянностью, не по внушенію минутнаго каприза знать то или другое, а настойчиво, съ нетерпѣніемъ, и въ случаѣ молчанія Обломова казнила его продолжительнымъ, испытующимъ взглядомъ. Какъ онъ дрожалъ отъ этого взгляда!

— Что вы не скажете ничего, молчите? спросила она.  
— Можно подумать, что вамъ скучно.

— Ахъ! произнесъ онъ, какъ-будто приходя въ себя отъ обморока:—Какъ я люблю васъ!

— Въ самомъ дѣлѣ? А не спроси я, оно и непохоже, сказала она.

— Да неужели вы не чувствуете, что во мнѣ происходитъ? началъ онъ. — Знаете, мнѣ даже трудно говорить. Вотъ здѣсь... дайте руку, что-то мѣшаетъ, какъ-будто лежитъ что-нибудь тяжелое, точно камень, какъ бываетъ въ глубокомъ горѣ, а между тѣмъ, странно, и въ горѣ, и въ счастья, въ организмѣ одинъ и тотъ же процессъ: тяжело, почти больно дышать, хочется плакать! Еслибъ я запла-

каль, мнѣ бы также, какъ въ горѣ, отъ слезъ стало бы легко...

Она поглядѣла на него молча, какъ-будто повѣряла слова его, сравнила съ тѣмъ, что у него написано на лицѣ, и улыбнулась: повѣрка оказалась удовлетворительною. На лицѣ ея разлито было дыханіе счастья, но мирнаго, которое, казалось, ничѣмъ не возмутишь. Видно, что у ней не было тяжело на сердцѣ, а только хорошо, какъ въ природѣ въ это тихое утро.

— Что со мной? въ раздумѣ спросилъ будто себя Обломовъ.

— Сказать что?

— Скажите.

— Вы... влюблены.

— Да, конечно, подтвердилъ онъ, отрывая ея руку отъ канвы и не поцѣловаль, а только крѣпко прижалъ ея пальцы къ губамъ и располагаль, кажется, держать такъ долго.

Она пробовала тихонько отнять, но онъ крѣпко держаль.

— Ну, пустите, довольно, сказала она.

— А вы? спросилъ онъ:—Вы... не влюблены...

— Влюблена, нѣтъ... я не люблю этого: я васъ люблю! сказала она и поглядѣла на него долго, какъ-будто повѣряла и себя, точно ли она любить.

— Лю... блю! произнесъ Обломовъ: — Но вѣдь любить можно мать, отца, няньку, даже собаченку: все это покрывается общимъ, собирательнымъ понятіемъ „люблю“, какъ старымъ...

— Халатомъ? сказала она, засмѣявшись. — А проросъ, гдѣ вашъ халатъ?

— Какой халатъ? У меня никакого не было.

Она посмотрѣла на него съ улыбкой упрека.

— Вотъ вы о старомъ халатѣ! сказалъ онъ:—Я жду, душа замерла у меня отъ нетерпѣнія слышать, какъ изъ серд-

ца у васъ порывается чувство, какимъ именемъ назовете вы эти порывы, а вы... Богъ съ вами Ольга! Да, я влюбленъ въ васъ и говорю, что безъ этого нѣтъ и прямой любви: ни въ отца, ни въ мать, ни въ няньку не влюбляются, а любятъ ихъ...

— Не знаю, говорила она задумчиво, какъ будто вникая въ себя и стараясь уловить, что въ ней происходитъ.— Не знаю, влюблена ли я въ васъ; если нѣтъ, то, можетъ быть, не наступила еще минута; знаю только одно, что я такъ не любила ни отца, ни мать, ни няньку...

— Какая же разница? Чувствуете ли вы что нибудь особенное!.. добивался онъ.

— А вамъ хочется знать? спросила она лукаво.

— Да, да, да! Неужели у васъ нѣтъ потребности высказаться?

— А зачѣмъ вамъ хочется знать?

— Чтобъ поминутно жить этимъ: сегодня, всю ночь, завтра—до новаго свиданія... Я только тѣмъ и живу.

— Вотъ видите, вамъ нужно обновлять каждый день запасъ вашей нѣжности! Вотъ гдѣ разница между влюбленнымъ и любящимъ. Я...

— Вы?.. нетерпѣливо ждалъ онъ.

— Я люблю иначе, сказала она, опрокидываясь спиной на скамью и блуждая глазами въ несущихся облакахъ.— Мнѣ безъ васъ скучно; расставаться съ вами не надолго—жаль, надолго—больно. Я однажды навсегда узнала, увидѣла и вѣрю, что вы меня любите—и счастлива, хоть не повторяйте мнѣ никогда, что любите меня. Больше и лучше любить я не умѣю.

„Это слова... какъ будто Корделии!“ подумалъ Обломовъ, глядя на Ольгу страстно...

— Умрете... вы, съ запинкой продолжала она: — я буду носить вѣчный трауръ по васъ и никогда болѣе не улыб-

нусь въ жизни. Полюбите другую—роптать, проклинать не стану, а про себя пожелаю вамъ счастья.., Для меня любовь эта—все равно, что... жизнь, а жизнь...

Она искала выраженія.

— Что-жь жизнь, по вашему? спросилъ Обломовъ.

— Жизнь—долгъ, обязанность, слѣдовательно, любовь—тоже долгъ: мнѣ какъ будто Богъ послалъ ее, досказала она, поднявъ глаза къ небу:—и велѣлъ любить.

— Корделія! вслухъ произнесъ Обломовъ. — И ей двадцать одинъ годъ! Такъ вотъ что любовь по вашему! прибавилъ онъ въ раздумьи.

— Да, и у меня, кажется, достанетъ силъ прожить и пролюбить всю жизнь...

„Кто-жь внушилъ ей это!“ думалъ Обломовъ, глядя на нее чуть не съ благоговѣніемъ: „Не путемъ же опыта, истязаній, огня и дыма дошла она до этого яснаго и простаго пониманія жизни и любви“.

— А есть радости живыя, есть страсти? заговорилъ онъ.

— Не знаю, сказала она:—я не испытала и не понимаю, что это такое.

— О, какъ я понимаю теперь!

— Можетъ быть, и я современемъ испытаю, можетъ быть, и у меня будутъ тѣ же порывы, какъ у васъ, такъ же буду глядѣть при встрѣчѣ на васъ и не вѣрить, точно ли вы передо мной... А это должно быть очень смѣшно! весело прибавила она:—Какіе вы глаза иногда дѣлаете: я думаю, ma tante замѣчаетъ.

— Въ чемъ же счастье у васъ въ любви, спросилъ онъ —если у васъ нѣтъ тѣхъ живыхъ радостей, какія испытываю я?...

— Въ чемъ? А вотъ въ чемъ! говорила она, указывая на него, на себя, на окружавшее ихъ уединеніе:—Развѣ это не счастье, развѣ я жила когда-нибудь такъ? Прежде я не



просидѣла бы здѣсь и четверти часа одна, безъ книги, безъ музыки, между этими деревьями. Говорить съ мужчиной, кромѣ Андрея Ивановича, мнѣ было скучно, не о чемъ: я все думала, какъ бы остаться одной... А теперь... и молчать вдвоемъ весело!

Она повела глазами вокругъ, по деревьямъ, по травѣ, потомъ остановила ихъ на немъ, улыбнулась и подала ему руку.

— Развѣ мнѣ не будетъ больно ужо, когда вы будете уходить? прибавила она: — Развѣ я не стану торопиться поскорѣй лечь спать, чтобъ заснуть и не видать скучной ночи? Развѣ завтра не пошлю къ вамъ утромъ? Развѣ...

Съ каждымъ „развѣ“, лицо Обломова все расцвѣтало, взглядъ наполнялся лучами.

— Да, да, повторялъ онъ:—я тоже жду утра, и мнѣ скучна ночь, и я завтра пошлю къ вамъ не за дѣломъ, а чтобъ только произнести лишній разъ и услышать, какъ раздастся ваше имя, узнать отъ людей какую-нибудь подробность о васъ, позавидовать, что они ужъ васъ видѣли... Мы думаемъ, ждемъ, живемъ и надѣемся одинаково. Простите, Ольга, мои сомнѣнія: я убѣждаюсь, что вы любите меня, какъ не любили ни отца, ни тѣтку, ни...

— Ни собаченку, сказала она и засмѣялась.

— Вѣрьте же мнѣ, заключила она:—какъ я вамъ вѣрю, и не сомнѣвайтесь, не тревожьте пустыми сомнѣніями этого счастья, а то оно улетитъ. Что я разъ назвала своимъ, того уже не отдамъ назадъ, развѣ отнимутъ. Я это знаю, нужды нѣтъ, что я молода, но... Знаете ли, сказала она, съ увѣренностью въ голосъ:—въ мѣсяцъ, съ тѣхъ поръ, какъ знаю васъ, я много передумала и испытала, какъ будто прочла большую книгу, такъ, про себя, по-немногу... Не сомнѣвайтесь же...

— Не могу не сомнѣваться, перебилъ онъ:—нетребуйте

этого. Теперь, при васъ, я увѣренъ во всемъ: — вашъ взглядъ, голосъ, все говоритъ. Вы смотрите на меня, какъ-будто говорите: мнѣ словъ не надо, я умѣю читать ваши взгляды. Но когда васъ нѣтъ, начинается такая мучительная игра въ сомнѣнія, въ вопросы, и мнѣ опять надо бѣжать къ вамъ, опять взглянуть на васъ, безъ этого я не вѣрю. Что это?

— А я вѣрю вамъ: отчего же? спросила она.

— Еще бы вы не вѣрили! Передъ вами сумасшедшій, зараженный страстью! Въ глазахъ моихъ вы видите, я думаю, себя, какъ въ зеркалѣ. Притомъ вамъ двадцать лѣтъ; посмотрите на себя: можетъ ли мужчина, встрѣтя васъ, не заплатить вамъ дань удивленія... хотя взглядомъ? А знать васъ, слушать, глядѣть на васъ подолгу, любить — о, да тутъ съ ума сойдешь! А вы такъ ровны, покойны; и если пройдутъ сутки, двое, и я не услышу отъ васъ „люблю...“ здѣсь начинается тревога...

Онъ указалъ на сердце.

— Люблю, люблю, люблю—вотъ вамъ на трое сутокъ запаса! сказала она, вставая со скамьи.

— Вы все шутите, а мнѣ-то какво! вздохнувъ замѣтилъ онъ, спускаясь съ нею съ горы.

Такъ разыгрывался между ними все тотъ же мотивъ въ разнообразныхъ варьяціяхъ. Свиданія, разговоры—все это была одна нѣснь, одни звуки, одинъ свѣтъ, который горѣлъ ярко и только преломлялись и дробились лучи его, на розовые, на зеленые, на палевые, и трепетали въ окружавшей ихъ атмосферѣ. Каждый день и часъ приносилъ новые звуки и лучи, но свѣтъ горѣлъ одинъ, мотивъ звучалъ все тотъ же.

И онъ, и она прислушивались къ этимъ звукамъ, улавляли ихъ и спѣшили выпѣвать, что каждый слышитъ, другъ передъ другомъ, не подозревая, что завтра зазвучатъ дру-

гіе звуки, явятся иные лучи, и забывая на другой день, что вчера было пѣніе другое.

Она одѣвала изліянія сердца въ тѣ краски, какими горѣло ея воображеніе въ настоящій моментъ, и вѣровала, что они вѣрны природѣ, и спѣшила, въ невинномъ и безсознательномъ кокетствѣ, явиться въ прекрасномъ уборѣ передъ глазами своего друга.

Онъ вѣровалъ еще больше въ эти волшебные звуки, въ обаятельный свѣтъ и спѣшилъ предстать предъ ней во всеоружіи страсти, показать ей весь блескъ и всю силу огня, который пожиралъ его душу.

Они не лгали ни передъ собой, ни другъ другу: они выдавали то, что говорило сердце, а голосъ его проходилъ черезъ воображеніе.

Обломову нужды въ-сущности не было, являлась ли Ольга Корделіей и осталась ли бы вѣрна этому образу, или пошла бы новой тропой и преобразилась въ другое видѣніе, лишь бы она являлась въ тѣхъ же краскахъ и лучахъ, въ какихъ она жила въ его сердцѣ, лишь бы ему было хорошо.

И Ольга не справлялась, подниметь ли страстный другъ ея перчатку, еслибъ она бросила ее въ пасть ко льву, бросится ли для нея въ бездну, лишь бы она видѣла симптомы этой страсти, лишь бы онъ оставался вѣренъ идеалу мужчины, и притомъ мужчины, просыпающагося чрезъ нее къ жизни, лишь бы отъ луча ея взгляда, отъ ея улыбки, горѣлъ огонь бодрости въ немъ и онъ не переставалъ бы видѣть въ ней цѣль жизни.

И потому, въ мелькнувшемъ образѣ Корделіи, въ огнѣ страсти Обломова, отразилось только одно мгновеніе, одно эфемерное дыханіе любви, одно ея утро, одинъ прихотливый узоръ. А завтра, завтра блеснетъ уже другое, можетъ-быть, такое же прекрасное, но все-таки другое...

Х.

Обломовъ былъ въ томъ состояніи, когда человѣкъ только-что проводилъ глазами закатившееся лѣтнее солнце и наслаждается его румяными слѣдами, не отрывая взгляда отъ зари, не оборачиваясь назадъ, откуда выходитъ ночь, думая только о возвращеніи на завтра тепла и свѣта.

Онъ лежалъ на спинѣ и наслаждался послѣдними слѣдами вчерашняго свиданія. „Люблю, люблю, люблю“ дрожало еще въ его ушахъ лучше всякаго пѣнія Ольги; еще на немъ покоились послѣдніе лучи ея глубокаго взгляда. Онъ дочитывалъ въ немъ смыслъ, опредѣлялъ степень ея любви и сталъ-было забываться сномъ, какъ вдругъ...

Завтра утромъ Обломовъ всталъ блѣдный и мрачный; на лицѣ слѣды безсонницы; лобъ весь въ морщинахъ; въ глазахъ нѣтъ огня, нѣтъ желаній. Гордость, веселый, бодрый взглядъ, умѣренная, сознательная торопливость движеній занятаго человѣка—все пропало.

Онъ вяло напился чаю, не тронулъ ни одной книги, не присѣлъ къ столу, задумчиво закурилъ сигару и сѣлъ на диванъ. Прежде бы онъ легъ, но теперь отвыкъ и его даже не тянуло къ подушкѣ; однакожъ онъ уперся локтемъ въ нее—призракъ, намекавшій на прежнія наклонности.

Онъ былъ мраченъ, иногда вздыхалъ, вдругъ пожималъ плечами, качалъ, съ сокрушеніемъ, головой.

Въ немъ, что-то сильно работаетъ, но не любовь. Образъ Ольги предъ нимъ, но онъ носится будто въ дали, въ туманѣ, безъ лучей, какъ чужой ему; онъ смотритъ на него болѣзненнымъ взглядомъ и вздыхаетъ.

„Живи, какъ Богъ велитъ, а не какъ хочется—правило мудрое, но...“ И онъ задумался.

„Да, нельзя жить, какъ хочется—это ясно“, началъ го-



ворить въ немъ какой-то угрюмый, строптивый голосъ: „впадешь въ хаосъ противорѣчій, которыхъ не распутаетъ одинъ человѣческій умъ, какъ онъ ни глубокъ, какъ ни дерзокъ! Вчера пожелалъ, сегодня достигаешь желаемого страстно, до изнеможенія, а послѣ-завтра краснѣешь, что пожелалъ, потомъ клянeshь жизнь, зачѣмъ исполнилось—вѣдь вотъ что выходитъ отъ самостоятельнаго и дерзкаго шаганія въ жизни, отъ своевольнаго *хочу*. Надо идти ощупью, на многое закрывать глаза и не бредить счастьемъ, не смѣть роптать, что оно ускользнетъ—вотъ жизнь! Кто выдумалъ, что она—счастье, наслажденіе? Безумцы! „Жизнь есть жизнь, долгъ“, говоритъ Ольга, „обязанность, а обязанность бываетъ тяжела. Исполнимъ же долгъ...“ Онъ вздохнулъ.

— Не увидимся съ Ольгой... Боже мой! Ты открылъ мнѣ глаза и указалъ долгъ,—говорилъ онъ, глядя въ небо: гдѣ же взять силы? Разстаться! Еще есть возможность теперь, хотя съ болью, зато послѣ не будешь клясть себя, зачѣмъ не разстался? А отъ нея сейчасъ придутъ, она хотѣла прислать... Она не ожидаетъ...

Что за причина? Какой вѣтеръ вдругъ подулъ на Обломова? Какія облака нанесъ? И отъ чего онъ поднимаетъ такое печальное иго? А, кажется, вчера еще онъ глядѣлъ въ душу Ольги и видѣлъ тамъ свѣтлый міръ и свѣтлую судьбу, прочиталъ свой и ея гороскопъ. Что же случилось?

Должно быть, онъ поужиналъ, или полежалъ на спинѣ, и поэтическое настроеніе уступило мѣсто какимъ-то ужасамъ.

Часто случается заснуть лѣтомъ въ тихій, безоблачный вечеръ, съ мерцающими звѣздами, и думать, какъ завтра будетъ хорошо поле, при утреннихъ свѣтлыхъ краскахъ! Какъ весело углубиться въ чащу лѣса и прятаться отъ жа-



ра!.. И вдругъ просыпаешься отъ стука дождя, отъ сѣрыхъ печальныхъ облаковъ; холодно, сыро...

Обломовъ съ вечера, по обыкновенію, прислушивался къ біенію своего сердца, потомъ ощупалъ его руками, повѣрилъ, увеличилась ли отвердѣлость тамъ, наконецъ углубился въ анализъ своего счастья, и вдругъ попалъ въ каплю горечи и отравился.

Отрава подѣйствовала сильно и быстро. Онъ пробѣжалъ мысленно всю свою жизнь: въ сотый разъ раскаяніе и позднее сожалѣніе о минувшемъ подступило къ сердцу. Онъ представилъ себѣ, что-бъ онъ былъ теперь, еслибъ шелъ бодро впередъ, какъ бы жилъ полнѣе и многостороннѣе, еслибъ былъ дѣятеленъ, и перешелъ къ вопросу, что онъ теперь и какъ могла, какъ можетъ полюбить его Ольга, и за что?

Не ошибка ли это? вдругъ мелькнуло у него въ умѣ, какъ молнія, и молнія эта попала въ самое сердце и разбила его. Онъ застоналъ. „Ошибка! да... вотъ что!“ ворочалось у него въ головѣ.

„Люблю, люблю, люблю“ раздалось вдругъ опять въ памяти, и сердце начинало согрѣваться, но вдругъ опять похолодѣло. И это троекратное „люблю“ Ольги— что это? Обманъ ея глазъ, лукавый шопотъ еще празднаго сердца; не любовь, а только предчувствіе любви!

Этотъ голосъ когда нибудь раздастся, но такъ сильно зазвучитъ, такимъ грянетъ аккордомъ, что весь міръ встрепенется! Узнаетъ и тѣтка, и баронъ, и далеко раздастся гулъ отъ этого голоса! Не станетъ то чувство пробираться такъ тихо, какъ ручей, прячась въ травѣ, съ едва-слышнымъ журчаньемъ.

Она любитъ теперь, какъ вышиваетъ по канвѣ: тихо, лѣниво выходитъ узоръ, она еще лѣнивѣе разворачиваетъ его, любитъ, потомъ положить и забудетъ. Да, это толь-

ко приготовленіе къ любви, опытъ, а онъ—субъектъ, который подвернулся первый, немного-сносный, для опыта, по случаю...

Вѣдь случай свелъ и сблизилъ ихъ. Она бы его не замѣтила: Штольцъ указалъ на него, заразилъ молодое, впечатлительное сердце своимъ участіемъ, явилось состраданіе къ его положенію, самолюбивая забота стряхнуть сонъ съ лѣнивой души, потомъ оставить ее.

— Вотъ оно что! съ ужасомъ говорилъ онъ, вставая съ постели и зажигая дрожащей рукой свѣчку.— Больше ничего тутъ нѣтъ и не было! Она готова была къ воспріятію любви, сердце ея ждало чутко, и онъ встрѣтился нечаянно, попалъ ошибкой... Другой только явится — и она съ ужасомъ отрезвится отъ ошибки! Какъ она взглянетъ тогда на него, какъ отвернется... ужасно! Я похищаю чужое! Я—воръ! Что я дѣлаю, что я дѣлаю? Какъ я ослѣпъ!—Боже мой!

Онъ посмотрѣлъ въ зеркало: блѣденъ, желтъ, глаза тусклые. Онъ вспомнилъ тѣхъ молодыхъ счастливецъ, съ подернутымъ влагой, задумчивымъ, но сильнымъ и глубокимъ взглядомъ, какъ у нея, съ трепещущей искрой въ глазахъ, съ увѣренностью на побѣду въ улыбкѣ, съ такой бодрой походкой, съ звучнымъ голосомъ. И онъ дождется, когда одинъ изъ нихъ явится: она вспыхнетъ вдругъ, взглянетъ на него, Обломова, и... захохочетъ!

Онъ опять поглядѣлъ въ зеркало.—Этакихъ не любятъ! сказалъ онъ.

Потомъ легъ и припалъ лицомъ къ подушкѣ.—Прощай, Ольга, будь счастлива, заключилъ онъ.

— Захаръ! крикнулъ онъ утромъ.

— Если отъ Ильинскихъ придетъ человѣкъ за мной, скажи, что меня дома нѣтъ, въ городъ уѣхалъ.

— Слушаю.

„Да... нѣтъ, я лучше напишу къ ней“, сказалъ онъ самъ-себѣ: „а то дико покажется ей, что я вдругъ пропалъ. Объясненіе необходимо“.

Онъ сѣлъ къ столу и началъ писать быстро, съ жаромъ, съ лихорадочной поспѣшностью, не такъ, какъ, въ началѣ мая, писалъ къ домовому хозяину. Ни разу не произошло близкой и непріятной встрѣчи двухъ *которыхъ* и двухъ *что*.

„Вамъ странно, Ольга Сергѣевна (писалъ онъ) вмѣсто меня самого, получить это письмо, когда мы такъ часто видимся. Прочитайте до конца, и вы увидите, что мнѣ иначе поступить нельзя. Надо было бы начать съ этого письма: тогда мы оба избавились бы многихъ упрековъ совѣсти впереди; но и теперь не поздно. Мы полюбили другъ друга такъ внезапно, такъ быстро, какъ-будто оба вдругъ сдѣлались больны, и это мнѣ мѣшало очнуться ранѣе. Притомъ, глядя на васъ, слушая васъ по цѣлымъ часамъ, кто бы добровольно захотѣлъ принимать на себя тяжелую обязанность отрезвляться отъ очарованія? Гдѣ напасешься на каждый мигъ оглядки и силы воли, чтобъ остановиться у всякой покатости и не увлечься по ея склону? И я всякій день думалъ: „дальше не увлекусь, я останавлиюсь: отъ меня зависитъ“ и увлекся, и теперь настаетъ борьба, въ которой требую вашей помощи. Я только сегодня, въ эту ночь, понялъ, какъ быстро скользятъ ноги мои: вчера только удалось мнѣ заглянуть поглубже въ пропасть, куда я падаю, и я рѣшился остановиться.“

Я говорю только о себѣ — не изъ эгоизма, а потому, что, когда я буду лежать на днѣ этой пропасти, вы все будете, какъ чистый ангелъ, летать высоко, и не знаю, захотите ли бросить въ нее взглядъ. Послушайте, безъ всякихъ намековъ, скажу прямо и просто: вы меня не любите и не можете любить. Послушайтесь моей опытности и по-

вѣрьте безусловно. Вѣдь мое сердце начало биться давно: положимъ, билось фальшиво, не впопадъ, но это самое научило меня различать его правильное бѣненіе отъ случайнаго. Вамъ нельзя, а мнѣ можно и должно знать, гдѣ истина, гдѣ заблужденіе, и на мнѣ лежитъ обязанность предостеречь того, кто еще не успѣлъ узнать этого. И вотъ я предостерегаю васъ: вы въ заблужденіи, оглянитесь!

„Пока между нами любовь появилась въ видѣ легкаго, улыбающагося видѣнія, пока она звучала въ *Casta diva*, носилась въ запахѣ сиреневой вѣтки, въ невысказанномъ участіи, въ стыдливомъ взглядѣ, я не довѣрялъ ей, принимая ее за игру воображенія и шопотъ самолюбія. Но шалости прошли; я сталъ боленъ любовью, почувствовалъ симптомы страсти; вы стали задумчивы, серьезны; отдали мнѣ ваши досуги; у васъ заговорили нервы; вы начали волноваться, и тогда, то-есть теперь только, я испугался и почувствовалъ, что на меня падаетъ обязанность остановиться и сказать, что это такое.

„Я сказалъ вамъ, что люблю васъ, вы отвѣтили тѣмъ же — слышите ли, какой диссонансъ звучитъ въ этомъ? Не слышите? Такъ услышите позже, когда я уже буду въ безднѣ. Посмотрите на меня, вдумайтесь въ мое существованіе: можно ли вамъ любить меня, любите ли вы меня? „Люблю, люблю, люблю!“ сказали вы вчера. Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! твердо отвѣчаю я.

„Вы не любите меня, но вы не лжете — спѣшу прибавить — не обманываете меня; вы не можете сказать *да*, когда въ васъ говоритъ *нѣтъ*. Я только хочу доказать вамъ, что ваше настоящее *люблю* не есть настоящая любовь, а будущая; это только безсознательная потребность любить, которая, за недостаткомъ настоящей пищи, за отсутствіемъ огня, горитъ фальшивымъ, негрѣющимъ свѣтомъ, высказывается иногда у женщинъ въ ласкахъ къ



ребенку, къ другой женщинѣ, даже просто въ слезахъ, или въ истерическихъ припадкахъ. Мнѣ съ самаго начала слѣдовало бы строго сказать вамъ: вы ошиблись, передъ вами не тотъ, кого вы ждали, о комъ мечтали. Погодите, онъ придетъ, и тогда вы очнетесь: вамъ будетъ досадно и стыдно за свою ошибку, а мнѣ эта досада и стыдъ сдѣлають боль“ — вотъ что слѣдовало бы мнѣ сказать вамъ, еслибъ я отъ природы былъ попрозорливѣе умомъ и пободрѣе душой, еслибъ, наконецъ, былъ искреннѣе... Я и говорилъ, но, помните, какъ: съ боязнью, чтобъ вы не повѣрили, чтобъ этого не случилось; я впередъ говорилъ все, что могутъ потомъ сказать другіе, чтобъ приготовить васъ не слушать и не вѣрить, а самъ торопился видѣться съ вами и думалъ: „когда-то еще другой придетъ, я пока счастливъ“. Вотъ она, логика увлеченія и страстей.

„Теперь уже я думаю иначе. А что будетъ, когда я привяжусь къ ней, когда видѣться — сдѣлается не роскошью жизни, а необходимостью, когда любовь вопьется въ сердце (недаромъ я чувствую тамъ отвердѣлость)? Какъ оторваться тогда? Переживешь ли эту боль? Худо будетъ мнѣ. Я и теперь безъ ужаса не могу подумать объ этомъ. Еслибъ вы были опытнѣе, старше, тогда бы я благословилъ свое счастье и подалъ вамъ руку навсегда. А то...

„Зачѣмъ же я пишу? Зачѣмъ не пришелъ прямо сказать самъ, что желаніе видѣться съ вами растеть съ каждымъ днемъ, а видѣться не слѣдуетъ? Сказать это вамъ въ лицо — достанетъ ли духу, сами посудите! Иногда я и хочу сказать что-то похожее на это, а говорю совсѣмъ другое. Можетъ-быть, на лицѣ вашемъ выразилась бы печаль (если правда, что вамъ нескучно было со мной), или вы, не понявъ моихъ добрыхъ намѣреній оскорбились бы: ни того, ни другаго я не перенесу, заговорю опять не то,



и честныя намѣренія разлетятся въ прахъ и кончатся уговоромъ видѣться на другой день. Теперь безъ васъ, совсѣмъ не то: вашихъ кроткихъ глазъ, добраго, хорошенькаго личика нѣтъ передо мной; бумага терпитъ и молчить, и я пишу покойно (лгу): *мы не увидимся больше* (не лгу).

„Другой бы прибавилъ: *пишу и обливаюсь слезами*, но я не рисуюсь передъ вами, не драпируюсь въ свою печаль, потому что не хочу усиливать боль, растравлять сожалѣніе, грусть. Вся эта драпировка скрываетъ обыкновенно умыселъ глубже пустить корни на почвѣ чувства, а я хочу истребить и въ васъ, и въ себѣ, сѣмена его. Да и плакать пристало, или соблазнителямъ, которыя ищутъ уловить фразами неосторожное самолюбіе женщинъ, или томнымъ мечтателямъ. Я говорю это, прощаясь, какъ прощаются съ добрымъ другомъ, отпуская его въ далекій путь. Недѣли чрезъ три, чрезъ мѣсяцъ, было бы поздно, трудно: любовь дѣлаетъ неимовѣрные успѣхи, это душевный антоновъ огонь. И теперь я уже ни на что непохожъ, не считаю часы и минуты, не знаю восхожденія и захожденія солнца, а считаю: видѣлъ — не видалъ, увижу — не увижу, приходила — не пришла, придетъ... Все это къ-лицу молодости, которая легко переноситъ и пріятныя, и непріятныя волненія; а мнѣ къ-лицу покой, хотя скучный, сонный, но онъ знакомъ мнѣ; а съ бурями я не управляюсь.

„Многіе бы удивились моему поступку: отчего бѣжить? скажутъ; другіе будутъ смѣяться надо мной: пожалуй, я и на то рѣшаюсь. Ужъ если я рѣшаюсь не видаться съ вами, значитъ, на все рѣшаюсь.

„Въ своей глубокой тоскѣ, немного утѣшаюсь тѣмъ, что этотъ коротенькій эпизодъ нашей жизни мнѣ оставить навсегда такое чистое, благоуханное воспоминаніе, что

одного его довольно будетъ, чтобъ не погрузиться въ прежній сонъ души, а вамъ, не принеся вреда, послужить руководствомъ въ будущей, нормальной любви. Прощайте, ангелъ, улетайте скорѣе, какъ испуганная птичка улетаешь съ вѣтки, гдѣ сѣла ошибкой, такъ-же легко, бодро и весело, какъ она, съ той вѣтки, на которую сѣли невзначай“!

Обломовъ съ одушевленіемъ писалъ; перо летало по страницамъ. Глаза сіяли, щеки горѣли. Письмо вышло длинно, какъ всѣ любовныя письма: любовники страхъ какъ болтливы.

„Странно! Мнѣ ужъ не скучно, не тяжело“! думалъ онъ: „Я почти счастливъ... Отчего это? Должно быть, оттого, что я сбрызнулъ грузъ души въ письмо“.

Онъ перечиталъ письмо, сложилъ и запечаталъ.

— Захаръ! сказалъ онъ:—Когда придетъ человѣкъ, отдай ему это письмо къ барышнѣ.

— Слушаю, сказалъ Захаръ.

Обломову въ-самомъ-дѣлѣ стало почти весело. Онъ сѣлъ съ ногами на диванъ и даже спросилъ: нѣтъ ли чего позавтракать. Съѣлъ два яйца и закурилъ сигару. И сердце, и голова у него были наполнены; онъ жилъ. Онъ представлялъ себѣ, какъ Ольга получитъ письмо, какъ изумится, какое сдѣлаетъ лицо, когда прочтетъ. Что будетъ потомъ?..

Онъ наслаждался перспективой этого дня, новостью положенія... Онъ, съ замираніемъ сердца, прислушивался къ стуку двери, не приходилъ ли человѣкъ, не читаетъ ли уже Ольга письмо... Нѣтъ, въ передней тихо.

„Что-жъ бы это значило“? съ безпокойствомъ думалъ онъ:—„никого не было: какъ же такъ?“

Тайный голосъ тутъ же шепталъ ему: „отчего ты без-

покоишься? Вѣдь тебѣ это и нужно, чтобъ не было, чтобъ разорвать сношенія?“ Но онъ заглушалъ этотъ голосъ.

Чрезъ полчаса онъ докликался Захара со двора, гдѣ тотъ сидѣлъ съ кучеромъ.

— Не было никого? спросилъ онъ. — Не приходили?

— Нѣтъ, приходили, отвѣчалъ Захаръ.

— Что жъ ты?

— Сказалъ, что васъ нѣтъ: въ городъ-дескать уѣхали.

Обломовъ вытаращилъ на него глаза.

— Зачѣмъ же ты это сказалъ? спросилъ онъ: — Я что тебѣ велѣлъ, когда человѣкъ придетъ?

— Да не человѣкъ приходилъ, горничная, съ невозмутимымъ хладнокровіемъ отозвался Захаръ.

— А письмо отдалъ?

— Никакъ-нѣтъ:—вѣдь вы сначала велѣли сказать, что дома нѣтъ, а потомъ отдать письмо. Вотъ, какъ придетъ человѣкъ, такъ отдамъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, ты... просто душегубецъ! Гдѣ письмо? Подай сюда! сказалъ Обломовъ.

Захаръ принесъ письмо, уже значительно запачканное.

— Ты руки мой, смотри! злобно сказалъ Обломовъ, указывая на пятно.

— У меня руки чисты, отозвался Захаръ, глядя въ сторону.

— Анисья, Анисья! закричалъ Обломовъ.

Анисья выставилась до половины изъ передней.

— Посмотри, что дѣлаетъ Захаръ? пожаловался онъ ей.

— На вотъ письмо и отдай его человѣку, или горничной, кто придетъ отъ Ильинскихъ, чтобъ барышнѣ отдали — слышишь?

— Слышу, батюшка. Пожалуйста, отдамъ.

Но только она вышла въ переднюю, Захаръ вырвалъ у ней письмо.

— Ступай, ступай, закричалъ онъ: — знай свое бабье дѣло!

Вскорѣ опять прибѣжала горничная. Захаръ сталъ отпирать ей дверь, а Анисья подошла-было къ ней, но Захаръ яростно взглянулъ на нее.

— Ты чего тутъ? спросилъ онъ хрипло.

— Я пришла только послушать, какъ ты...

— Ну, ну, ну! загремѣлъ онъ, замахиваясь на нее локтемъ:—Туда же!

Она усмѣхнулась и пошла, но изъ другой комнаты въ щелку смотрѣла, то ли сдѣлаетъ Захаръ, что велѣлъ баринъ.

Илья Ильичъ, услышавъ шумъ, выскочилъ самъ.

— Что ты, Катя? спросилъ онъ.

— Барышня приказали спросить, куда вы уѣхали? А вы и не уѣхали, дома! Побѣгу сказать, говорила она и побѣжала-было.

— Я дома. Это вотъ все вретъ, сказалъ Обломовъ. — На, вотъ, отдай барышнѣ письмо!

— Слушаю, отдамъ!

— Гдѣ барышня теперь?

— Онѣ по деревнѣ пошли, велѣли сказать, что если вы кончили книжку, такъ, чтобъ пожаловали въ садъ, часу во второмъ.

— Она ушла.

„Нѣтъ, не пойду... зачѣмъ раздражать чувство, когда все должно быть кончено?..“ думалъ Обломовъ, направляясь въ деревню.

Онъ издали видѣлъ, какъ Ольга шла по горѣ, какъ догнала ее Катя и отдала письмо; видѣлъ, какъ Ольга на минуту остановилась, посмотрѣла на письмо, подумала, потомъ кивнула Катѣ и вошла въ аллею парка.

Обломовъ пошелъ въ обходъ, мимо горы, съ другаго кон-

ца вошелъ въ ту же аллею и, дойдя до середины, сѣлъ въ травѣ, между кустами, и ждалъ.

„Она пройдетъ здѣсь,“ думалъ онъ: „я только погляжу незамѣтно, что она, и удалюсь навсегда“.

Онъ ждалъ съ замирающимъ сердцемъ ея шаговъ. Нѣтъ, тихо. Природа жила дѣятельною жизнью; вокругъ кипѣла невидимая, мелкая работа, а все, казалось, лежитъ въ торжественномъ покоѣ.

Между-тѣмъ, въ травѣ все двигалось, ползло, суетилось. Вонъ муравьи бѣгутъ въ разныя стороны такъ хлопотно и суетливо, сталкиваются, разбѣгаются, торопятся, все-равно, какъ посмотрѣть съ высоты на какой-нибудь людской рынокъ: тѣ же кучки, та же толкотня, такъ же гомозится народъ.

Вотъ шмель жужжитъ около цвѣтка и вползаетъ въ его чашечку; вотъ мухи кучей лѣпятся около выступившей капли сока на трещинѣ липы; вотъ птица, гдѣ-то въ чащѣ, давно все повторяетъ одинъ и тотъ же звукъ, можетъ-быть, зоветъ другую.

Вотъ двѣ бабочки, вертятся другъ около друга въ воздухѣ, опрометью, какъ въ вальсѣ, мчатся около древесныхъ стволовъ. Трава сильно пахнетъ; изъ нея раздается неумолкаемый трескъ...

„Какая тутъ возня!“ думалъ Обломовъ, вглядываясь въ эту суету и вслушиваясь въ мелкій шумъ природы: „а снаружи такъ все тихо, покойно!..“

А шаговъ все не слышать. Наконецъ, вотъ... „Охъ!“ вздохнулъ Обломовъ, тихонько раздвигая вѣтви. „Она, она... Что это? плачетъ! Боже мой!“

Ольга шла тихо и утирала платкомъ слезы; но едва оботреть, являются новыя. Она стыдится, глотаетъ ихъ, хочетъ скрыть даже отъ деревьевъ, и не можетъ. Обломовъ не видалъ никогда слезъ Ольги; онъ не ожидалъ ихъ, и



онѣ будто обожгли его, но такъ, что ему отъ того было не горячо, а тепло.

Онѣ быстро пошелъ за ней.

— Ольга, Ольга! нѣжно говорилъ онѣ, слѣдуя за ней.

Она вздрогнула, оглянулась, поглядѣла на него съ удивленіемъ, потомъ отвернулась и пошла дальше.

Онѣ пошелъ рядомъ съ ней.

— Вы плачете? сказалъ онѣ.

У ней слезы полились сильнѣе. Она уже не могла удержать ихъ и прижала платокъ къ лицу, разразилась рыданіемъ и сѣла на первую скамью.

— Что я надѣлалъ! шепталъ онѣ съ ужасомъ, взявъ ея руку и стараясь оторвать отъ лица.

— Оставьте меня! проговорила она: Уйдите! Зачѣмъ вы здѣсь? Я знаю, что я не должна плакать: о чемъ? Вы правы: да, все можетъ случиться.

— Что дѣлать, чтобъ не было этихъ слезъ? спрашивалъ онѣ, ставъ передъ ней на колѣни:—Говорите, приказывайте: я готовъ на все...

— Вы сдѣлали, чтобъ были слезы, а остановить ихъ не въ вашей власти... Вы не такъ сильны! Пустите! говорила она, махая себѣ платкомъ въ лицо.

Онѣ посмотрѣлъ на нее и мысленно читалъ себѣ проклятія.

— Несчастное письмо! произнесъ онѣ съ раскаяніемъ.

Она открыла рабочую корзинку, вынула письмо и пода-  
ла ему.

— Возьмите, сказала она: — и унесите его съ собой, чтобъ мнѣ долго еще не плакать, глядя на него.

Онѣ молча спряталъ его въ карманъ и сидѣлъ подлѣ нея, повѣсивъ голову.

— По-крайней-мѣрѣ вы отдадите справедливость моимъ

намѣреніямъ, Ольга? тихо говорилъ онъ: — Это доказательство, какъ мнѣ дорого ваше счастье.

— Да, дорого! вздохнувъ, сказала она.—Нѣтъ, Илья Ильичъ, вамъ, должно-быть, завидно стало, что я такъ тихо была счастлива, и вы поспѣшили возмутить счастье.

— Возмутить! Такъ вы не читали моего письма? Я вамъ повторю...

Не дочитала, потому-что глаза залились слезами: я еще глупа! Но я угадала остальное: не повторяйте, чтобъ больше не плакать...

Слезы закапали опять.

— Не затѣмъ ли я отказываюсь отъ васъ, началъ онъ, —что предвижу ваше счастье впереди, что жертвую ему собой?... Развѣ я дѣлаю это хладнокровно? Развѣ у меня не плачетъ все внутри? Зачѣмъ же я это дѣлаю?

— Зачѣмъ? повторила она, вдругъ переставъ плакать и обернувшись къ нему: — Затѣмъ же, зачѣмъ спрятались теперь въ кусты, чтобъ подсмотрѣть, буду ли я плакать и какъ я буду плакать — вотъ зачѣмъ! Еслибъ вы хотѣли искренно того, что написано въ письмѣ, еслибъ были убѣждены, что надо разстаться, вы бы уѣхали за границу, не повидавшись со мной.

— Какая мысль!.. заговорилъ онъ съ упрекомъ и не договорилъ. Его поразило это предположеніе, потому-что ему вдругъ стало ясно, что это правда.

— Да, подтвердила она:—вчера вамъ нужно было мое люблю, сегодня понадобились слезы, а завтра, можетъ-быть, вы захотите видѣть, какъ я умираю.

— Ольга, можно ли такъ обижать меня! Уже-ли вы не вѣрите, что я отдалъ бы теперь полжизни, чтобъ услышать вашъ смѣхъ и не видѣть слезъ...

— Да, теперь, можетъ-быть, когда уже видѣли, какъ плачетъ о васъ женщина... Нѣтъ, прибавила она: — у

васъ нѣтъ сердца. Вы не хотѣли моихъ слезъ, говорите вы, такъ бы и не сдѣлали, еслибъ не хотѣли...

— Да развѣ я зналъ?!.. съ вопросомъ и восклицаніемъ въ голосъ сказалъ онъ, прикладывая обѣ ладони къ груди.

— У сердца, когда оно любитъ, есть свой умъ, возразила она: — оно знаетъ, чего хочетъ, и знаетъ напередъ что будетъ. Мнѣ вчера нельзя было придти сюда: къ намъ вдругъ пріѣхали гости, но я знала, что вы измучились бы, ожидая меня, можетъ-быть дурно бы спали: я пришла, потому-что не хотѣла вашего мученья... А вы... вамъ весело, что я плачу. Смотрите, смотрите, наслаждайтесь!..

И опять заплакала она.

— Я и такъ дурно спалъ, Ольга; я измучился ночь...

— И вамъ жаль стало, что я спала хорошо, что я не мучусь—не правда ли? перебила она. Еслибъ я не заплакала теперь, вы бы и сегодня дурно спали.

— Что жъ мнѣ теперь дѣлать: просить прощенія? съ покорной нѣжностью сказалъ онъ.

— Просятъ прощенія дѣти, или когда въ толпѣ отдавать ногу кому-нибудь, а тутъ извиненіе не поможетъ, говорила она, обмахивая опять платкомъ лицо.

— Однако, Ольга, если это правда. Если моя мысль справедлива и ваша любовь—ошибка? Если вы полюбите другого, а взглянувъ на меня тогда, покраснѣете...

— Такъ что-же? спросила она, глядя на него такимъ иронически-глубокимъ, пронизательнымъ взглядомъ, что онъ смутился.

„Она что-то хочетъ добыть изъ меня!“ подумалъ онъ: „держись, Илья Ильичъ!“

— Какъ „что же!“ машинально повторилъ онъ, безпокойно глядя на нее и не догадываясь, какая мысль формируется у ней въ головѣ, какъ оправдаетъ она свое что

же, когда очевидно нельзя оправдать результатов этой любви, если она ошибка.

Она глядѣла на него такъ сознательно, съ такой увѣренностью, такъ, повидимому, владѣла своею мыслью.

— Вы боитесь, возразила она колко, — упасть „на дно бездны;“ васъ пугаетъ будущая обида, что я разлюблю васъ!.. „Мнѣ будетъ худо“ пишете вы...

Онъ все-еще плохо понималъ.

— Да вѣдь мнѣ тогда будетъ хорошо, если я полюблю другаго: значить, я буду счастлива! А вы говорите, что „предвидите мое счастье впереди и готовы пожертвовать для меня всѣмъ, даже жизнью?“

Онъ глядѣлъ на нее пристально и мигалъ рѣдко и широко.

— Вонъ какая вышла логика! шепталъ онъ: — Признаться, я не ожидалъ...

А она оглядывала его такъ ядовито съ ногъ до головы.

— А счастье, отъ котораго вы съ ума сходите? продолжала она: — Аэти утра и вечера, этотъ паркъ, а мое *люблю* — все это ничего не стоитъ, никакой цѣны, никакой жертвы, никакой боли?

„Ахъ, еслибъ сквозь землю провалиться!“ думалъ онъ, внутренно мучась, по-мѣрѣ-того, какъ мысль Ольги открывалась ему вполне.

— А если, начала она горячо вопросомъ: — вы устанете отъ этой любви, какъ устали отъ книгъ, отъ службы, отъ свѣта; если, современемъ, безъ соперницы, безъ другой любви, уснете вдругъ около меня, какъ у себя на диванѣ, и голосъ мой не разбудитъ васъ; если опухоль у сердца пройдетъ, если даже не другая женщина, а халатъ вашъ будетъ вамъ дороже?...

— Ольга, это невозможно! перебилъ онъ съ неудовольствіемъ, отодвигаясь отъ нея.

— Отчего невозможно? спросила она. — Вы говорите,

что я „ошибаюсь, что полюблю другаго,“ а я думаю иногда, что вы просто разлюбите меня. И что тогда? Какъ я оправдаю себя въ томъ, что дѣлаю теперь? Если не люди, не свѣтъ, что я скажу самой себѣ?... И я иногда тоже не сплю отъ этого, но не терзаю васъ догадками о будущемъ, потому-что вѣрю въ лучшее. У меня счастье пересиливаетъ боязнь. Я во что-нибудь цѣню, когда отъ меня у васъ заблестятъ глаза, когда вы отыскиваете меня, карабкаясь на холмы, забываете лѣнь и спѣшите для меня по жарѣ въ городъ за букетомъ, за книгой; когда вижу, что я заставляю васъ улыбаться, желать жизни... Я жду, ищу, одного—счастья, и вѣрю, что нашла. Если ошибусь, если правда, что я буду плакать надъ своей ошибкой, по-крайней-мѣрѣ я чувствую здѣсь (она приложила ладонь къ сердцу), что я невиновата въ ней; значить, судьба не хотѣла этого, Богъ не даль. Но я не боюсь за будущія слезы; я буду плакать ненапрасно: я купила ими что-нибудь... Мнѣ такъ хорошо... было!.. прибавила она.

— Пусть же будетъ опять хорошо! умолялъ Обломовъ.

— А вы видите только мрачное впереди; вамъ счастье ни-по-чемъ... Это неблагодарность, продолжала она:—это не любовь, это...

— Эгоизмъ! досказалъ Обломовъ и не смѣлъ взглянуть на Ольгу, не смѣлъ говорить, не смѣлъ просить прощенія.

— Идите, тихо сказала она:—куда вы хотѣли идти.

Онъ поглядѣлъ на нее. Глаза у ней высохли. Она задумчиво смотрѣла внизъ и чертила зонтикомъ по песку.

— Ложитесь опять на спину, прибавила потомъ:—не ошибетесь, „не упадете въ бездну“.

— Я отравился и отравилъ васъ, вмѣсто того, чтобъ быть просто и прямо счастливымъ... бормоталъ онъ съ раскаяніемъ.

— Пейте квасъ: не отравитесь, язвила она,



— Ольга! Это невеликодушно! сказалъ онъ:—Послѣ того, когда я самъ казнилъ себя сознаниемъ...

— Да, на словахъ вы казните себя, бросаетесь въ пропасть, отдаете полжизни, а тамъ придетъ сомнѣніе, бессонная ночь: какъ вы становитесь нѣжны къ себѣ, осторожны, заботливы, какъ далеко видите впередъ!..

„Какая истина и какъ она проста!“ подумалъ Обломовъ, но стыдился сказать вслухъ. Отчего жъ онъ не самъ растолковалъ ее себѣ, а женщина, начинающая жить? И какъ это она скоро! Недавно еще такимъ ребенкомъ смотрѣла.

— Намъ больше нѣ о чемъ говорить, заключила она, вставая.—Прощайте, Илья Ильичъ, и будьте... покойны; вѣдь ваше счастье въ этомъ.

— Ольга! Нѣтъ, ради Бога, нѣтъ! Теперь, когда все стало опять ясно, не гоните меня... говорилъ онъ, взявъ ее за руку.

— Чего же вамъ надо отъ меня?—Вы сомнѣваетесь, не ошибка ли моя любовь къ вамъ: я не могу успокоить вашего сомнѣнія; можетъ-быть и ошибка—я не знаю...

Онъ выпустилъ ея руку. Опять занесенъ ножъ надъ нимъ.

— Какъ не знаете? Развѣ вы не чувствуете? спросилъ онъ, опять съ сомнѣніемъ на лицѣ:—Развѣ вы подозреваете?..

— Я ничего не подозреваю; я сказала вамъ вчера, что я чувствую, а что будетъ черезъ годъ—не знаю. Да развѣ послѣ одного счастья бываетъ другое, потомъ третье, такое же? спрашивала она, глядя на него во всѣ глаза.—Говорите; вы опытнѣе меня.

Но ему не хотѣлось уже утверждать ее въ этой мысли, и онъ молчалъ, покачивая одной рукой акацію.

— Нѣтъ, любятъ только однажды! повторилъ онъ, какъ школьникъ, заученную фразу.

— Вотъ видите: и я вѣрю въ это, добавила она.—Если же это не такъ, то, можетъ-быть, и я разлюблю васъ, можетъ-быть, мнѣ будетъ больно отъ ошибки, и вамъ тоже; можетъ-быть, мы разстанемся!.. Любить два, три раза... нѣтъ, нѣтъ... Я не хочу вѣрить этому!

Онъ вздохнулъ. Это *можетъ-быть* ворочало у него душу и онъ задумчиво плелся за ней. Но ему съ каждымъ шагомъ становилось легче; выдуманная имъ ночью *ошибка* было такое отдаленное будущее... „Вѣдь это не одна любовь, вѣдь вся жизнь такова...“ вдругъ пришло ему въ голову: „и если отталкивать всякій случай, какъ ошибку, когда же будетъ—не ошибка? Что же я? Какъ-будто ослѣпъ...“

— Ольга, сказалъ онъ, едва касаясь двумя пальцами ея талии (она остановилась):—вы умнѣе меня.

Она потрясла головой.

— Нѣтъ, проще и смѣлѣе. Чего вы боитесь? Уже-ли вы, не шутя, думаете, что можно разлюбить? съ гордою увѣренностью спросила она.

— Теперь и я не боюсь! бодро сказалъ онъ.—Съ вами не страшна судьба!

— Эти слова я недавно гдѣ-то читала... у Сю, кажется, вдругъ возразила она съ ироніей, обернувшись къ нему: —только ихъ тамъ говоритъ женщина мужчинѣ...

У Обломова краска бросилась въ лицо.

— Ольга! Пусть будетъ все по-вчерашнему, умолялъ онъ:—я не буду бояться *ошибокъ*.

Она молчала.

— Да? робко спрашивалъ онъ.

Она молчала.

— Ну, если не хотите сказать, дайте знакъ какой-нибудь... вѣтку сирени...

— Сирени... отошли, пропали! отвѣчала она.—Вонъ, видите, какія остались: поблеклыя!

— Отошли, поблекли! повторилъ онъ, глядя на сирени.—И письмо отошло! вдругъ сказалъ онъ.

Она потрясла отрицательно головой. Онъ шелъ за ней и разсуждалъ про-себя о письмѣ, о вчерашнемъ счастьѣ, о поблекшей сирени.

„Въ-самомъ-дѣлѣ, сирени вянуть!“ думалъ онъ. „Зачѣмъ это письмо? Къ-чему я не спалъ всю ночь, писалъ утромъ? Вотъ теперь, какъ стало на душѣ опять покойно... (онъ зѣвнулъ)... ужасно спать хочется. А еслибъ письма не было и ничего-бъ этого не было: она бы не плакала, было бы все по-вчерашнему; тихо сидѣли бы мы тутъ же, въ аллеѣ, глядѣли другъ на друга, говорили о счастьѣ. И сегодня бы такъ же, и завтра...“ Онъ зѣвнулъ во весь ротъ.

Далѣе ему вдругъ пришло въ голову, что бы было еслибъ письмо это достигло цѣли, еслибъ она раздѣлила его мысль, испугалась, какъ онъ, ошибокъ и будущихъ отдаленныхъ грозъ, еслибъ послушала его такъ-называемой опытности, благоразумія, и согласилась разстаться, забыть другъ друга?

Боже сохрани! Проститься, уѣхать въ городъ, на новую квартиру! Потянуласьбыза этимъ длинная ночь, скучное завтра, невыносимое послѣзавтра и рядъ дней все блѣднѣе, блѣднѣе...

Какъ это можно? Да это смерть! А вѣдь было бы такъ! Онъ бы заболѣлъ. Онъ и не хотѣлъ разлуки, онъ бы не перенесъ ея, пришелъ бы умолять видѣться. „Зачѣмъ же я писалъ письмо?“ спросилъ онъ себя.

— Ольга Сергѣевна! сказалъ онъ.

— Что вамъ?

— Ко всѣмъ моимъ признаніямъ я долженъ прибавить еще одно...

— Какое!

— Вѣдь письмо-то было вовсе ненужно...

— Неправда, оно было необходимо, рѣшила она.

Она оглянулась и засмѣялась, увидя лицо, какое онъ сдѣлалъ, какъ у него прошелъ вдругъ сонъ, какъ растворились глаза отъ изумленія.

— Необходимо? повторилъ онъ медленно, вперя удивленный взглядъ въ ея спину. Но тамъ были только двѣ кисти мантильи.

„Что же значать эти слезы, упреки? Ужели хитрость?“ Но Ольга нехитра: это онъ ясно видѣлъ.

Хитрятъ и пробавляются хитростью только болѣе или менѣе ограниченныя женщины. Онѣ, за недостаткомъ прямого ума, двигаютъ пружинами ежедневной мелкой жизни посредствомъ хитрости, плетутъ, какъ кружево, свою домашнюю политику, не замѣчая, какъ вокругъ ихъ располагаются главные линіи жизни, куда онѣ направятся и гдѣ сойдутся.

Хитрость все равно, что мелкая монета, на которую не купишь многого. Какъ мелкой монетой можно прожить часть, два, такъ хитростью можно тамъ прикрыть что-нибудь, тутъ обмануть, переиначить, а ея не хватитъ обозрѣть далекій горизонтъ, свести начало и конецъ крупнаго, главнаго событія.

Хитрость близорука: хорошо видитъ только подъ носомъ, а не вдаль, и оттого часто сама попадаетъ въ ту же ловушку, которую разставила другимъ.

Ольга просто умна: вотъ хоть сегодняшній вопросъ, какъ легко и ясно разрѣшила она, да и всякій! Она тотчасъ ви-

дить прямой смыслъ событія и подходить къ нему по прямой дорогѣ.

А хитрость, какъ мышь: обѣжить вокругъ, прячется... Да и характеръ у Ольги не такой. Что же это такое? Что еще за новость?

— Почему же письмо необходимо? спросилъ онъ.

— Почему? повторила она и быстро обернулась къ нему, съ веселымъ лицомъ, наслаждаясь тѣмъ, что на каждомъ шагу умѣетъ ставить его въ тупикъ.— А потому—съ разстановкой, начала потомъ:—что вы не спали ночь, писали все для меня; я тоже эгоистка! Это, вопервыхъ...

— За что жъ вы упрекали меня сейчасъ, если сами соглашаетесь теперь со мной? перебилъ Обломовъ.

— За то, что вы выдумали мученія. Я не выдумывала ихъ, они случились, и я наслаждаюсь тѣмъ, что ужъ прошли, а вы готовили ихъ и наслаждались заранѣе. Вы — злой! за это я васъ и упрекала. Потомъ... въ письмѣ вашемъ играютъ мысль, чувство... вы жили эту ночь и утро не по-своему, а какъ хотѣлъ, чтобъ вы жили, вашъ другъ и я—это во-вторыхъ; наконецъ, въ третьихъ...

Она подошла къ нему такъ близко, что кровь бросилась ему въ сердце и въ голову; онъ началъ дышать тяжело, съ волненіемъ. А она смотритъ ему прямо въ глаза.

— Въ третьихъ, потому, что въ письмѣ этомъ, какъ въ зеркалѣ, видна ваша нѣжность, ваша осторожность, забота обо мнѣ, боязнь за мое счастье, ваша чистая совѣсть... все, что указалъ мнѣ въ васъ Андрей Ивановичъ и что я полюбила, за что забываю вашу лѣнь... апатію... Вы высказались тамъ невольно: вы не эгоистъ, Илья Ильичъ, вы написали совсѣмъ не для того, чтобъ разстаться—этого вы не хотѣли, а потому, что боялись обмануть меня... это говорила честность, иначе бы письмо оскорбило меня и я не заплакала бы — отъ гордости! Видите, я знаю, за что



я люблю васъ, и не боюсь ошибки: я въ васъ не ошибаюсь...

Она показалаь Обломову въ блескъ, въ сіяніи, когда говорила это. Глаза у ней сіяли такимъ торжествомъ любви, сознаниемъ своей силы; на щекахъ рдѣли два розовыя пятна. И онъ, онъ былъ причиной этого! Движеніемъ своего честнаго сердца онъ бросилъ ей въ душу этотъ огонь, эту игру, этотъ блескъ.

— Ольга! Вы... лучше всѣхъ женщинъ, вы первая женщина въ мірѣ! сказалъ онъ въ восторгѣ и, не помня себя, простеръ руки, наклонился къ ней.

— Ради Бога... одинъ поцѣлуй, въ залогъ невыразимаго счастья, прошепталъ онъ, какъ въ бреду.

Она мгновенно подалась на шагъ назадъ; торжественное сіяніе, краски слетѣли съ лица; кроткіе глаза заблестали грозой.

— Никогда! Никогда! Не подходите! съ испугомъ, почти съ ужасомъ, сказала она, вытянувъ обѣ руки и зонтикъ между нимъ и собой, и остановилась, какъ вкопанная, окаменѣлая, не дыша, въ грозной позѣ, съ грознымъ взглядомъ, въ полуоборотъ.

Онъ вдругъ присмирѣлъ: передъ нимъ не кроткая Ольга, а оскорбленная богиня гордости и гнѣва, съ сжатыми губами, съ молніей въ глазахъ.

— Простите!... бормоталъ онъ, смущенный, уничтоженный.

Она медленно обернулась и пошла, косясь боязливо черезъ плечо, что онъ. А онъ ничего: идетъ тихо, будто волочить хвостъ, какъ собака, на которую топнули.

Она было-прибавила шагу, но, увидя лицо его, подавила улыбку и пошла покойнѣе, только вздрагивала повремениамъ. Розовое пятно появлялось то на одной щекѣ, то на другой.

По мѣрѣ того, какъ она шла, лицо ея прояснялось, дыханіе становилось рѣже и покойнѣе, и она опять пошла ровнымъ шагомъ. Она видѣла, какъ свято ея „никогда“ для Обломова, и порывъ гнѣва мало по-малу утихалъ и уступалъ мѣсто сожалѣнію. Она шла все тише, тише...

Ей хотѣлось смягчить свою вспышку; она придумывала предлогъ заговорить.

„Все изгадилъ! Вотъ настоящая ошибка! „Никогда!“ Боже! Сирени поблекли,“ думалъ онъ, глядя на висящія сирени: „вчера поблекло, письмо тоже поблекло, и этотъ мигъ, лучшій въ моей жизни, когда женщина въ первый разъ сказала мнѣ, какъ голосъ съ неба, что есть во мнѣ хорошаго, и онъ поблекъ“!..

Онъ посмотрѣлъ на Ольгу — она стоитъ и ждетъ его, потупивъ глаза.

— Дайте мнѣ письмо!.. тихо сказала она.

— Оно поблекло! печально отвѣчалъ онъ, подавая письмо.

Она опять близко подвинулась къ нему и наклонила еще голову; вѣки были опущены совсѣмъ... Она почти дрожала. Онъ отдалъ письмо: она не поднимала головы, не отходила.

— Вы меня испугали, мягко прибавила она.

— Простите, Ольга, бормоталъ онъ.

Она молчала.

— Это грозное „никогда“!.. сказалъ онъ печально и вздохнулъ.

— Поблекнетъ! чуть слышно прошептала она, краснѣя. Она бросила на него стыдливый, ласковый взглядъ, взяла обѣ его руки, крѣпко сжала въ своихъ, потомъ приложила ихъ къ своему сердцу.

— Слышите, какъ бьется! сказала она:—Вы испугали меня! Пустите!

И, не взглянувъ на него, обернулась и побѣжала по дорожкѣ, поднявъ спереди немного платье.

— Куда вы такъ? говорилъ онъ:—Я усталъ, не могу за вами...

— Оставьте меня. Я бѣгу пѣть, пѣть, пѣть!.. твердила она, съ пылающимъ лицомъ.—Мнѣ тѣснить грудь, мнѣ почти больно!

Онъ остался на мѣстѣ и долго смотрѣлъ ей вслѣдъ, какъ улетающему ангелу.

„Ужели и этотъ мигъ поблекнетъ?“ почти печально думалъ онъ и самъ не чувствовалъ, идетъ ли онъ, стоитъ ли на мѣстѣ.

„Сирени отошли“, опять думалъ онъ: „вчера отошло, и ночь съ призраками, съ удушьемъ, тоже отошла... Да! и этотъ мигъ отойдетъ, какъ сирени! Но когда отходила сегодняшняя ночь, въ это время уже расцвѣтало нынѣшнее утро...“

— Что жъ это такое? вслухъ сказалъ онъ, въ забывчивости: И — любовь тоже... любовь? А я думалъ, что она, какъ знойный полдень, повиснетъ надъ любящимися и ничто не двинется и недохнетъ въ ея атмосферѣ: и въ любви нѣтъ покоя, и она движется все куда-то впередъ, впередъ... „какъ вся жизнь“ говоритъ Штольцъ. И не родился еще Иисусъ Навинъ, который бы сказалъ ей: „стой и не двигись!“ Что жъ будетъ завтра? тревожно спросилъ онъ себя и задумчиво, лѣниво пошелъ домой.

Проходя мимо оконъ Ольги, онъ слышалъ, какъ стѣсенная грудь ея облегчалась въ звукахъ Шуберта, какъ будто рыдала отъ счастья.

Боже мой! Какъ хорошо жить на свѣтѣ!

## XI.

Обломовъ дома нашелъ еще письмо отъ Штольца, которое начиналось и кончалось словами: „теперь или никог-

да!“ потомъ было исполнено упрековъ въ неподвижности, потомъ приглашеніе пріѣхать непременно въ Швейцарію, куда собирался Штольцъ, и наконецъ, въ Италію.

Если же не это, такъ онъ звалъ Обломова въ деревню, повѣрить свои дѣла, встряхнуть запущенную жизнь мужиковъ, повѣрить и опредѣлить свой доходъ и при себѣ распорядиться постройкой новаго дома.

„Помни нашъ уговоръ: теперь или никогда“, заключилъ онъ.

— Теперь, теперь, теперь! повторилъ Обломовъ. Андрей не знаетъ, какая поэма разыгрывается въ моей жизни. Какія ему еще дѣла? Развѣ я могу когда-нибудь и чѣмъ-нибудь быть такъ занятъ? Попробывалъ бы онъ! Вотъ считаешь о французсахъ, объ англичанахъ: будто они все работаютъ, будто все дѣло на умѣ! Ѣздятъ себѣ по всей Европѣ, иные даже въ Азію и въ Африку, такъ, безъ всякаго дѣла: кто рисовать альбомъ, или древности откапывать, кто стрѣлять львовъ или змѣй ловить. Не то, такъ дома сидятъ въ благородной праздности; завтракаютъ, обѣдаютъ съ пріятелями, съ женщинами — вотъ и все дѣло! Что жъ я за каторжникъ? Андрей только выдумалъ: „работай, да работай, какъ лошадь!“ Къ чему? Я сытъ, одѣтъ. Однако Ольга опять спрашивала, намѣренъ ли я съѣздить въ Обломовку...

Онъ бросился писать, соображать, ѣздилъ даже къ архитектору. Вскорѣ на маленькомъ столикѣ у него расположенъ былъ планъ дома, сада. Домъ семейный, просторный, съ двумя балконами.

„Тутъ я, тутъ Ольга, тутъ спальня, дѣтская“... улыбаясь, думалъ онъ. „Но мужики, мужики“... и улыбка слетала, забота морщила ему лобъ. „Сосѣдь пишетъ, входитъ въ подробности, говоритъ о запашкѣ, объ умолотѣ... Экая

скука! да еще предлагаетъ на общій счетъ проложить дорогу въ большое торговое село, съ мостомъ черезъ рѣчку, просить три тысячи денегъ, хочетъ, чтобъ я заложилъ Обломовку... А почему я знаю, нужно ли это? Выйдетъ ли толкъ? Не обманываетъ ли онъ?... Положимъ, онъ честный человѣкъ: Штольцъ его знаетъ, да вѣдь онъ тоже можетъ обмануться, а я деньги-то ухну! Три тысячи — такую кучу! Гдѣ ихъ взять? Нѣтъ, страшно! Еще пишетъ, чтобъ выселить нѣкоторыхъ мужиковъ на пустошь, и требуетъ поскорѣй отвѣта — все поскорѣй. Онъ берется выслать всѣ документы для заклада имѣнія въ совѣтъ. „Пришли я ему довѣренность, въ палату ступай засвидѣтельствовать,“ — вона чего захотѣлъ! А я и не знаю, гдѣ палата, какъ и двери-то отворяются туда, „.

Обломовъ другую недѣлю не отвѣчаетъ ему, между-тѣмъ, даже и Ольга спрашиваетъ, былъ ли онъ въ палатѣ. Недавно Штольцъ также прислалъ письмо и къ нему, и къ ней, спрашиваетъ: „что онъ дѣлаетъ?“

Впрочемъ Ольга могла только поверхностно наблюдать за дѣятельностью своего друга, и то въ доступной ей сферѣ. Весело ли онъ смотритъ, охотно ли ѣздитъ всюду, является ли въ условный часъ въ рощу, на сколько занимаетъ его городская новость, общій разговоръ. Всего ревнивѣе слѣдитъ она, не выпускаетъ ли онъ изъ вида главную цѣль жизни. Если она и спросила его о палатѣ, такъ затѣмъ только, чтобъ отвѣчать что-нибудь Штольцу о дѣлахъ его друга.

Лѣто въ самомъ разгарѣ; іюль проходитъ; погода отличная. Съ Ольгой Обломовъ почти не расстается. Въ ясный день онъ въ паркѣ, въ жаркій полдень теряется съ ней въ рощѣ, между сосенъ, сидитъ у ея ногъ, читаетъ ей; она уже вышиваетъ другой лоскутокъ канвы — для него.



И у нихъ царствуетъ жаркое лѣто: набѣгаютъ иногда облака и проходятъ.

Если ему и снятся тяжелые сны, и стучатся въ сердце сомнѣнія, Ольга, какъ ангелъ, стоитъ на-стражѣ; она взглянетъ ему своими свѣтлыми глазами въ лицо, добудетъ, что у него на сердцѣ — и все опять тихо, и опять чувство течетъ плавно, какъ рѣка, съ отраженіемъ новыхъ узоровъ неба.

Взглядъ Ольги на жизнь, на любовь, на все, сдѣлался еще яснѣе, опредѣленнѣе. Она увѣреннѣе прежняго глядитъ около себя, не смущается будущимъ; въ ней развернулись новыя стороны ума, новыя черты характера. Онъ проявляется, то поэтически-разнообразно, глубоко, то правильно, ясно, постепенно и естественно...

У ней есть какое-то упорство, которое не только перебиваетъ всѣ грозы судьбы, но даже лѣнь и апатію Обломова. Если у ней явится какое-нибудь намѣреніе, такъ дѣло и закипитъ. Только и слышишь объ этомъ. Если и не слышишь, то видишь, что у ней на умѣ все одно, что она не забудетъ, не отстанетъ, не растеряется, все сообразить и добьется, чего искала.

Онъ не могъ понять, откуда у ней является эта сила, этотъ тактъ — знать и умѣть, какъ и что дѣлать, какое бы событіе ни явилось.

„Это оттого“ думалъ онъ, „что у ней одна бровь никогда не лежитъ прямо, а все немного поднявшись, и надъ ней такая тоненькая, чуть-замѣтная складка... Тамъ, въ этой складкѣ, гнѣздится у ней упорство“.

Какое покойное, свѣтлое выраженіе ни ляжетъ ей на лицо, а эта складка не разглаживается и бровь не ложится ровно. Но внѣшней силы, рѣзкихъ пріемовъ и наклонностей у ней нѣтъ. Настойчивость въ намѣреніяхъ и

упорство ни на шагъ не увлекають ее изъ женской сферы.

Она не хочетъ быть львицей, обдать рѣзкой рѣчью не ловкаго поклонника, изумить быстротой ума всю гостиную, чтобъ кто-нибудь изъ угла закричалъ bravo! bravo!

Въ ней даже есть робость, свойственная многимъ женщинамъ: она, правда, не задрожитъ, увидя мышонка, не упадетъ въ обморокъ отъ паденія стула, но побоится пойти подальше отъ дома, своротить, завидя мужика, который ей покажется подозрительнымъ, закроетъ на ночь окно, чтобъ воры не влѣзли—все по женски.

Потомъ она такъ доступна чувству состраданія, жалости! У ней не трудно вызвать слезы; къ сердцу ея доступъ легокъ. Въ любви она такъ нѣжна; во всѣхъ ея отношеніяхъ ко всѣмъ столько мягкости, ласковаго вниманія — словомъ, она женщина!

Иногда рѣчь ея и сверкнетъ искрой сарказма, но тамъ блещетъ такая грація, такой кроткій, милый умъ, что всякій съ радостью подставитъ лобъ!

Зато она не боится сквознаго вѣтра, ходитъ легко одѣтая въ сумерки — ей ничего! Въ ней играетъ здоровье; кушаетъ она съ аппетитомъ; у ней есть любимыя блюда; она знаетъ какъ и готовить ихъ.

Да это все знаютъ многія, но многія не знаютъ, что дѣлать въ томъ или другомъ случаѣ, а если и знаютъ, то только заученное, слышанное, и не знаютъ, почему такъ, а не иначе дѣлаютъ онѣ, сошлутся сейчасъ на авторитетъ тѣтки, кузины...

Многія даже не знаютъ сами, чего имъ хотѣть, а если и рѣшатся на это, то вяло, такъ-что пожалуй надо, пожалуй и не надо. Это, должно-быть, оттого, что у нихъ брови лежатъ ровно, дугой, прощипаны пальцами и нѣтъ складки на лбу.

Между Обломовымъ и Ольгой установились тайныя, невидимыя для другихъ отношенія: всякій взглядъ, каждое незначительное слово, сказанное при другихъ, имѣло для нихъ свой смыслъ. Они видѣли во всемъ намекъ на любовь.

И Ольга вспыхнетъ иногда, при всей увѣренности въ себя, когда за столомъ разскажутъ исторію чьей-нибудь любви, похожей на ея исторію; а какъ всѣ исторіи о любви очень сходны между собой, то ей часто приходилось краснѣть.

И Обломовъ, при намекѣ на это, вдругъ схватить, въ смущеніи, за чаемъ, такую кучу сухарей, что кто-нибудь непременно засмѣется.

Они стали чутки и осторожны. Иногда Ольга не скажетъ тѣткѣ, что видѣла Обломова, и онъ дома объявитъ, что ѣдетъ въ городъ, а самъ уйдетъ въ паркъ.

Однакожъ, какъ ни ясенъ былъ умъ Ольги, какъ ни сознательно смотрѣла она вокругъ, какъ ни была свѣжа, здорова, но у нея стали являться какіе-то новые болѣзненные симптомы. Ею по временамъ овладѣвало безпокойство, надъ которымъ она задумывалась и не знала, какъ растолковать его себѣ.

Иногда, идучи, въ жаркій полдень, подъ руку съ Обломовымъ, она лѣниво обопрется на плечо его и идетъ машинально, въ какомъ-то изнеможеніи, молчитъ упорно. Бодрость пропадаетъ въ ней; взглядъ утомленный, безъ жизни, дѣлается неподвиженъ, устремляется куда-нибудь на одну точку, и ей лѣнь обратить его на другой предметъ.

Ей становится тяжело, что-то давить грудь, безпокоить. Она сниметъ мантилью, косынку съ плечъ, но и это не помогаетъ—все давить, все тѣснить. Она бы легла подъ дерево и пролежала такъ цѣлые часы.

Обломовъ теряетъ, машетъ вѣткой ей въ лицо, но она нетерпѣливымъ знакомъ устранить его заботы и мается.

Потомъ вдругъ вздохнетъ, оглянется вокругъ себя сознательно, поглядитъ на него, пожметъ руку, улыбнется и опять явится бодрость, смѣхъ, и она уже владѣетъ собой.

Особенно однажды вечеромъ она впала въ это тревожное состояніе, въ какой-то лунатизмъ любви, и явилась Обломову въ новомъ свѣтѣ.

Было душно, жарко; изъ лѣса глухо шумѣлъ теплый вѣтеръ; небо заволакивало тяжелыми облаками. Становилось все темнѣе-и-темнѣе.

— Дождь будетъ, сказалъ баронъ и уѣхалъ домой.

Тѣтка ушла въ свою комнату. Ольга долго, задумчиво, играла на фортепіано, но потомъ оставила.

— Не могу, у меня пальцы дрожатъ, мнѣ какъ-будто душно, сказала она Обломову.— Походимте по саду.

Долго ходили они, молча, по аллеямъ, рука въ руку. Руки у ней влажны и мягки. Они вошли въ паркъ.

Деревья и кусты смѣшались въ мрачную массу; въ двухъ шагахъ ничего не было видно; только бѣловатой полосой змѣнились песчанья дорожки.

Ольга пристально вглядывалась въ мракъ и жалась къ Обломову. Молча блуждали они.

— Мнѣ страшно! вдругъ, вздрогнувъ, сказала она, когда они почти ощупью пробирались въ узкой аллеѣ, между двухъ черныхъ, непроницаемыхъ стѣнъ лѣса.

— Чего? спросилъ онъ. Не бойся, Ольга, я съ тобой.

— Мнѣ страшно и тебя! говорила она шопотомъ: Но какъ-то хорошо-страшно! Сердце замираетъ. Дай руку, попробуй, какъ оно бьется.

А сама вздрагивала и озиралась вокругъ.

— Видишь, видишь? вздрогнувъ, шептала она, крѣпко

хватая его обѣими руками за плечо:—Ты не видишь, мелькаетъ въ темнотѣ кто-то?..

Она тѣснѣе прижалась къ нему.

— Никого нѣтъ... говорилъ онъ; но и у него мурашки поползли по спинѣ.

— Закрой мнѣ глаза скорѣй чѣмъ-нибудь... крѣпче! шопотомъ говорила она... Ну, теперь ничего... Это нервы, прибавила она съ волненіемъ. Вонъ, опять! Смотри, кто это? Сядемъ гдѣ-нибудь на скамьѣ...

Онъ ощупью отыскалъ скамью и посадилъ ее.

— Пойдемъ домой, Ольга, уговаривалъ онъ: ты нездорова.

Она положила ему голову на плечо.

— Нѣтъ, здѣсь воздухъ свѣжѣе, сказала она: у меня тутъ тѣснить, у сердца.

Она дышала горячо ему на щеку.

Онъ дотронулся до ея головы рукой—и голова горяча. Грудь тяжело дышетъ и облегчается частыми вздохами.

— Не лучше ли домой? твердилъ въ безпокойствѣ Обломовъ:—надо лечь...

— Нѣтъ, нѣтъ, оставь меня, не трогай... говорила она томно, чуть-слышно; у меня здѣсь горитъ... указывала она на грудь.

— Право, пойдемъ домой... торопилъ Обломовъ.

— Нѣтъ, постой, это пройдетъ...

Она сжимала ему руку и по временамъ близко взглядывала въ глаза и долго молчала. Потомъ начала плакать, сначала тихонько, потомъ навзрыдъ. Онъ растерялся.

— Ради Бога, Ольга, скорѣй домой! съ безпокойствомъ говорилъ онъ.

— Ничего, отвѣчала она, всхлипывая: не мѣшай, дай выплакаться... огонь выйдетъ слезами, мнѣ легче будетъ; это все нервы играютъ...



Онъ слушалъ въ темнотѣ, какъ тяжело дышетъ она, чувствовалъ, какъ каплють ему на руку. ея горячія слезы, какъ судорожно пожимаетъ она ему руку.

Онъ не шевелилъ пальцемъ, не дышалъ. А голова ея лежитъ у него на плечѣ, дыханіе обдаетъ ему щеку жаромъ... Онъ тоже вздрагивалъ, но не смѣлъ коснуться губами ея щеки.

Потомъ она становилась все тише, тише, дыханіе дѣлалось ровнѣе... Она примолкла. Онъ думалъ не заснула ли она, и боялся шевельнуться.

— Ольга! шопотомъ кликнулъ онъ.

— Что? шопотомъ же отвѣтила она и вздохнула вслухъ.

— Вотъ теперь... прошло... томно сказала она, мнѣ легче, я дышу свободно.

— Пойдемъ, говорилъ онъ.

— Пойдемъ! нѣхотя повторила она.—Милый мой! съ нѣгой прошептала потомъ, сжавъ ему руку, и, опершись на его плечо, нетвердыми шагами дошла до дома.

Въ залѣ онъ взглянулъ на нее: она была слаба, но улыбалась странной, безсознательной улыбкой, какъ-будто подъ вліяніемъ грезы.

Онъ посадилъ ее на диванъ, сталъ подлѣ нея на колѣни и нѣсколько разъ, въ глубокомъ умиленіи, поцѣловалъ у ней руку.

Она все съ той же улыбкой глядѣла на него, оставляя обѣ руки, и провожала его до дверей глазами.

Онъ въ дверяхъ обернулся: она все глядитъ ему вслѣдъ, на лицѣ все то же изнеможеніе, та же жаркая улыбка, какъ-будто она не можетъ сладить съ нею...

Онъ ушелъ въ раздумьи. Онъ гдѣ-то видалъ эту улыбку; онъ припомнилъ какую-то картину, на которой изображена женщина съ такой улыбкой... только не Корделія...

На другой день онъ послалъ узнать о здоровьѣ. Приказали сказать: — Слава Богу, и просятъ сегодня кушать,

а вечеромъ всѣ на фейерверкъ изволятъ ѣхать, за пять верстъ.

Онъ не повѣрилъ и отправился самъ. Ольга была свѣжа, какъ цвѣтокъ: въ глазахъ блескъ, бодрость, на щекахъ рдѣютъ два розовыя пятна; голосъ такъ звученъ! Но она вдругъ смутилась, чуть не вскрикнула, когда Обломовъ подошелъ къ ней, и вся вспыхнула, когда онъ спросилъ: — Какъ она себя чувствуетъ послѣ вчерашняго?

— Это маленькое нервическое разстройство, торопливо сказала она. *Ma tante* говорить, что надо раньше ложиться. Это недавно только со мной...

Она не досказала и отвернулась, какъ-будто просила пощады. А отчего смутилась она — и сама не знаетъ. Отчего ее грызло и жгло воспоминаніе о вчерашнемъ вечерѣ; объ этомъ разстройствѣ?

Ей было и стыдно чего-то, и досадно на кого-то, не то на себя, не то на Обломова. А въ иную минуту казалось ей, что Обломовъ сталъ ей милѣе, ближе, что она чувствуетъ къ нему влеченіе до слезъ, какъ-будто она вступила съ нимъ со вчерашняго вечера въ какое-то таинственное родство...

Она долго не спала, долго утромъ ходила одна въ волненіи по аллеѣ, отъ парка до дома и обратно, все думала, думала, терялась въ догадкахъ, то хмурилась, то вдругъ вспыхивала краской и улыбалась чему-то, и все не могла ничего рѣшить. „Ахъ, Соничка!“ думала она въ досадѣ: „Какая счастливая! Сейчасъ бы рѣшила!“

А Обломовъ? Отчего онъ былъ нѣмъ и неподвиженъ съ нею вчера, нужды нѣтъ, что дыханіе ея обдавало жаромъ его щеку, что ея горячія слезы капали ему на руку, что онъ почти несъ ее въ объятіяхъ домой, слышалъ нескромный шопотъ ея сердца?... А другой? Другіе смотрятъ такъ дерзко...

Обломовъ, хотя и прожилъ молодость въ кругу всезнающей, давно-рѣшившей всѣ жизненные вопросы, ни во что невѣрующей и все холодно, мудро анализирующей молодёжи, но въ душѣ у него теплилась вѣра въ дружбу, въ любовь, въ людскую честь, и сколько ни ошибался онъ въ людяхъ, сколько бы ни ошибся еще, страдало его сердце, но ни разу не пошатнулось основаніе добра и вѣры въ него. Онъ втайнѣ поклонялся чистотѣ женщины, признавалъ ея власть и права и приносилъ ей жертвы.

Но у него не доставало характера явно признать ученіе добра и уваженія къ невинности. Тихонько онъ упивался ея ароматомъ, но явно иногда приставалъ къ хору циниковъ, трепетавшихъ даже подозрѣнія въ цѣломудріи или уваженіи къ нему, и къ буйному хору ихъ прибавлялъ и свое легкомысленное слово.

Онъ никогда не вникалъ ясно въ то, какъ много вѣситъ слово добра, правды, чистоты, брошенное въ потокъ людскихъ рѣчей, какой глубокой извивъ прорываетъ оно; не думалъ, что сказанное бодро и громко, безъ краски ложнаго стыда, а съ мужествомъ, оно не потонетъ въ безобразныхъ крикахъ свѣтскихъ сатировъ, а погрузится, какъ перль, въ пучину общественной жизни, и всегда найдется для него раковина.

Многіе запинаются на добромъ словѣ, рдѣя отъ стыда, и смѣло, громко произносятъ легкомысленное слово, не подозревая, что оно тоже, къ несчастью, не пропадаетъ даромъ, оставляя длинный слѣдъ зла, иногда неистребимаго.

Зато Обломовъ былъ правъ на-дѣлѣ: ни одного пятна, упрека въ холодномъ, бездушномъ цинизмѣ, безъ увлеченія и безъ борьбы, не лежало на его совѣсти. Онъ не могъ слушать ежедневныхъ разсказовъ о томъ, какъ одинъ перемѣнилъ лошадей, мебель, а тотъ—женщину... и какія издержки повели за собой перемѣны...

Не разъ онъ страдалъ за утраченное мужчиной достоинство и честь, плакалъ о грязномъ паденіи чужой ему женщины, но молчалъ, боясь свѣта.

Надо было угадывать это: Ольга угадала.

Мужчины смѣются надъ такими чудаками, но женщины съ-разу узнають ихъ; чистыя, цѣломудренныя женщины любятъ ихъ—по сочувствію; испорченныя ищутъ сближенія съ ними—чтобъ освѣжиться отъ порчи.

Лѣто подвигалось, уходило. Утра и вечера становились темны и сыры. Нетолько сирени, и липы отцвѣли, ягоды отошли. Обломовъ и Ольга видѣлись ежедневно.

Онъ догналъ жизнь, то-есть усвоилъ опять все, отъ чего отсталъ давно; зналъ, зачѣмъ французскій посланникъ выѣхалъ изъ Рима, зачѣмъ англичане посылаютъ корабли съ войскомъ на Востокъ; интересовался, когда проложить новую дорогу въ Германіи, или Франціи. Но насчетъ дороги черезъ Обломовку въ большое село не помышлялъ, въ палатѣ довѣренность не засвидѣтельствовалъ и Штольцу отвѣта на письма не послалъ.

Онъ усвоилъ только то, что вращалось въ кругу ежедневныхъ разговоровъ въ домѣ Ольги, что читалось въ получаемыхъ тамъ газетахъ и довольно-прилежно, благодаря настойчивости Ольги, слѣдилъ за текущей иностранной литературой. Все остальное утопало въ сферѣ чистой любви.

Несмотря на частыя видоизмѣненія въ этой розовой атмосферѣ, главнымъ основаніемъ была безоблачность горизонта. Если Ольгѣ приходилось иногда раздумываться надъ Обломовымъ, надъ своей любовью къ нему, если отъ этой любви оставалось праздное время и праздное мѣсто въ сердцѣ, если вопросы ея не всѣ находили полный и всегда готовый отвѣтъ въ его головѣ и воля его молчала на призывъ ея воли, и на ея бодрость и трепетанье жизни, онъ отвѣчалъ только неподвижно-страстнымъ взглядомъ—она впа-



дала вътягостнуюзадумчивость: что-то холодное, какъзмѣя, вползало въ сердце, отрезвляло ее отъ мечты, и теплый, сказочный міръ любви превращался въ какой-то осенній день, когда всѣ предметы кажутся въ сѣромъ цвѣтѣ.

Она искала, отчего происходитъ эта неполнота, неудовлетворенность счастья? Чего недостаетъ ей? Что еще нужно? Вѣдь это судьба — назначеніе любить Обломова? Любовь эта оправдывается его кротостью, чистой вѣрой въ добро, а пуще всего нѣжностью, нѣжностью, какой она не видала никогда въ глазахъ мужчины.

Что-жъ за дѣло, что не на всякій взглядъ ея онъ отвѣчаетъ понятнымъ взглядомъ, что не то звучитъ иногда въ его голосѣ, что ей какъ-будто уже звучало однажды, не то во снѣ, не то наяву... Это воображеніе, нервы: что слушать ихъ и мудрить?

Да наконецъ, еслибъ она хотѣла уйти отъ этой любви — какъ уйти? Дѣло сдѣлано: она уже любила, и скинуть съ себя любовь по произволу, какъ платье, нельзя. „Не любятъ два раза въ жизни“, думала она: „это, говорятъ, безнравственно...“

Такъ училась она любви, пытала ее, и всякій новый шагъ встрѣчала слезой, или улыбкой, вдумывалась въ него. Потомъ уже являлось то сосредоточенное выраженіе, подъ которымъ крылись и слезы, и улыбка и которое такъ пугало Обломова.

Но объ этихъ думахъ, объ этой борьбѣ она и не намекала Обломову.

Обломовъ не учился любви, онъ засыпалъ въ своей сладостной дремотѣ, о которой нѣкогда мечталъ вслухъ при Штольцѣ. Повременамъ онъ начиналъ вѣровать въ постоянную безоблачность жизни, и опять ему снилась Обломовка, населенная добрыми, дружескими и беззаботными



лицами, сидѣнье на террасѣ, раздумье отъ полноты удовлетвореннаго счастья.

Онъ и теперь иногда поддавался этому раздумью и даже, тайкомъ отъ Ольги, раза два соснулъ въ лѣсу, ожидая ея замедленнаго прихода... какъ вдругъ неожиданно налетѣло облако.

Однажды они вдвоемъ откуда-то возвращались лѣниво, молча, и только стали переходить большую дорогу, навстрѣчу имъ бѣжало облако пыли и въ облакѣ мчалась коляска, въ коляскѣ сидѣла Соничка съ мужемъ, еще какой-то господинъ, еще какая-то госпожа...

— Ольга! Ольга! Ольга Сергѣевна! раздались крики.

Коляска остановилась. Всѣ эти господа и госпожи вышли изъ нея, окружили Ольгу, начали здороваться, чмокаться, всѣ вдругъ заговорили, долго не замѣчая Обломова. Потомъ вдругъ всѣ взглянули на него, одинъ господинъ въ лорнетъ.

— Кто это? тихо спросила Соничка.

— Илья Ильичъ Обломовъ! представила его Ольга.

Всѣ пошли до дома пѣшкомъ. Обломовъ былъ не въ своей тарелкѣ; онъ отсталъ отъ общества и занесъ-было ногу черезъ плетень, чтобъ ускользнуть черезъ рожь домой. Ольга взглядомъ воротила его.

Оно бы ничего, но всѣ эти господа и госпожи смотрѣли на него такъ странно; и это, пожалуй, ничего. Прежде, бывало, иначе на него и не смотрѣли, благодаря его сонному, скучающему взгляду, небрежности въ одеждѣ.

Но тотъ же странный взглядъ съ него переносили господа и госпожи и на Ольгу. Отъ этого сомнительнаго взгляда на нее у него вдругъ похолодѣло сердце; что-то стало угрызать его, но такъ больно, мучительно, что онъ не вынесъ и ушелъ домой, и былъ задумчивъ, угрюмъ.

На другой день милая болтовня и ласковая шаловли-

вость Ольги не могли развеселить его. На ея настойчивые вопросы онъ долженъ былъ отозваться головною болью и терпѣливо позволилъ себѣ вылить на семьдесятъ-пять копѣекъ одеколону на голову.

Потомъ, на третій день, послѣ того, когда они поздно воротились домой, тётка какъ-то черезчуръ-умно поглядѣла на нихъ, особенно на него, потомъ потупила свои большія, немного-припухшія вѣки, а глаза все будто смотрятъ и сквозь вѣки, и съ минуту задумчиво нюхала спиртъ.

Обломовъ мучился, но молчалъ. Ольгѣ повѣрять своихъ сомнѣній онъ не рѣшался, боясь встревожить ее, испугать и, надо правду сказать, боялся также и за себя, боялся возмутить этотъ невозмутимый, безоблачный миръ вопросомъ такой строгой важности.

Это уже не вопросъ о томъ, ошибкой, или нѣтъ полюбила она его, Обломова, а не ошибка ли вся ихъ любовь, эти свиданія въ лѣсу, наединѣ, иногда поздно вечеромъ?

„Я посягалъ на поцѣлуй“ съ ужасомъ думалъ онъ: „а вѣдь это уголовное преступленіе въ кодексѣ нравственности, и не первое, не маловажное! Еще до него есть много степеней: пожатіе руки, признаніе, письмо... Это мы все прошли. Однакожь“, думалъ онъ дальше, выпрямляя голову: „мои намѣренія честны, я...“

И вдругъ облако исчезло, передъ нимъ распахнулась свѣтлая, какъ праздникъ, Обломовка, вся въ блескѣ, въ солнечныхъ лучахъ, съ зелеными холмами, съ серебряной рѣчкой; онъ идетъ съ Ольгой задумчиво по длинной аллеѣ, держа ея за талію, сидитъ въ бесѣдкѣ, на террасѣ...

Около нея всѣ склоняють голову съ обожаніемъ — словомъ, все то, что онъ говорилъ Штольцу.

„Да, да; но вѣдь этимъ надо было начать!“ думалъ онъ опять въ страхѣ: „Троекратное люблю, вѣтка сирени, признаніе — все это должно быть залогомъ счастья всей жи-

зни и не повторяйся у чистой женщины. Что-жъ я? Кто я?“ стучало, какъ молоткомъ, ему въ голову.

„Я соблазнитель, волокита! Недостаетъ только, чтобъ я, какъ этотъ скверный старый селадонъ, съ масляными глазами и краснымъ носомъ, воткнулъ украденный у женщины розанъ въ петлицу и шепталъ на ухо пріятелю о своей побѣдѣ, чтобъ... чтобъ... Ахъ, Боже мой, куда я зашелъ! Вотъ, гдѣ пропасть! И Ольга не летаетъ высоко надъ ней, она на днѣ ея... за что, за что...“

Онъ выбивался изъ силъ, плакалъ какъ ребенокъ о томъ, что вдругъ поблѣднѣли радужныя краски его жизни, о томъ, что Ольга будетъ жертвой. Вся любовь его была преступленіе, пятно на совѣсти.

Потомъ на минуту встревоженный умъ прояснялся, когда Обломовъ сознавалъ, что всему этому есть законный исходъ: протянуть Ольгѣ руку съ кольцомъ...

— Да, да, въ радостномъ трепетѣ говорилъ онъ:—и отвѣтомъ будетъ взглядъ стыдливаго согласія... Она не скажетъ ни слова, она вспыхнетъ, улыбнется до дна души, потомъ взглядъ ея наполнится слезами...

Слезы и улыбка, молча-протянутая рука, потомъ живая, рѣзвая радость, счастливая торопливость въ движеніяхъ, потомъ долгій, долгій разговоръ, шопотъ наединѣ, этотъ довѣрчивый шопотъ душъ, таинственный уговоръ слить двѣ жизни въ одну!

Въ пустякахъ, въ разговорахъ о будничныхъ вещахъ будетъ сквозить никому, кромѣ ихъ, невидимая любовь. И никто не посмѣетъ оскорбить ихъ взглядомъ...

Вдругъ лицо его стало такъ строго, важно.

„Да“, говорилъ онъ съ собой, „вотъ онъ гдѣ, міръ прямого, благороднаго и прочнаго счастья! Стыдно мнѣ было до сихъ поръ скрывать эти цвѣты, носиться въ ароматѣ любви, точно мальчику, искать свиданій, ходить при лу-

нѣ, подслушивать біеніе дѣвическаго сердца, ловить трепеть ея мечты... Боже!“

Онъ покраснѣлъ до ушей.

„Сегодня же вечеромъ Ольга узнаетъ, какія строгія обязанности налагаетъ любовь; сегодня будетъ послѣднее свиданіе наединѣ, сегодня...“

Онъ приложилъ руку къ сердцу: оно бьется сильно, но ровно, какъ должно биться у честныхъ людей. Опять онъ волнуется мыслію, какъ Ольга сначала опечалится, когда онъ скажетъ, что не надо видѣться; потомъ онъ робко объявитъ о своемъ намѣреніи, но прежде выпытаетъ ея образъ мыслей, упьется ея смущеніемъ, а тамъ...

Дальше ему все грезится ея стыдливое согласіе, улыбка и слезы, молча протянутая рука, долгій, таинственный шопотъ и поцѣлуи въ виду цѣлаго свѣта.

## ХІІ.

Онъ побѣждалъ отыскивать Ольгу. Дома сказали, что она ушла; онъ въ деревню — нѣтъ. Видитъ, вдали она, какъ ангелъ восходитъ на небеса, идетъ на гору, такъ легко опирается ногой, такъ колеблется ея станъ.

Онъ за ней, но она едва касается травы и въ самомъ-дѣлѣ какъ будто улетаетъ. Онъ съ полугоры началъ звать ее.

Она подождетъ его и только онъ подойдетъ сажени на двѣ, она двинется впередъ и опять оставитъ большое пространство между нимъ и собой, остановится и смѣется.

Онъ, наконецъ, остановился, увѣренный, что она не уйдетъ отъ него. И она сбѣжала къ нему нѣсколько шаговъ, подала руку и, смѣясь, потащила за собой.

Они вошли въ рощу: онъ снялъ шляпу, а она платкомъ отерла ему лобъ и начала махать зонтикомъ въ лицо.

Ольга была особенно жива, болтлива, рѣзва, или вдругъ

увлекалась нѣжнымъ порывомъ, потомъ впадала внезапно въ задумчивость.

— Угадай, что я дѣлала вчера? спросила она, когда они сѣли въ тѣни.

— Читала?

Она потрясла головой.

— Писала?

— Нѣтъ.

— Пѣла?

— Нѣтъ. Гадала! сказала она. — Графинина экономка была вчера; она умѣетъ гадать на картахъ, я и попросила.

— Ну, что жъ?

— Ничего. Вышла дорога, потомъ какая-то толпа и вездѣ блондинъ, вездѣ... Я вся покраснѣла, когда она при Катѣ вдругъ сказала, что обо мнѣ думаетъ бубновый король. Когда она хотѣла говорить, о комъ я думаю, я смѣшала карты и убѣжала. Ты думаешь обо мнѣ? вдругъ спросила она.

— Ахъ! сказалъ онъ:—Еслибъ можно было поменьше думать!

— А я-то! задумчиво говорила она:—Я ужъ и забыла какъ живутъ иначе. Когда ты, на той недѣлѣ, надулся и не, былъ два дня— помнишь, разсердился!—я вдругъ перемѣнилась, стала злая. Бранюсь съ Катей, какъ ты съ Захаромъ; вижу, какъ она потихоньку плачетъ, и мнѣ вовсе не жаль ея. Не отвѣчаю *ma tante*, не слышу что она говорить, ничего не дѣлаю, никуда не хочу. А только ты пришелъ, вдругъ совсѣмъ другая стала. Катѣ подарила лиловое платье...

— Это любовь! патетически произнесъ онъ.

— Что? Лиловое платье?

— Все! я узнаю изъ твоихъ словъ себя: и мнѣ безъ тебя



нѣтъ дня и жизни, ночью снятся все какія-то цвѣтушія долины. Увижу тебя—я добръ, дѣятеленъ; нѣтъ—скучно, лѣнь, хочется лечь и ни о чемъ не думать... Люби, не стыдись своей любви...

Вдругъ онъ замолчалъ., „Что это я говорю? вѣдь я не за тѣмъ пришелъ!“, подумалъ онъ и сталъ откашливаться; нахмурилъ было брови.

— А если я вдругъ умру? спросила она.

— Какая мысль! небрежно сказалъ онъ.

— Да, говорила она: —я простужусь, сдѣлается горячка; ты придешь сюда—меня нѣтъ, пойдешь къ намъ—скажутъ „больна“, завтра то же; ставни у меня закрыты; докторъ качаетъ головой; Катя выйдетъ къ тебѣ въ слезахъ, на цыпочкахъ, и шепчетъ больна, умираетъ....„

— Ахъ!.. вдругъ сказалъ Обломовъ.

Она засмѣялась.

— Что съ тобой будетъ тогда? спросила она, глядя ему въ лицо.

— Что? Съ ума сойду, или застрѣлюсь, а ты вдругъ выздоровѣешь!

— Нѣтъ, нѣтъ, перестань! говорила она боязливо. — До чего мы договорились! Только ты не приходи ко мнѣ мертвый: я боюсь покойниковъ...

Онъ засмѣялся, и она тоже.

— Боже мой, какія мы дѣти! сказала она, отрезвляясь отъ этой болтовни.

Онъ опять откашлянулся.

— Послушай... я хотѣлъ сказать.

— Что? спросила она, живо обернувшись къ нему.

Онъ боязливо молчалъ.

— Ну, говори же, спрашивала она, слегка дергая его за рукавъ.

— Ничего, такъ... проговорилъ онъ, оробѣвъ.

— Нѣтъ, у тебя что-то есть на умѣ?

Онъ молчалъ.

— Если что-нибудь страшное, такъ лучше не говори, сказала она.— Нѣтъ, скажи! вдругъ прибавила опять.

— Да ничего нѣтъ, вздоръ.

— Нѣтъ, нѣтъ, что-то есть, говори! приставала она, крѣпко держа за оба борта сюртука и держала такъ близко, что ему надо было ворочать лицо, то вправо, то влево, чтобъ не поцѣловать ее.

Онъ бы не ворочалъ, но у него въ ушахъ гремѣло ея грозное „никогда“.

— Скажи-же!.. приставала она.

— Не могу, ненужно... отговаривался онъ.

— Какъ же ты проповѣдывалъ, что „довѣренность есть основа взаимнаго счастья, что „не должно быть ни одного изгиба въ сердцѣ, гдѣ бы не читалъ глазъ друга“. Чьи это слова?

— Я хотѣлъ только сказать, началъ онъ медленно: — что я такъ люблю тебя, такъ люблю, что еслибъ...

Онъ медлилъ.

— Ну? нетерпѣливо спросила она.

— Что еслибъ ты полюбила теперь другаго и онъ былъ бы способнѣе сдѣлать тебя счастливой, я бы... молча проглотилъ свое горе и уступилъ ему мѣсто.

Она вдругъ выпустила изъ рукъ его сюртукъ.

— Зачѣмъ? съ удивленіемъ спросила она. — Я не понимаю этого. Я не уступила бы тебя никому; я не хочу, чтобъ ты былъ счастливъ съ другою. Это что-то мудрено, я не понимаю.

Взглядъ ея задумчиво блуждалъ по деревьямъ.

— Значить, ты не любишь меня? спросила она потомъ.

— Напротивъ, я люблю тебя до самоотверженія, если готовъ жертвовать собой.

— Да зачѣмъ? Кто тебя просить?

— Я говорю, въ такомъ случаѣ, еслибъ ты полюбила другаго.

— Другаго! Ты съ ума сошелъ? Зачѣмъ, если я люблю тебя? Развѣ ты полюбишь другую?

— Что ты слушаешь меня? Я, Богъ-знаетъ, что говорю, а ты вѣришь! Я не то и сказать-то хотѣлъ совсѣмъ...

— Что жъ ты хотѣлъ сказать?

— Я хотѣлъ сказать, что виноватъ передъ тобой, давно виноватъ....

— Въ чемъ? Какъ? спрашивала она: — Не любишь? Пошутилъ, можетъ-быть? Говори скорѣй!

— Нѣтъ, нѣтъ, все не то! говорилъ онъ съ тоской. — Вотъ видишь ли что... нерѣшительно началъ онъ: — мы видимся съ тобой... тихонько...

— Тихонько? Отчего тихонько? Я почти всякій разъ говорю *ma tante*, что видѣла тебя...

— Уже-ли всякій разъ? съ безпокойствомъ спросилъ онъ.

— Что жъ тутъ дурнаго?

— Я виноватъ: мнѣ давно бы слѣдовало сказать тебѣ что это... не дѣлается...

— Ты говорилъ, сказала она.

— Говорилъ? А! Вѣдь въ самомъ дѣлѣ я... намекалъ. Такъ, значить, я сдѣлалъ свое дѣло.

Онъ ободрился и радъ былъ, что Ольга такъ легко снимала съ него бремя отвѣтственности.

— Еще что? спросила она.

— Еще... да только, отвѣтилъ онъ.

— Неправда, положительно замѣтила Ольга: — есть что-то; ты не все сказалъ.

— Да я думалъ... началъ онъ, желая дать небрежный тонъ словамъ: — что...

Онъ остановился: она ждала.

— Что намъ надо видѣться рѣже... Онъ робко взглянулъ на нее.

Она молчала.

— Почему? спросила она потомъ, подумавъ.

— Меня грызетъ змѣя: это—совѣсть... Мы такъ долго остаемся наединѣ: я волнуюсь, сердце замираетъ у меня; ты тоже непокойна... я боюсь... съ трудомъ договорилъ онъ.

— Чего?

— Ты молода и не знаешь всѣхъ опасностей, Ольга. Иногда человѣкъ невластенъ въ себѣ; въ него вселяется какая-то адская сила, на сердце падаетъ мракъ, а въ глазахъ блещутъ молніи. Ясность ума меркнетъ: уваженіе къ чистотѣ, къ невинности—все уноситъ вихрь; человѣкъ не помнитъ себя; на него дышетъ страсть; онъ перестаетъ владѣть собой—и тогда подъ ногами открывается бездна.

Онъ даже вздрогнулъ.

— Ну, что жъ? Пусть открывается! сказала она, глядя на него во всѣ глаза.

Онъ молчалъ; дальше или нѣчего или ненужно было говорить.

Она глядѣла на него долго, какъ-будто читала въ складкахъ на лбу, какъ въ писанныхъ строкахъ, и сама вспоминала каждое его слово, взглядъ, мысленно пробѣгала всю исторію своей любви, дошла до темнаго вечера въ саду и вдругъ покраснѣла.

— Ты все глупости говоришь! скороговоркой замѣтила она, глядя въ сторону:—Никакихъ я молній не видала у тебя въ глазахъ... ты смотришь на меня большею частью, какъ... моя няня Кузьминична! прибавила она и засмѣялась.

— Ты шутишь, Ольга, а я, не шутя, говорю... и не все еще сказалъ.

— Что еще? спросила она:—Какая тамъ бездна?

Онъ вздохнулъ.

— А то, что не надо намъ видѣться... наединѣ...

— Почему?

— Нехорошо...

Она задумалась.

— Да, говорить это нехорошо, сказала она въ раздумьи:—да почему?

— Что скажутъ, когда узнаютъ, когда разнесется...

— Кто жъ скажетъ? У меня нѣтъ матери: она одна могла бы спросить меня, зачѣмъ я вижусь съ тобой, и передъ ней одной я заплакала бы въ отвѣтъ, и сказала бы, что я дурнаго ничего не дѣлаю, и ты тоже. Она бы повѣрила. Кто-жъ другой? спросила она.

— Тѣтка, сказалъ Обломовъ.

— Тѣтка?

Ольга печально и отрицательно покачала головой.

— Она никогда не спросить. Еслибъ я ушла совсѣмъ, она бы не пошла искать и спрашивать меня, а я не пришла бы больше сказать ей, гдѣ была и что дѣлала. Кто-жъ еще?

— Другіе, всѣ... Намедни Соничка смотрѣла на тебя и на меня, улыбалась, и эти всѣ господа и госпожи, что были съ ней, тоже.

Онъ рассказалъ ей всю тревогу, въ какой онъ жилъ съ тѣхъ поръ.

— Пока она смотрѣла только на меня, прибавилъ онъ: —я ничего; но когда этотъ же взглядъ упалъ на тебя, у меня руки и ноги похолодѣли...

— Ну?... спросила она холодно.

— Ну, вотъ я и мучусь съ тѣхъ поръ день и ночь, ломаю голову, какъ предупредить огласку; заботился, чтобъ не напугать тебя... Я давно хотѣлъ поговорить съ тобой...



— Напрасная забота! возразила она:—Я знала и безъ тебя...

— Какъ знала? спросилъ онъ съ удивленіемъ.

— Такъ. Соничка говорила со мной, выпытывала изъ меня, язвила, даже учила, какъ мнѣ вести себя съ собой...

— Ты мнѣ ни слова, Ольга! упрекнулъ онъ.

— Ты мнѣ тоже до сихъ поръ не сказалъ ничего о своей заботѣ!

— Что жъ ты отвѣчала ей? спросилъ онъ.

— Ничего! Что было отвѣчать на это? Покраснѣла только.

— Боже мой! До чего дошло: ты краснѣешь! съ ужасомъ сказалъ онъ.—Какъ мы неосторожны! Что выйдетъ изъ этого?

Онъ вопросительно глядѣлъ на нее.

— Не знаю, кротко сказала она.

Обломовъ думалъ успокоиться, раздѣливъ заботу съ Ольгой, почерпнуть въ ея глазахъ и ясной рѣчи силу воли, и вдругъ, не найдя живаго и рѣшительнаго отвѣта, упалъ духомъ.

Лицо у него подернулось нерѣшительностью, взглядъ уныло блуждалъ вокругъ. Внутри его ужъ разыгрывалась легкая лихорадка. Онъ почти забылъ про Ольгу; передъ нимъ толпились: Соничка съ мужемъ, гости; слышались ихъ толки, смѣхъ.

Ольга, вмѣсто обыкновенной своей находчивости, молчить, холодно смотреть на него и еще холоднѣе говорить свое „не знаю“. А онъ не потрудился, или не умѣлъ вникнуть въ сокровенный смыслъ этого „не знаю“.

И онъ молчалъ: безъ чужой помощи, мысль или намѣреніе у него не созрѣло бы и, какъ спѣлое яблоко, не упало бы никогда само собою: надо его сорвать.

Ольга поглядѣла нѣсколько минутъ на него, потомъ на-

дѣла мантилью, достала съ вѣтки косынку, не торопясь надѣла на голову и взяла зонтикъ.

— Куда? Такъ рано! вдругъ, очнувшись, спросилъ онъ.

— Нѣтъ, поздно. Ты правду сказалъ, съ задумчивымъ уныніемъ говорила она:—мы зашли далеко, а выхода нѣтъ: надо скорѣй разстаться и замести слѣдъ прошлаго. Прощай! сухо, съ горечью, прибавила она и, склонивъ голову, пошла-было по дорожкѣ.

— Ольга, помилуй, Богъ съ тобой! Какъ не видаться Да я... Ольга!

Она не слушала и пошла скорѣе; песокъ сухо трещалъ подъ ея ботинками.

— Ольга Сергѣевна! крикнулъ онъ.

Не слышитъ, идетъ.

— Ради Бога, воротись! не голосомъ, а слезами кричалъ онъ: Вѣдь и преступника надо выслушать... Боже мой! Есть ли сердце у ней?... Вотъ женщины!

Онъ сѣлъ и закрылъ обѣими руками глаза. Шаговъ не стало слышно.

— Ушла! сказалъ онъ, почти въ ужасѣ, и поднялъ голову.

Ольга передъ нимъ.

Онъ радостно схватилъ ее руку.

— Ты не ушла, не уйдешь?... говорилъ онъ.—Не уходи: помни, что если ты уйдешь—я мертвый человѣкъ!

— А если не уйду, я преступница, и ты тоже: помни это, Илья.

— Ахъ, нѣтъ...

— Какъ нѣтъ? Если Соничка съ мужемъ застанетъ насъ еще разъ вмѣстѣ—я погибла.

Онъ вздрогнулъ.

— Послушай, торопливо и запинаясь началъ онъ:—я не все сказалъ... и остановился.

То, что дома казалось ему такъ просто, естественно, необходимо, такъ улыбалось ему, что было его счастьемъ, вдругъ стало какой-то бездной. У него захватывало духъ перешагнуть черезъ нее. Шагъ предстоялъ рѣшительный, смѣлый.

— Кто-то идетъ! сказала Ольга.

Въ боковой дорожкѣ слышались шаги.

— Ужъ не Соничка ли? спросилъ Обломовъ, съ неподвижными отъ ужаса глазами.

Прошло двое мужчинъ съ дамой, незнакомые. У Обломова отлегло отъ сердца.

— Ольга, торопливо началъ онъ и взялъ ее за руку:— пойдемъ отсюда вонъ туда, гдѣ никого нѣтъ. Сядемъ здѣсь.

Онъ посадилъ ее на скамью, а самъ сѣлъ на травѣ, подлѣ нея.

— Ты вспыхнула, ушла, а я не все сказалъ, Ольга, проговорилъ онъ.

— И опять уйду и не ворочусь болѣе, если ты будешь играть мной, заговорила она. — Тебѣ понравились однажды мои слезы, теперь, можетъ-быть, ты захотѣлъ бы видѣть меня у ногъ своихъ, и такъ, мало-по-малу, сдѣлать своей рабой, капризничать, читать мораль, потомъ плакать, пугаться, пугать меня, а послѣ спрашивать, что намъ дѣлать? Помните, Илья Ильичъ, вдругъ гордо прибавила она, вставъ со скамьи: — что я много выросла съ тѣхъ поръ, какъ узнала васъ, и знаю, какъ называется игра, въ которую вы играете... но слезъ моихъ вы больше не увидите...

— Ахъ, ей-Богу, я не играю! сказалъ онъ убѣдительно.

— Тѣмъ хуже для васъ, сухо замѣтила она.— На всѣ ваши опасенія, предостереженія и загадки я скажу одно: до нынѣшняго свиданія я васъ любила и не знала что мнѣ дѣлать; теперь знаю, рѣшительно заключила она, готовясь уйти: — и съ вами совѣтоваться не стану.

— И я знаю, сказалъ онъ, удерживая ее за руку и усаживая на скамью, и на минуту замолчалъ, собираясь съ духомъ.

— Представь, началъ онъ: — сердце у меня переполнено однимъ желаніемъ, голова—одной мыслью, но воля, языкъ, не повинуются мнѣ: хочу говорить, и слова нейдутъ съ языка. А вѣдь какъ просто, какъ... Помоги мнѣ Ольга.

— Я не знаю что у васъ на умѣ...

— О, ради Бога, безъ этого *вы*: твой гордый взглядъ убиваетъ меня, каждое слово, какъ морозъ, леденить...

Она засмѣялась.

— Ты сумасшедшій! сказала она, положивъ ему руку на голову.

— Вотъ такъ, вотъ я получилъ даръ мысли и слова! Ольга, сказалъ онъ, ставъ передъ ней на колѣни:—будь моей женой!

Она молчала и отвернулась отъ него въ противоположную сторону.

— Ольга, дай мнѣ руку! продолжалъ онъ.

Она не давала. Онъ взялъ самъ и приложилъ къ губамъ. Она не отнимала. Рука была тепла, мягка и чуть-чуть влажна. Онъ старался заглянуть ей въ лицо — она отворачивалась все больше.

— Молчаніе? сказалъ онъ, тревожно и вопросительно, цалуя ей руку.

— Знакъ согласія! договорила она тихо, все еще не глядя на него.

— Что ты теперь чувствуешь? Что думаешь? спросилъ онъ, вспоминая мечту свою о стыдливомъ согласіи, о следахъ.

— То же, что ты, отвѣчала она, продолжая глядѣть ку-

да-то въ лѣсѣ; только волненіе груди показывало, что она сдерживаетъ себя.

„Есть ли у ней слезы на глазахъ?“ думалъ Обломовъ, но она упорно смотрѣла внизъ.

— Ты равнодушна, ты покойна? говорилъ онъ, стараясь притянуть ее за руку къ себѣ.

— Не равнодушна, но покойна.

— Отчего жъ?

— Оттого, что давно предвидѣла это и привыкла къ мысли.

— Давно, съ изумленіемъ повторилъ онъ.

— Да, съ той минуты, какъ дала тебѣ вѣтку сирени... я мысленно назвала тебя...

Она не договорила.

— Съ той минуты!

Онъ распахнулъ-было широко объятія и хотѣлъ заключить ее въ нихъ.

— Бездна разверзается, молніи блещутъ... осторожнѣе! лукаво сказала она, ловко ускользая отъ объятій и устранивая руки его зонтикомъ.

Онъ вспомнилъ грозное „никогда“ и присмирѣлъ.

— Но ты никогда не говорила, даже ничѣмъ не выразила... говорилъ онъ.

— Мы не выходимъ замужъ, насъ выдаютъ, или берутъ.

— Съ той минуты .. уже-ли?.. задумчиво повторилъ онъ.

— Ты думалъ, что я, не понявъ тебя, была бы здѣсь съ тобою одна, сидѣла бы по вечерамъ въ бесѣдкѣ, слушала и довѣрялась тебѣ? гордо сказала она.

— Такъ это... началъ онъ, мѣняясь въ лицѣ и выпуская ее руку.

У него шевельнулась странная мысль. Она смотрѣла на него съ спокойной гордостью и твердо ждала; а ему хотѣ-



лось бы въ эту минуту не гордости и твердости, а слезъ, страсти, охмѣляющаго счастья, хоть на одну минуту, а потомъ уже пусть потекла бы жизнь невозмутимаго покоя!

И вдругъ, ни порывистыхъ слезъ отъ неожиданнаго счастья, ни стыдливаго согласія! Какъ это понять!

Въ сердцѣ у него проснулась и завозилась змѣя сомнѣнія... Любитъ она, или только выходитъ замужъ?

— Но есть другой путь къ счастью, сказалъ онъ.

— Какой? спросила она.

— Иногда любовь не ждетъ, не терпитъ, не рассчитываетъ... Женщина вся въ огнѣ, въ трепетѣ, испытываетъ разомъ муку и такія радости, какихъ...

— Я не знаю, какой это путь.

— Путь, гдѣ женщина жертвуетъ всѣмъ: спокойствіемъ, молвой, уваженіемъ, и находитъ награду въ любви... она замѣняетъ ей все.

— Развѣ намъ нуженъ этотъ путь?

— Нѣтъ.

— Ты хотѣлъ бы этимъ путемъ искать счастья, насчетъ моего спокойствія, потери уваженія?

— О, нѣтъ, нѣтъ! клянусь Богомъ, ни за что, горячо сказалъ онъ.

— Зачѣмъ же ты заговорилъ о немъ?

— Право, и самъ не знаю...

— А я знаю: тебѣ хотѣлось бы узнать, пожертвовала ли бы я тебѣ своимъ спокойствіемъ, пошла ли бы я съ тобой по этому пути? Не правда ли?

— Да, кажется, ты угадала... Что жъ?

— Никогда, ни за что! твердо сказала она.

Онъ задумался, потомъ вздохнулъ.

— Да, то ужасный путь, и много надо любви, чтобъ женщинѣ пойти по немъ вслѣдъ за мужчиной, гибнуть—и все любить.

Онъ вопросительно взглянулъ ей въ лицо: она ничего; только складка надъ бровью шевельнулась, а лицо покойно.

— Представь, говорилъ онъ:—что Соничка, которая не стоитъ твоего мизинца, вдругъ не узнала бы тебя при встрѣчѣ!

Ольга улыbnулась, и взглядъ ея былъ такъ же ясенъ. А Обломовъ увлекался потребностью самолюбія, допроситься жертвъ у сердца Ольги и упиться этимъ.

— Представь, что мужчины, подходя къ тебѣ, не опускали бы съ робкимъ уваженіемъ глазъ, а смотрѣли бы на тебя съ смѣлой и лукавой улыбкой...

Онъ поглядѣлъ на нее: она прилежно двигаетъ зонтикомъ камешекъ по песку.

— Ты вошла бы въ залу, и нѣсколько чепцовъ пошевелилось бы отъ негодованія; какой-нибудь одинъ изъ нихъ пересѣлъ бы отъ тебя... а гордость бы у тебя была все та же, а ты бы сознавала ясно, что ты выше и лучше ихъ.

— Къ-чему ты говоришь мнѣ эти ужасы? сказала она покойно.—Я не пойду никогда этимъ путемъ.

— Никогда? уныло спросилъ Обломовъ.

— Никогда! повторила она.

— Да, говорилъ онъ задумчиво:— у тебя не достало бы силы взглянуть стыду въ глаза. Можетъ-быть, ты не испугалась бы смерти: не казнь страшна, но приготовленія къ ней, ежечасныя пытки, ты бы не выдержала и зачахла — да?

Онъ все заглядывалъ ей въ глаза, что она.

Она смотритъ весело; картина ужаса не смутила ея; на губахъ ея играла легкая улыбка.

— Я не хочу ни чахнуть, ни умирать! Все не то, сказала она:— можно нейти тѣмъ путемъ и любить еще сильнѣе...

— Отчего же бы ты не пошла по этому пути; спросилъ

онъ настойчиво, почти съ досадой:—если тебѣ не страшно?...

— Оттого, что на немъ... впоследствии всегда... расстаются, сказала она:—а я... разстаться съ тобой!..

Она остановилась, положила ему руку на плечо, долго глядѣла на него, и вдругъ, отбросивъ зонтикъ въ сторону, быстро и жарко обвила его шею руками, поцѣловала, потомъ вся вспыхнула, прижала лицо къ его груди и прибавила тихо:

— Никогда!

Онъ испустилъ радостный вопль и упалъ на траву къ ея ногамъ.

1857 года.













783120



